

# ЗНАМЯ

12/94

---

**Чингиз АЙТМАТОВ**  
Тавро Кассандры

**Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ**  
Глазное яблоко

**Аугусто ЛОПЕС-КЛАРОС**  
Экспертиза

**Григорий ПОМЕРАНЦ**  
Еще одна жизнь

**Ольга ПОСТНИКОВА**  
От степного чабреца

**Александр ХУРГИН**  
Рассказы

---

**ДЕКАБРЬ**



# ЗНАМЯ

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал

Выходит  
с января 1931 года

## 12

### Содержание

**ДЕКАБРЬ  
1994**

<b>Андрей Вознесенский.</b> Глазное яблоко. Стихи	3
<b>Чингиз Айтматов.</b> Тавро Кассандры. Роман	9
<b>Ольга Постникова.</b> От степного чабреца. Стихи	110
<b>Александр Хургин.</b> Рассказы	114
<b>Елена Фанайлова.</b> Амальгама. Стихи	135
<b>Ирина Полянская.</b> Снег идет тихо-тихо; Переход. Рассказы	142
<b><u>Мемуары. Архивы. Свидетельства</u></b>	
<b>Григорий Померанц.</b> Еще одна жизнь	146
<b>Ричард Дж.Кук.</b> Встреча с писателями. Перевод с английского К.Степаняна	159
<b><u>Публицистика</u></b>	
<b>Сергей Чупринин.</b> Истеблишмент, или Что уберегает Россию от гражданской войны	162
<b><u>Экспертиза</u></b>	
<b>Аугусто Лопес-Кларос.</b> Некоторые приоритеты экономических реформ в России в 1990-е годы. Перевод с английского М.Будаковой	168
<b><u>Критика</u></b>	
<b>Л.Айзерман.</b> Последний шанс	173

<b>Modus vivendi</b>	
<b>Виктор Дос. Будни Вечного города</b>	<b>181</b>
<b>Между прочим</b>	
<b>Татьяна Вольтская. Заметки крапивы</b>	<b>199</b>
<b>Содержание за 1994 год</b>	<b>204</b>

---

### **К сведению уважаемых авторов:**

**Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своем решении.**

**Рукописи просим высылать заказной бандеролью – посылки редакция не принимает.**

**Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.**

**При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.**

Андрей Вознесенский

## ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

\* \* \*

**К**огда народ-первоисточник  
меняет постоянно веру,  
печален жребий одиночек,  
кто верен собственному вектору.

Среди провалов и улыбочек  
и мод, что все перелопатили,  
мой путь прямой и безошибочный,  
как пищевод шпагоглотателя.

\* \* \*

Вырулить не успеть  
и не выброситься,  
только русский аспект —  
успеть выразиться!

Себя встретить успеть,  
успеть выразиться.

Губы. Велосипед.  
Храм Озириса.

Жить в клоаке такой  
и не вызвериться,  
в себе, Боже, Тобой  
успеть выразиться.

### Русская песня

Приедешь бледная, совсем не пьяная,  
моя сердечная диссидентка,  
глаза туманные, звезда обманная.  
Непонимание. Misunderstanding.

Студент Московского  
Шварцэнергетического  
не понимает. Misunderstanding.

А там за стенкою Москва временная.  
Misunderstanding. Непонимание.  
Умчишь в Германию. И там без денег —  
непонимание, misunderstanding.

Живешь с включенным кондиционером.  
В отпаде денди наши романские.  
Непонимание — канцерогенно,  
пойми, смертельно непонимание.

Не понимают тебя соседи.  
Не понимают друзья и родичи.  
Пришло сердечное диссидентство,  
сменив политику на эротику.

Стерилизуйте еду и ванную!  
Мойте руки после аплодисментов!  
Свеча заздравная поминальную  
не понимает. Misunderstanding.

Уму понятно, но сердце мается.  
Ты вечно ставишь не то в кассетник.  
Играешь в шахматы на волейбольной  
сетке,  
и улетаешь в непониманье.

Какою музыкой невменяема,  
в черных наушниках прически стерео,  
жила Наталия Николаевна?  
Непониманье. Misunderstanding.

Не водки просишь — вина десертного,  
а то Бергсона в наш мат вмонтируешь —  
всех твоя лексика ненормативная  
возмущает. Misunderstanding.

И не всеобщая kleptomania  
меня волнует, не курсы стерлингов,  
а абсолютное непонимание,  
наша нормальная Орестея.

Поймите кто-нибудь эксцентричку!  
Даже способностей выше средних

Но ты не можешь же быть нормальной?!  
Проснись как прежняя, без истерик,  
Стань, моя магия — Мисс Понимание,  
Miss Understanding!

## Измерение

Высморкайте глаза,  
чтобы глубже дышать глазами!  
Вы же не попса,  
чтобы видеть ушами.

И когда на рецепции вы сдаете ключи от чего-то, —  
это лишь репетиция иного вида отлета.

Выньте из карманчика платонические платочки,  
сотрите с морщин ваши мысли проточные.  
Всматривайтесь в голоса.  
Сумрак пахнет закатом и «Дукатом» Виктора Платоновича.  
Его вы не знали. Высморкайте глаза.

И если вы потеряли ключи от двери —  
это лишь репетиция иного вида потери.

Красный пахнет зеленым.  
Синий пахнет оранжевым.  
У жасмина запах измены и спелых  
и душистых снов.  
Пуускай соперник утрет сопельник  
и учит пеленг цветов!

Мелодия пахнет разводом лабуха.  
У Стравинского запах козла.  
Ева дала нам глазное яблоко.  
Высморкайте глаза!

Божье прощенье пахнет возмездьем,  
ментолом взлетная полоса.  
У вас глаза на мокром месте?  
Выключите глаза.

Я шел в темной комнате. Я щупал  
ноздрями угол, как усами кот.  
Самкой пахла изнанка туфель  
и тем, что скоро произойдет.  
Стол пах спиртом. Здравый смысл пах луком.  
И как включенный кондиционер,  
металлически пахла разлука.  
Я нащупывал чью-то мысль.  
Стол пах спиритизмом.  
Небытие — материнством. А если общее,  
жизнь — лишь репетиция предстоящей формы общенья.

\* \* \*

Пальцы твоей ступни, уменьшающиеся как слоники  
на бабушкином комоде, — фигурки твоей родни,  
уменьшенные от времени, сплюсненные как гномики, —  
отец твой, салонная бабушка, дед, матушка, все они —  
плюс сгорбленная в мизинчик любовница Наполеона,  
подсматривают за нами с пляжевой простыни, —  
как было лежать им в гробике туфель, где всё — ни-ни!.. —

Пляж лускает, как подсолнухи, панцирные клешни.  
Ушел сухогруз в Салоники. Но пальцы твоей ступни  
мне жить не дают, привставшие над простыней зеленою,  
фаланги к потустороннему, которое не спугни,  
жмурающиеся от жизни, от моря, на вкус соленые,  
Шолом! Что желают пальцы левой твоей ступни?

### Пляж душ

Пляж тел,  
сброшенных нами, сужался и золотел.  
А за заливом белел Гиндукуш —  
пляж душ.

Мисс Неожиданность? Мисс Доблесть?  
Мисс Чушь?  
Мисс Дура там не только topless —  
вся уж...

Я заплываю с тобой на наш  
пляж душ.  
Сбрось свою талию от Кураж,  
не трусь.

Школой затюканная малыш,  
коклю́ш,  
станет блистательнейшею Мисс  
Пляж душ.

Полный там пуст, там златоуст  
гнетущ.  
Вряд ли Лелюш, может быть Пруст —  
пляж душ?

И мандельштамовски душа —  
аполлонически хороша...

Там абсолютный, самый нагой  
нудизм  
сбросивших ласты, голых душой  
ундин.

Но покидаем с Тобой астрал —  
в мир дел!  
Как бы фигуру твою не украл  
пляж тел?

\* \* \*

А ты все сидишь на пляже.  
Пальцы твоих ступней  
торчат, как карточный веер.  
Ты играешь с вечностью.

На раздевание.  
На тебе уже ничего не осталось.  
Придется снимать тело.

### Диссертация о «Голом короле»

Человечество, очнись!  
Тысячелетья нас дурачат:  
Король-эксгибиционист,  
И явно неслучайный мальчик.

### Новые неновые

У моей околицы  
трое бритых овнов.  
Подожли знакомиться  
новые Неновые.

Новые Неновые,  
прагматичны — ладно бы! —  
новые виновные,  
что талантливы.

Покупают «Вольвы»  
 новые-неновые,  
 бунтари невольные,  
 как ни именованы,  
 имена дарованы  
 им не очень ношенные,  
 и не очень новые  
 девушки киношные...

К дадаисту давнему  
 толпы разлинованы —  
 сальвадородальные  
 новые Неоновые.

Кровь артериальная  
 перешла в венозную.

Параной помойный  
 стал яснее битлов.

Старое есть новое,  
 хорошо избитое.

И творят сенсации  
 над старыми неонами  
 соловьи за станцией —  
 новые неновые.

Думаю взволнованно  
 над феноменом —  
 ладно, что Неновые.  
 Слава Богу — новые.

\* \* \*

Твое белое платье влюбленно  
 в небо лифт повезет,  
 словно внутреннюю колонну,  
 на которой стоит небосвод,

на продолженном твоём платье  
 внутри здания — с лейблом Леви —  
 на спинном мозгу мироздания,  
 единственно — на любви.

\* \* \*

Когда ромашки подаешь вместо яичницы,  
 «Ты — пограничница, — кричу, — ты пограничница!»  
 Живешь, как в кафе, здравый смысл похоронившая.  
 Боюсь взглянуть за грань твою. Ты пограничница.

Больничку ты зовешь погранзаставою.  
 Ты там Анастасию не застала.  
 В оазис хрупкой красоты панической  
 ты кандидатка лишь, ты пограничница.

Ты программистка. Утомившись от компьютера,  
 глаза закроешь, отключишься на минуту,  
 и расцветают сквозь ведро помойное  
 таврические розы паранойные.

Дай вызов мне в страну непрограммичную!  
 Прощтемпелюй губами синими черничными.  
 Все параноики кругом, причем хронические.  
 Ты пограничница одна, ты — пограничница.

## Ирреализм

Жил-был иррационал,  
 не познал в зажиганье искры,  
 но знал,  
 сколько ангелов умещается на конце иглы.

Узелок мне на память нашейный  
завяжи! Мы услышим в глуши,  
как происходит иррационально-освободительное движение  
души.

Как башня III Интернационала,  
пружина кресла точит из мглы.  
Иррационалисты всех стран, добро пожаловать  
на конгресс на конце иглы!

Пусть солдат в своем ранце, как рацию,  
носит маршальский мат.  
Коты летают. Царит иррацио.  
Время летит назад.

Живем без гимна. Утешусь малым.  
Неясной знаю тоской,  
что с Иррационалом  
воспрянет род людской.

\* \* \*

Ты ль меня зарезал, я ль тебя зарезала,  
у нас обоих алиби железное,  
Помянут на кладбище алкаши болезные —  
Ты ль меня зарезал, я ль тебя зарезала.

\* \* \*

Зачем я пришел к пергаментному Мишбó?  
для рифмы на «Хорошо»  
смешно  
тайный кайф просвечивал сквозь целлофановый мешо  
и кофе на посошо

\* \* \*

«Лейтенант Шмидт» подпрыгивал  
в перемещеньи срока:  
«Но я приму вашего Пригова  
без гнева и упрека».

## Дюймовочки

Маленькие дюймовочки,  
девочки-мойщицы стекол,  
подлетают к прохожим.  
Протирают очки.

На заборе сидела лошадь. Белая.  
Щека ее нервно дрожала. Вернее, вместо щеки  
было нутро рояля. Он был раскрыт,



и струны в нем дрожали.  
 Клавиатура просила сахара.  
 Еще б! Не такую музыку  
 напишешь,  
 сидя на зубьях забора,  
 ждя, что тебя распилят!

Пейте «Белую лошадь» в сумерках Чайковского...

Что-то с моей сетчаткой.  
 Выйду из дома, сейчас же  
 какие-то мини-пружинки,  
 микроскопические дюймовочки  
 влетят, протирая взор.  
 Гнедая купалась в пруду.  
 Меж бронзовых бюстов по пояс стоящих людей.  
 Когда заходила по шейку,  
 пруд превращался в шахматные квадраты.  
 Бюсты превращались в пешки.

Прошла сигаретка «Мальборо», загоревшая, видно, в купальнике,  
 бронзовая по бюст.

Микроскопические дюймовочки,  
 потерявшие сказку дети,  
 играют в нее,  
 протирают наш взор.

Третья лошадь была под нами,  
 под нами, но вверх ногами.  
 (Видно, лошадь от другого полушария.)  
 Две задних ее подковы  
 торчали из пыльной дороги.  
 Дорога была непрозрачной!  
 — А может, это бывшие большевики  
 сбросили памятник Фальконе?  
 — Нет, бывшие большевики  
 сбросили памятник Ленину.  
 — Давайте своруюем лошадь,  
 Юрия Долгорукого.  
 И продадим в Америку...  
 — Как шарик, — сказал Сережа.  
 — Как МММ, — сказали братья Губины.  
 — Как презерватив, — сказала Машутка.  
 — С усиками, — сказала Леночка.

Надо сходить к главному.  
 Вдруг это бесовские штучки?  
 Сказал же мне Папа Римский,  
 что летающие тарелки —  
 оптические обманы.

Но микроскопические дюймовочки —  
 сквозь времена дерьмовые  
 пристали к моим глазам.

---

Чингиз Айтматов

# ТАВРО КАССАНДРЫ

(Из ересей XX века)

РОМАН

*Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона, он наказал ее тем, что никто не верил ее вещим предсказаниям...*

(Из древнегреческой мифологии)

*А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем.*

(Екклесиаст)

## 1

**И** на сей раз — в начале было Слово. Как когда-то. Как в том бессмертном Сюжете.

И все, что произошло затем, явилось следствием Сказанного.

Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой: «Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе».

Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания редколлегии, спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы и, более того, пропускать в помещение редакции посетителей.

С этого экстренного заседания, все и началось.

Опубликовать на страницах газеты подобное заявление — такое разве что во сне могло привидеться! Но надо было решаться и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо: или — или. И «Трибюн», достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж «властительницы дум на всех континентах», не удержалась-таки от искушения (разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты), слишком велика была ставка — сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть, пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа.

Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил забывшиеся многим слова: «Ну, всё, ребята, — сказал он, держа в руках сырой оттиск полосы, — историю зашкалило за пределами мыслимого! И ведь благодаря нам, нашей «Трибюн»! Эту планку теперь никому не одолеть, выше не прыгнешь, а все остальное, как говорится, увидим — жизнь покажет. Чем все это кончится? Посмотрим! — Он покачал головой и добавил многозначительно: — Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить, теперь пусть каждый подумает о себе — что будет через час, неизвестно».

Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех — от главного редактора до стажеров с журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей, — все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом, то, напротив, — безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, галдя и блестя глазами от возбуждения. Однако в пору было подумать и о другом — не кинуться ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких

сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо налицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика (ее не удержала бы никакая полиция) была вдребезги стекла, расшибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику и под объективами телевизионщиков, подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевших буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину с самим Богом...

Но покуда ничего не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города, привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом так же непрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительно блестящие вертолеты. Еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинства миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений, еще никто не бросил подстрекательного клича, чтобы всколыхнуть всех вокруг и двинуться на исчадие ада...

«Трибюн» спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, перевортываемого буквально на ходу, хоть на полчаса, и материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем бы это для нее ни обернулось. «Трибюн» не могла упустить своего шанса, даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы...

А океан, это хранилище всемирного потопа, грядущего и скорее всего неизбежного, в тот день могуче зыбился меж материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями, самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядями волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве.

Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в этот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было, — обыденное и, более того, вынужденное зрелище для сотен авиассажажиров — внизу океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему же думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозреть безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное виденье. Да, благодаря техническим достижениям, ставшим второй, рукотворной реальностью, человек обнаруживал в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигал божественного могущества. Ведь только Богу дано целиком обозреть землю, несясь над миром незримым вихрем на незримой высоте. Вот о чем думалось Футурологу на досуге, под устойчиво равномерный гул самолета. Как хорошо остаться наедине с собой... Слегка захмелевший от выпитого виски, золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови, напротив, ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом густовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением.

Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международная конференция, собор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды, дискуссии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опасности монополярности развития и тому подобном — всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходила, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого мужа, и чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку оракула, тем сильнее становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого — перспектив живущего изо дня в день рода человеческого. И думалось порой, что за доука — вечно стремиться упреждать судьбу, вечно маяться в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет?! Но попробуй откажи себе в этом неизбежном забеге мысли в будущее, возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте?! Судьба без образа будущего — бесплодна. Но насколько трудно временами, призывая себя к научной невозмутимости, к позиции «над схваткой», решаться объективно прогнозировать, предсказывать, куда, в какие пропасти норвит закатиться так называемое колесо истории, да и колесо ли это, возможно, нечто иное, что-нибудь вовсе не способное катиться, что-нибудь вроде сплюсченного от страшного удара велообода с разлетевшимися спицами, — ведь этой

форме движения так и не находилось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность — вечные признаки «колокольной» футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно, и тем не менее берущейся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высокой, но шаткой «колокольни», попросту хотелось бежать, как от черной дождевой тучи, самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертей истории и, прежде всего, от наступления неукротимых сил, открыто помогающих везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла о своих целях, кровообращением своим имеет повеление. Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И, однако, отказаться от извечных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьям людским пути предполагаемого развития, Футурологу было трудно, все равно что отречься от самого себя. Сколько лет отдано этому! Удержаться же на высоте в современном прагматичном обществе, «предсказателям» не так-то просто. Прошли те славно-античные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумфы от имени богов. Увы, в XX веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительней.

Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу, своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте-на-Майне. Кто-то на приеме полушутя сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «майн», что, мол, великий город на Майне опубликовал великую книгу «Майне Хераусфордерунг» («Мой вызов самому себе»), которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. А в той книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, былым увлечениям молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя.

После презентации он провёл пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью «Шпигелю». Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка — старые скалы, мол, очень подходят к его облику, и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой: «Можете так и озаглавить интервью — «Размышления Старой скалы». И пришлите Старой скале порассудать вслух. А вопросы были всякие. Что значит — бросить вызов самому себе в науке и, стало быть, в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол: пессимизм — всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино? Ну, это здорово! Американцы всегда такие. Особенно немецкого происхождения!»

И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча, чтобы поскорей отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борк пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако же думалось. О новой, быть может, итоговой монографии. Предстояло завершить незавершенное — свою «Песнь песней». Если удастся, конечно. Если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами, его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как, если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отыскания дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления. Написать об этом, предсказать путь грядущего развития — это и была бы его, Роберта Борка, «Песнь песней»... Но удастся ли? Работа огромная... А время неумолимо...

Океан под крылом все так же бескрайне зыбился, мерцающая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, стремительный полет — движение, как бы застывшее навечно над океаном... Часа через полтора должна

была показаться береговая черта материка, и тогда начнется посадка, и тогда кончится эта небесная пауза, и снова, с первых шагов в гомонящем аэропорту, он окунется в людской омут.

А пока полет продолжался, и Футуролога ждало в пути нечто неожиданное и необычайное.

Он был неважным фотографом-любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и щелкал всякий раз без разбору все что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его Джесси приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполонивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и грозилась устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил: «Я стратосферщик и в науке — в абстракциях витаю, и в фотографии — облака ловлю в объектив!» Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожалению, не обнаружилось, небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялись далеко внизу.

И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько единообразно в пространстве и движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане. И вроде бы, звали его с собой. И вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище! Киты плыли клином, как журавли в небе. Голов двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода.

Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борк вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом гигантском заплыве, среди китов, что он киточеловек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозовой ливень с холма. И он плыл в бушующем океане, понимая проснувшимся вдруг чутьем издонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих; и открылась в душе его тайная суть этой встречи: то, что постигнет китов, постигнет и его, то, что произойдет с ним, произойдет и с китами...

Стало быть, снились они ему не случайно? Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом.

В следующее мгновение он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона — позвонить домой. Быстро набирая на телефонном табло банковский счет, код города, номер домашнего телефона, он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. «Ну что же Джесси так долго не снимает трубку?! Где она? Может быть, выехала? Едет встречать, так рано? Надо позвонить в машину!» Именно ей, жене, спешил он рассказать об увиденных китах, точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над Футурологом — он даже во сне ей верен.

А киты в океане уже скрывались, уже исчезали из виду...

— Джесси! — вскричал он, когда та откликнулась в трубке. — Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты?!

— Да, а что? Что с тобой? Где ты?

— Я только что видел их! Я встретил китов в океане! Ты понимаешь, это было, это было что-то грандиозное, такого я никогда в жизни не видел... Это...

— Постой, постой, что ты так возбужден? Ради Бога успокойся... Расскажешь потом, дома. Киты! ...Тут у нас такое творится, что и не знаю, что тебе сказать! Все в шоке. Все читают «Трибюн»! Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Хотя, конечно, откуда... Пока вы летите, тут такое творится! Это экстренный выпуск «Трибюн», о нем только что объявили по радио и телевидению... Все кинулись читать...

— А что такое? Политическая сенсация?

— Да нет. Если бы! Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Это — совсем иное.

- Но все-таки о чем речь? Что это?
- Послание космического монаха папе римскому! А вообще-то обращение ко всем, ко всем людям...
- Что-что? Что это за космический монах? Не смеши, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов?
- Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают.
- О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах!
- Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь, вроде бы, сами смогут решать, рождаться им на свет или нет.
- Да ты что, Джесси?! — Футуролог опешил. — Ничего не понимаю. Бред какой-то. Как можно подобное утверждать?! А где же Бог?
- Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим.
- Ничего себе! Что ты говоришь?! Ты понимаешь, что ты говоришь?! Что там у вас творится?
- Приедешь — прочтешь. Все звонят друг другу... Все в растерянности, многие так возмущены, что готовы стереть «Трибюн» с лица земли. Друзья говорят, что именно ты должен высказаться. Разобраться, сказать, что все это значит и что будет дальше...
- А кто он, этот космический монах? Кто-нибудь из астронавтов, спятивших на орбите?
- Да это тот самый невозвращенец, помнишь, промелькнуло как-то в печати, что один член экипажа космической научной станции отказался возвращаться на Землю?
- Помню, конечно. Писали, что он русский, летал с американцем и японцем. Не помню только, как его зовут.
- В послании он именуется монахом Филофеем.
- Филофей? Это его настоящее имя?
- Не знаю.
- Это русское имя. От русских сейчас всего можно ожидать. Они такого навиделись на своем веку... Отшельник, стало быть, уединился в космическом скиту и кидает оттуда идеи?! Это ново!..

## 2

Папе римскому!

Ваше Святейшество, прежде чем извиниться за беспокойство, причиняемое Вам из столь отдаленных мест во Вселенной — с околоземной орбиты, где я нахожусь в экспедиции на космической научно-исследовательской станции вот уже третий год, мысленно преклоняю перед Вами колени, святой отец, и истово целую Вашу руку. Простите грешную душу мою и, если сочтете возможным, выслушайте мои, могущие показаться на первый взгляд абсолютно абсурдными, более того, вредоносными — с точки зрения нравственно-исторического опыта — выводы из практических наблюдений и идеи, кровно выстраданные мною, быть может, по воле и внушению — осмелюсь предположить — самого Провидения. Иначе я не стал бы тревожить Вас, святой отец, прекрасно понимая, сколь большой дерзостью выглядит мое обращение к Вам. Надеюсь, однако, что в контексте письма мотивы моего обращения станут понятны.

Итак, начну сразу с сути. Судьбе угодно было сподвигнуть мою скромную особу на познание прежде неведомого свойства зарождающегося духа — рефлексии человеческого эмбриона, открытие и осознание существования которой, весьма возможно, приблизит нас к тайнам Божественного Промысла. Мне выпала удача экспериментально выявить скрытую до сего эту рефлексию, и я рассматриваю это как новый шанс совершенствования эволюции рода человеческого.

И потому покорно прошу Вас, святой отец, выслушать меня.

Повторяю, мне удалось совершить величайшее открытие, последствия которого, несомненно, скажутся на дальнейшей жизни человечества. Я вынужден говорить о себе подобным образом потому, что никто другой пока не в состоянии оценить того, что достигнуто, поскольку никто не имеет представления о характере открытия, не имеющего каких-либо аналогов.

Я утверждаю, что в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей

жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий.

Мною выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отношение к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Я назвал это пятно тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, — кассандро-эмбрионом.

Паразитальная способность проявлять свое отношение к грядущему и подавать сигналы бедствия свойственна человеческому эмбриону лишь в первые недели после зачатия. Затем эта способность угасает, что связано с тем, что плод постепенно примиряется с ожидающей его неизбежностью.

Неприятие кассандро-эмбрионом предстоящей жизни, безусловно, имело место на протяжении всего бытия человеческого. Но никто никогда не придавал, да и сейчас не придает значения пигментному пятнышку на лбу у некоторых беременных женщин. Я не только расшифровал значение подобного пятна, но и нашел способ более явственно выявлять его, делать его более заметным. Для этого я провожу сеансы облучения, посылаю на Землю из космоса зондаж-лучи. Направленные с орбитального модуля, они усиливают импульсы кассандро-эмбриона в чреве матери. И небольшое пигментное пятнышко, которое раньше люди принимали за прыщик, под воздействием зондаж-лучей начинает пульсировать и мерцать. Зондаж-лучи незримы в атмосфере и совершенно безвредны для организма. Они направляются мною из космоса практически на все континенты, на всю планету. Цель этого облучения — тотальное выявление кассандро-эмбрионов. Идет «космический опрос» эмбрионов. Суть того, что сообщает кассандро-эмбрион, можно передать примерно так: «Будь на то моя воля, я предпочел бы не родиться. В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит, и моих близких, в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, кассандро-эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принося никому лишних тягот. Вы спрашиваете — я отвечаю: я не хочу жить. Но если, невзирая на мою волю, меня принудят родиться на свет, я приму судьбу такой, какой она мне выпала, как и все люди во все времена. Как быть, решайте сами и прежде всего зачавшая меня мать. Но сначала постарайтесь меня услышать и понять. Я — кассандро-эмбрион! Пока еще не поздно распрощаться со мной, и я к этому готов. Я, кассандро-эмбрион, буду много дней давать о себе знать, я, кассандро-эмбрион, буду посылаю вам свои сигналы. Я, кассандро-эмбрион, не хочу родиться, не хочу, не хочу, не хочу... Я — кассандро-эмбрион!»

Разумеется, такая интерпретация сигнала кассандро-эмбриона в каждом отдельном случае никого ни к чему не обязывает. Мерцающее на челе забеременевшей женщины тавро Кассандры вскоре потускнеет и исчезнет бесследно. И все забудется, если пожелать забыть, если пожать плечами и потом ни о чем не думать...

Но наука не может пожать плечами. Статистические данные, полученные на космическом компьютере, свидетельствуют о том, что количество кассандро-эмбрионов с каждым годом возрастает.

Чем вызвано такое нарастание незримо бедствия — готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступать в борьбу за существование — и что оно предвещает? Есть ли смысл извлекать уроки, собственно, из мистической стихии, лежащей за пределами нашего обыденного опыта? И если да, то правомерно ли экстраполировать страх едва зародившегося организма на реальную жизнь вовне? И не эта ли жизнь и является первопричиной апокалиптического самоощущения плода в материнском лоне? Мать — это слепок мира. Не становится ли она, мать, невольным проводником фатальных влияний окружающей действительности на плод?

Все эти вопросы требуют ответа.

Но прежде чем продолжить, я попытаюсь объяснить, почему я обращаюсь в данной ситуации именно к Вам, Ваше Святейшество, к главе римско-католической церкви.

Побудило меня обратиться к Вашей равноапостольной особе не только то, что Вы наместник Иисуса Христа, преемник св. Петра, что Вы обладаете в силу этого мировым авторитетом, это само собой, но и то, что Ваша личность интегрирует в себе нравственные убеждения и духовные ценности огромного числа людей, населяющих Землю. И, обращаясь к Вам, я обращаюсь ко всем современникам своим и, кто знает, возможно, и к потомкам нашим.

Разумеется, Вы вправе считать мое обращение неуместным, дерзким и прочее и прочее, но в любом случае рассмотрение затронутой выше проблемы «эмбрионального пессимизма» невольно коснется чувствительной темы католического видения чудесного проявления Божественной воли — таинства рождения...

Я не католик, но это обстоятельство нисколько не умаляет моего искреннего уважения к католической вере. В моем представлении любая религия, не закончившая в упоении собственной исключительностью, может служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц... Окажись я в этом смысле птицей перелетной над католическим небосклоном, был бы счастлив...

Да, я всегда разделял в душе католические нравственно-этические догматы, находя в них общеприемлемые для всех нормы, наилучшим образом отвечающие логике жизни и в силу этого обладающие универсальной значимостью. В особенности когда речь идет о том, что постоянно терзает наши души сомнениями и муками, — о проблеме абортов. Не эта ли радикальная акция, ставшая столь же банальным делом, как открывание консервной банки, оборачивается для нас всякий раз мучительной наглядностью судьбы — так несложно, так запросто, значит, решается, быть или не быть человеку! Родиться или не родиться, жить или не жить ему! Все зависит от разного рода привходящих причин, от превратностей, подчас сугубо житейских. И — говорят многие — при чем тут Бог? Бог тут ни при чем. Бог дал начало благословенной жизни. А дальше все решаем мы сами, люди, имеющие право сохранить или, напротив, уничтожить завязь. На этом многолюдном «толковище» неутихающих споров позиция католической церкви, отстаивающей безусловный запрет абортов, мне представляется наиболее верной, я бы сказал, соответствующей изначальному устройению жизни, какова она от сотворения, ибо в каждом крохотном зародыше, в каждом возобновляющемся варианте заключен неповторяющийся шифр движения вечности, каждое зародившееся существо закодировано в череде времен с последующим воспроизведением себе подобного, и все это изначально заложено Творцом в конструкции мироздания...

Да, потому и хочется напомнить вслед за католиками, что аборт означает прямое разрушение Божественного замысла. Много раз сказано о том, что аборт — насильственный акт, равносильный умышленному убийству, что аборт находится в прямом противоречии с первозаповедью «Не убий!», с библейским благословением «Плодитесь и размножайтесь!».

Все это, разумеется, так. Но есть ведь и другая позиция. Разве не раздаются повсеместно голоса, призывающие не вмешиваться в решение зачавшей женщины, а то и прямо агитирующие — якобы в интересах личности и общества — прибегать к абортам без лишних сомнений... И трудно возразить что-либо, когда будущая участь еще только зачатого существа заранее обусловлена поджидующими его в мире невзгодами — беспросветной нищетой и болезнями, насилием, пороками и унижениями... И потому категоричные транспаранты над головами участниц женских шествий, вроде «Мой живот — мой!», что означает попросту: «И катитесь все от меня подальше!», мало кого шокируют, как мало кого отвращают циничные заявления спившихся женщин на сносях, что, мол, выпью еще, а завтра выкину из себя эту гадость, тунеядца, и буду гулять, буду шиковать, и никаких проблем... И что мне ваш Бог, и что мне ваш грех?! Да плевать мне на все, коли на меня все плюют!.. Будущего человека выкидывают в момент, как некий отброс... И тому находят многочисленные оправдания, не лишённые самой жесткой логичности.

Массовые выступления против деторождения повсюду множатся, заявляя о себе самым вызывающим образом, напирая декларациями в парламентах, шумя в феминистских движениях, на площадях и улицах, в толпах... Во многих странах свобода от продолжения рода не только затребована, но и вырвана. Не тупик ли это жизни?

И в то же время наглядна жуткая участь беременных женщин, бросаемых повсюду на произвол судьбы. Кому нужны вынашиваемые ими дети? Так думают многие, очень многие и в пустынях Африки, и на улицах сверкающих городов. Все больше углубляется пропасть между необходимостью и возможностью. И в то же время... И в то же время не утихают в нас сомнения и терзания — так ли мы живем, все ли делаем, чтобы не пресекался род человеческий?

Но сколько же можно в самоистязаниях мысленных жалобно сетовать и беспомощно вопрошать — остановить ли нам продление потомства, поскольку



счастья на Земле не находим, или перекинуться на другие планеты, если бы вышла на то соответствующая Санкция? Настолько все безысходно!

Обо всем этом много толковалось, и много истрачено полемического пыла, и все уже пресыщены мазохизмом; я же вынужден говорить об этом заново, точно я действительно свалился с Луны. Я вынужден обращаться через Вас к человечеству, потому что на всех обрушилась новая, неведомая прежде беда: мы узнали, что эмбрионы взывают к нам, и теперь нельзя не думать об этом!

Возможно, это не только беда, а и новое испытание духа, ниспосланное нам свыше в провиденье дальнейшего пути рода человеческого. Но куда выйдем мы на пути этом неизведанном? Что ждет нас впереди? Куда нам деться от гласа кассандро-эмбрионов, говорящих в нас о нас?

Открылась бездна, о которой мы не подозревали. Наступил срок мировой... Будем ли мы жить вне истины?

Именно поэтому я обращаюсь к Вам, святой отец, с этим посланием, чтобы вы могли, если сочтете нужным, со всей определенностью оценить открытое мое явление, для человечества столь же неожиданное, как если бы в небе появилось вдруг из глубин Вселенной второе солнце рядом с первым...

Я в большом смятении. Оптическое оборудование станции сближает меня с Землей, казалось бы, настолько, что расстояние почти не играет роли в восприятии земной действительности, и все же физически — я в космосе. И как бы мне хотелось в этот момент внезапного осознания человечеством подлинного положения вещей находиться непосредственно на Земле нашей грешной, среди людей. Но мой долг — находиться на посту. Я обязан быть на орбите, на научной станции, поскольку я, космический монах Филофей, несу полную ответственность за свои действия, а именно — за неуклонно и систематически проводимые мной сеансы облучения зондаж-лучами, направленные на выявление флюидов кассандро-эмбрионов. Метод этого, провоцирующего появление тавра Кассандры облучения, разработанный мной, целиком на моей совести.

И я очень обеспокоен возможной реакцией землян. Люди еще никогда не сталкивались с такого рода безапелляционным вызовом. И люди столкнутся с собой внутри себя...

Я боюсь за психическое состояние людей. Я боюсь, что, когда они узнают, что означает эта крохотная точка мерцающего эпителия на лбу у будущих матерей, это обернется для всех великим шоком.

В минуты слабости я мысленно зываю к Богу, плача и сетуя, что именно мне суждено было первым понять тайну эсхато-эмбрионов, распознать знак Кассандры, сей проклятый знак беды, затаившейся в генетическом подполье и лишь теперь обнаруженной. Даже Фауст, заглянувший в глаза изощренной дьявольщине, и тот не позавидовал бы мне. Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного груза. Никому и никогда такого не выпадало. Но почему же именно я?..

Никто и ничто не принуждает меня к тому, что я совершаю сейчас, обращаясь к Вам, Ваше Святейшество! Может быть, стоило бы мне умолчать, унести с собой в могилу эту открывшуюся мне тайну? Поступи я так, кто бы знал о ней, кто бы мог бросить мне укор и обвинения?..

Так зачем же я несу эту неслыханную ересь людям? Не затем же, чтобы породить бессмысленный переворот в умах, анархию и смуту духа, чтобы искалечить семьи, посеять тяжкие сомнения в каждом, кто приздается и ужаснется, — есть ли смысл в продолжении бытия в потомках, а стало быть, и в самой юдоли земной? Как быть дальше? Чем компенсировать утрату незыблемости устройства жизни, унаследованного еще от Адама и Евы?

Много раз спрашивал я себя и много раз отвечал себе... Ни при каких обстоятельствах, ни из каких соображений не имею я права умалчивать о том, что открылось мне в скрытой эмбриональной стихии, — ведь, повторяю, число кассандро-эмбрионов непрерывно растет. Причина этого — в эскалации в подкорке мирового сознания ощущения порочности и гибельности вечно экстремального людского бытия. Тавро Кассандры — закадровый голос эмбрионального эсхата, напряженно и отчаянно ожидающего уже в утробе матери приближения конца света. Это убивает в нем естественную тягу к жизни.

И разве можно теперь, в наши дни, в условиях постиндустриального общества, скрывать от мира подобное положение вещей? Нет, безусловно, такое сокрытие было бы преступлением против человечества, против самих себя.

Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион

не безучастен к тому, в какой генетической ойкумене он возникает в качестве будущей личности, то есть каковы мы: мы — жизнеобразующее начало, мы — эпоха, мы — личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы — зазеркальной подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. А не стоит ли нам самим вглядеться в этот перископ кассандро-эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов?

Страшусь думать: не есть ли кассандро-эмбрион проявление нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее богоподобные существа, докатиться до такого состояния? Сколь же надо было «преуспеть» людям, в каких свойствах делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам уже на стадии зародыша!

В этом факте дает о себе знать все то, что годами, веками накапливалось, суммировалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии эмбриона — тавро Кассандры. И велением судьбы именно я посылаю из космоса выявляющие это тавро зондаж-лучи. И потому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг.

Позвольте, Ваше Святейшество, принося извинения за злоупотребление Вашим временем, продолжить свое, возможно, излишне многословное послание.

Как же нам быть дальше, зная, что являет собой тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо, наконец, открыто признать: зло, совершенное субъектом, не уходит физически вместе с ним, с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно мине замедленного действия.

Кстати, о мине замедленного действия, уже реальной, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые «трупные» ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же «контингентчики» залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв и пришедших убивало на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения... Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре — перепуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на земле отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам... Случайный путник, не посмевший равнодушно проследовать мимо убитого при дороге. Слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть, и снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскроенным черепом убегает прочь нелепым скачем, потом валится с ног, дергается судорожно, храпит. И все это снято... Таким образом фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству «трупных» ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом. Какие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они, с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране? И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они, откуда они? Их родословная неизвестна, их предков не сыскать. Остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего.

И напрашивается вопрос — откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неискаемой милостью, неизменно полагаемся как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах, — так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартующих в нас злодеяний? Откуда? От кого они сами?! Риторический, разумеется, вопрос... Но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то, да мало ли от кого в той сатанинской

бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия; и как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножья восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимых жестокостью глашатаях в стаях партийных, кто клеветал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную власть.

Кровь и власть — вот тот гумус, на котором семена зла всходят веками... Зло сменяется злом, оставляя семена свои для следующего зла...

Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле, — эпоха Сталин-Гитлера, или же, наоборот, Гитлер-Сталина. Двухединая сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще, спустя многие десятилетия, не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междоусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм без большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот? Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнородных, но единокрестившихся в карме преисподней Сталин-Гитлере и Гитлер-Сталине.

И кто знает, не пытался ли в свое время Кассандро-эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли Сталиным, не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир и прежде всего вынашивавшую его во чреве мать, о своем предощущении будущего через тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного сопротивления, желания уклониться от той злой роли, которая ему предстояла?

Трудно сказать, что было бы, не появившись они на свет... В таких случаях обычно говорят — историю не переделаешь. И, однако, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталиным для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, не виданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов во зле сумели столкнуть миллионы людей между собой и, в конечном счете, человечество с самим собой, как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездны человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кровавому исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации злобного тиранического комплекса, безусловно, депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеявшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду.

Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей, сколько людского горя, сколько несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным методом провидения и, в частности, знай они о Кассандро-эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры. Увы, о том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно...

Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет. Никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии Добра и, наряду с ней и вопреки ей, — энергии Зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и, если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе Зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение.

Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира?

Так ли это или нет — трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие Кассандро-эмбрионов привносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались.

Кто скажет, как следует относиться к сигналу Кассандро-эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение? Или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо, через недели две странная

точечка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, Бог даст, забудется.

Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем, не исключено, припомнится; возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи, и всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных, и будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке, порождая неизбежные вопросы. Странно, мол, подумается, почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя. Был ли подобный знак у других матерей, а если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя, стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что если каким-то образом и ребенок подозревает об этом, пусть это таится лишь в его подсознании, смутно, как зыбкий сон, и вообще, отражается ли это как-то на его психике?

Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть, они, она, он во всем были виноваты? И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос, что именно могло повлиять, чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия, — вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, действовавших каким-то образом на эмбриона, не только себя как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе: их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения — все, что обуславливает, формирует и сотрясает жизнь человека, со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями — что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и т.д.

Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в Пространстве и Времени, это завязь истории в архетипах природы.

Кассандро-эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов — это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде не доступного нам. И каждый волен делать выводы сообразно своим понятиям и устремлениям души.

Пользуясь этим правом в данном случае, говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом, о том, что порождает эсхатологический комплекс у кассандро-эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем.

Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся в разное время на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян, более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель, моя программа космически-земная, я — экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это на громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеулышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество.

Я провожу эксперименты по системному выявлению тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин. Это все равно как если бы все попадали под один дождь. И хотя эти незримые зондаж-лучи совершенно безвредны для здоровья, всякий раз при мысли о том, что я причиняю людям душевную боль, мне становится не по себе.

Но я не могу извратить их от переживаний в тех случаях, когда в ответ на космический «запрос» будет иметь явственная мета сигнальной реакции кассандро-эмбриона. Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно пони-

мать, что судьба эта, будучи конкретно-индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды — мировые.

Хотим мы того или нет, кассандро-эмбрионы и тавро Кассандры — реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто, сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на Земле. Люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, святой отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд.

Повторяю, я осознаю, что несу ответственность и перед кассандро-эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю (но ведь он сам добивается разглашения!), и перед матерью, его зачавшей, ибо, не знай она значения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно.

И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живо бегущие строки, мне тяжело, мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня.

Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подалее от компьютера, растерянно блуждаю взором, как бы ища нечто такое, что отвлечло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру, и взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран, на разных языках. Вот она, земная действительность, во всех своих ипостасях и неповторимой разности, от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и т.д. и т.п.

Среди всего этого глобального пейзажа мое внимание приковывает к себе экран, на котором какая-то шумная, наэлектризованная уличная демонстрация. И почему-то полицейские, их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами. Все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии тонут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко — все рядом: блеск глаз, жестикуляция, нервное выражение лиц. Да, это в Сицилии. Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно! Опять мафия! Опять террористы! На этот раз убит главный судья, вслед за прокурором! Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено — всё и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его охранники. Сработано все «безупречно» и на виду у всех.

Демонстранты в отчаянии... Они прут рекой. Но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не находятся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой, а они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уже целые страны, колонии мафии!..

Демонстранты идут... А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет, густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть — череп с костями... О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть, всем, кто против мафии! Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме, в берете, сбитом набок, с развязавшимся галстуком. Женщина-полицейский с видеокамерой, судя по всему, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиози не так глупы — вертолет будет перекрашен, искрошен, все что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят. Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии! И им это грозит. И ей тоже. Но что я вижу: на лбу ее обнаженном характерное пятнышко — тавро Кассандры! Да, как знал! Я приближаю и укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотруднице полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку. Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практический результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции кассандро-эмбрионов на зондаж-лучи.

И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному кассандро-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он (или она) может оказаться одним из самых ужасных преступников. Многим людям, всему обществу

ву принесет он страдания и несчастья, пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности — его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир! Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет, если он, этот кассандроноворожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его; в других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется, — так же, как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы — все катится само собой.

Вслушиваясь в сигналы кассандро-эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, — это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем непрерывном грехопадении в импульсы нарастающего страха. И потому эти сигналы — голоса кассандро-эмбрионов — должны быть услышаны на Земле, а смысл их вызваний воспринят с пониманием.

Нет, это не сиюминутность, речь идет о вечности. Вечность вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода в род единственным способом — нравственным самосовершенствованием. Прогресс — лишь техническое приложение к идее. Ядерное оружие в руках фанатичного диктатора, готовящегося уничтожить, если потребуется, весь мир, — яркая тому иллюстрация.

Будут ли земляне озабочены сигналами кассандро-эмбрионов, воспримут ли их как предвестие генетического заката и, стало быть, заката человеческой цивилизации?

Боюсь предсказывать. Боюсь, что сомнения и терзания замкнутся в пределах каждого частного случая и каждый знак Кассандры вызовет соответственно свою развязку, свой финал...

Опасаясь, что большинство женщин — и вряд ли мужья станут им препятствовать — постараются побыстрее избавиться от такого не совсем обычного плода. Первое, что придет им на ум, — аборт как самый радикальный выход. И моральное оправдание тому, можно сказать, бесспорно — к чему, мол, плодить заведомо несчастных людей? Их и без того хватает на свете. И кто посмеет осудить их, прибегнувших к аборту?! Кто? Общество? История? Мораль? В истории общества — истоки зла, оседающего генетическим страхом, а мораль так часто уклончива перед циничным натиском действительности.

И вот тут, Ваше Святейшество, я считаю своим долгом уточнить свою позицию. Будучи убежденным сторонником католического запрета на аборт, я, тем не менее, не мог бы высказать категорического осуждения в адрес тех, кто, обнаружив тавро Кассандры, предпочтет прибегнуть к аборту, при том, кстати, что такой исход отвечал бы и стремлению самих кассандро-эмбрионов.

В результате мы сталкиваемся с чрезвычайно сложным противоречием. Радикальные действия (аборты) не решают, а скорей, напротив, усугубляют ключевые проблемы мирового сознания — остаются незатронутыми причины, порождающие эсхатологический комплекс у зародыша.

Вот череда невзгод, о которых не может не думать будущая мать:

- голод,
- трущобы,
- болезни и среди них СПИД,
- войны,
- экономические кризисы,
- социальные штормы,
- преступность,
- проституция,
- наркомания и наркомафия,
- межэтнические побоища,
- расизм,
- катастрофы экологические, энергетические,
- ядерные испытания,
- черные дыры,
- и т.д. и т.д.

Все это рукотворно, все это порождено самими людьми. Масштабы бедствий людских приумножаются из поколения в поколение. И все мы в том соучаствуем. И вот, наконец, Провидение останавливает нас на краю бездны, дает о себе знать через тавро Кассандры...

Я еще раз заявляю, что мои космические исследования по выявлению сигналов кассандро-эмбрионов не преследуют никаких целей, кроме как помочь понять людям — дальше так жить нельзя, дальше грядет вырождение!

Только искоренение бед и пороков каждым человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить перспективу жизни. Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет...

Верю, что найдутся мужественные люди, которые не отступят, не кинутся немедленно избавляться от кассандро-эмбрионов; этим людям фатальные сигналы скажут о многом: об ответственности всех и каждого за образ жизни, за судьбу потомков, о том, что предстоит невиданное борец человека с самим собой... Такие люди будут добиваться лучшей жизни.

В это я верю.

А теперь очень коротко о себе.

Разумеется, никто меня не постригал в монахи, я самозванный, иначе говоря, условный космический монах, и имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем, были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж — американец, японец и я (до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории), завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покинуть орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоразовый космический «челнок». Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое. И добился своего...

Вот уже пятый месяц, сто тридцать седьмой день, нахожусь я в полном одиночестве на орбите, проводя свои исследования. Запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад советской империи, от чего больно содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне и об орбитальной станции, именованной прежде «Восход-27». Боюсь, что не скоро вспомнят, боюсь, им не до меня, боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами, возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался, а возможно, будут делить и сам космос... Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество — выявлять сигналы кассандро-эмбрионов — до последнего часа своего...

На Земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш, воспитывался в детдоме. Подбросить младенца на крыльцо детдома мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду — это особая тема, особый рассказ.

Ваше Святейшество, еще раз преклоняю голову пред Вашим светлым Ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через Вас к людям, — чтобы они знали истину.

Филофей, космический монах.  
В миру — Андрей Крыльцов.

К тексту послания папе римскому, переданного с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакции газеты «Трибюн»:

«Уважаемый редактор!

В соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции «Трибюн» эксклюзивное право на публикацию послания.

Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя «Трибюн», решившись на такой шаг. Ценю Ваше мужество.

Был бы признателен, если бы редакция передавала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян.

С благодарностью

Филофей, космический монах,  
орбитальная станция РХ».

Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз. Он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами. Вода в океане становилась все горячей. Накаты волн обжигали. И, чем дальше, тем трудней и страшней было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца. Два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое — откуда-то приплудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим, трудно было понять. Он сильно перепугался. И стал кричать рядом плывущим китам: «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите?! Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца — страшно!»

Роберт Борк еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту, с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил к себе, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так, точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху! Жутко, жутко!..

И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. «Надо же!» — усмехнулся Футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате.

Борк вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку. Но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу (хотелось верить — согласно расположению звезд), где по утрам Футуролог любил — по слухам, распространяемым Джесси комически-ужасным шепотком, — колдовать, а по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, сегодня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом, предстояло звонить разным лицам по разным вопросам — ухватывать ситуацию на лету.

Страсти по поводу кассандро-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Борк несколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые, молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечества можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального «Римского клуба», стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг тавра Кассандры пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытые столкновения ради идеи.

А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихвотившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами, с давлением, случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые, далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба.

Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов, была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи:

— Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертал перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся? Никак, Роберт, никак, хоть лопни! Этому нет объяснения. Но это неслышанно! Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир!

— Значит, мои иероглифы чего-то да стоят?! — ответил ей в тон Футуролог.



— Ну, в общем, доигрался, мой дорогой Футуролог, доигрался в магию... Теперь вот разбирайся.

Уже в машине — Джесси была за рулем — Борк развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил:

— Нет, это надо дома, в спокойной обстановке внимательно прочесть, — и сложил очки.

— А ты думал! — понимающе усмехнулась Джесси. — Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили! Представляешь: эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит! Что-то предполагает! И сообщает, что не хочет рождаться на свет! И об этом всерьез! Как можно?!

— Ну, не совсем, наверное, так, — озадаченно шевельнул плечами Борк. — Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась не права. — Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим, открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета... Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось. А такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне. Да и то в фантастических представлениях. Хотя как сказать. Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим, если всерьез... А ты знаешь, я сейчас тебя рассмешу.

И Футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что родило их с американцами. Однажды рано утром он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе человека, едущего вдоль реки на велосипеде и распевającego во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию, причем велосипедист был при галстукке, белом воротничке, в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре, точно он только что с оперной сцены. И никого не было в тот час на набережной, ни души, кто бы мог оценить его пение. Но велосипеду никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводный Рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы... И солнце легче всходило. Борк в восхищении готов был бежать за чудачком-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в Рейн, плыть навстречу тому поющему велосипедисту, что катил себе по бесконечной набережной, помахать ему рукой, прокричать из воды что-нибудь веселое, хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете.

Они посмеялись чудачку, мчась по автобану.

«Теперь домой, домой. Теперь работать, работать, черт подери!» — говорил себе Борк в предвкушении того, что скоро снова будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двойное чувство — облегчения, как всегда бывало по возвращении, при встрече с Джесси в аэропорту, и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, цену которым человек познает слишком поздно.

На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолета. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь сногшибательной сенсации — вспыхнуть и угаснуть. Но чем больше Борк думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниваться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю. Как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслышанный приговор, по которому не только подсудимый, но и все, кто в тот момент находился на слушанье дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен...

Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью, поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам «зиму и лето жизни» и знал все, что у нее на душе, и она

знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полу-взгляда определяла их согласие и семейное счастье.

Он решил не отвлекать жену болтовней — сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было. Как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен; единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, — того, что от Бога, ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посылить реализовать свои творческие возможности, насколько хватит «квоты» времени и здоровья. И Борк понимал: если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея.

«Дома поговорим, — думал Роберт Борк. — Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем? — И хотел было уже поднять трубку, но передумал. — Не сейчас, надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом...»

— Включить радио? — отгадывая мысли мужа, спросила Джесси.

— Не стоит. Зачем мне галдящее радио? Мне с тобой и так хорошо.

— Охотно верю, очень охотно, — с мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину.

— А если то, о чем нам сообщили оттуда, — поднял глаза Борк, — действительно существует, то, конечно, никто не останется в стороне.

— Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно?

— Не знаю. Но если это так, может последовать обвальная реакция.

— Типун тебе на язык, Футуролог! — вполне серьезно обеспокоилась Джесси. — Это же страшно, когда массы!

— Если люди увидят себя в беспощадном свете, генетика из таинства биологии может превратиться в политику.

— Ну уж ты чересчур, Роберт, — попыталась Джесси как-то приглушить усиливавшуюся тревогу. — Но кто его знает, — стала она рассуждать, — вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнаеры, Артур и Элизабет, они тоже очень обеспокоены. А Джон наш, Кошут, звонил из Атланты, спектакль там ставит, тот вдруг припомнил, что-де на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества. Вот, говорит, и накаркал твой футуролог, извлек из ресурсов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны войну в самом себе, в человеке, проблему — стоит ли ему родиться. Помолчал бы, говорит, твой футуролог, может, и не было бы такого оборота. А то открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю — что оно? А он — оно и есть оно. Ему и названия нет.

— Ну да, узнаю, узнаю, Кошута, — Борк иронически пожал плечами. — Хохмит, как всегда, сам в театре ставит трагедии, мир переворачивает вверх дном: Шекспир, Эсхил и прочее, а я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош мой лысый дружок...

— Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг говорит: завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще та. А у меня, мол, что? А ты ему: жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру, пусть и седую, и косматую, никак! А у него аж слезы на глазах, вроде, и смеется и плачет, артист!

Борк задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее, с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне, невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим.

— Боб, а ты действительно видел китов в океане? — прервала его мысли Джесси.

— Ну как же! Я потому тебе и звонил, — оживляясь вновь, заговорил он. — Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные, плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет. Но, хорошо еще, дозвонился. — Борк помолчал и затем продолжил, увлекаясь: — И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Вот послушай. Во Франкфурте в этот раз кроме знакомой публики был один новый участник, из Австралии. Из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор, случайно, конечно, о китах, начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смеш-

ным, очень сблизил нас. Мне было так интересно! Ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов.

— Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду?

— Да, именно это. Так вот, что заставляет китов, полных сил и, надеюсь, умственного здоровья, вдруг, ни с того ни с сего, как стоворившись, подплыть ночью к берегу и швырнуть себя на отмель, где воды по щиколотку, на издыхание? И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают, отчего, почему?

— Но постой, — перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами. — Сколько раз об этом писали в газетах. И что, твой австралиец знает, отчего это происходит?

— В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление — самоубийство китов — противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть — природе вопреки. Такого нет в животном мире.

— Зато среди людей сколько угодно.

— Это совсем другое. Категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.

Роберт Борк замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах и невольно безотчетно любуясь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым — на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее, как поразится она услышанному, как потом, увлеченные открытием, они будут снова и снова возвращаться к этой теме, обсуждая ее с разных сторон. И это будет счастьем. Ведь счастье — в единении душ. И ему захотелось, приехав, посидеть вдвоем на веранде, послушать поставленную Джесси музыку (она несправима — классика для нее превыше всего) и позволить себе любимого белого вина... Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идиллии сегодня может и не быть.

— Что ты замолчал, Боб, я жду. Решил меня заинтриговать?

— Да нет. Просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь — знает ли он, этот австралиец Киффер, причины самоубийства китов. Как тебе сказать. Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. Я бы сказал, это особое нравственно-философское виденье. Да, да. Не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих киты, наряду с дельфинами, — самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними.

— Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском виденье ты говоришь?

— Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А Киффер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера.

— Так в чем же суть его гипотезы?

— Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события.

— Ну это совсем фантастика, Роберт!

— Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой. Ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом, на вселенскую миссию, а если мы не в состоянии совершенствоваться, не в состоянии активно осваивать универсум, что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете, то, стало быть, мы — паразиты, не оправдывающие своего назначения, никчемные твари. Но извини, я несколько увлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что, сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено: гармонизировать, совершенствовать бытие, а сюда включается все, что исходит от нас — и в помыслах и на практике. Гармония бытия! Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается, сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу, а ведь гармония — это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос — а что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе, перед природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим?

— Роберт, — не утерпела жена. — Воистину, в тебе пропал пламенный про-

поведник, жить бы тебе в средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога?

— Ах, вот оно что! Вот и ты, Джесси, становишься дотошным догматиком. Как можно?! Как можно?! Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да. На то нам и дано свыше слово. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно, в конечном счете — это реализация слова. Мост через реку — вначале это было словом. Я больше скажу, слово — потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается. И потому оно — Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах — то на крыльях летим в бесконечность, то под уздцы неизбежности ведомы словом, как мулы... Но я ведь о другом. О другой как раз, совершенно диаметрально противоположной ипостаси бытия — об изначальном отсутствии слова. А это — вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания. Лишенным дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем. Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам.

— Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?

Роберт Борк замолчал, приостанавливая себя перед тем, как высказать то, что было для него столь важным. И поймал себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке.

— Понимаешь ли, — продолжил он, — Киффер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты — это живые радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; быть может, именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов, и безмолвно режут от напора внутриземной энергии, но, должно быть, самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам, самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих не постижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор, — ты знаешь, о чем я говорю, об этом существует целая литература, — ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели — всегда дефицит, зла — всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, чего мы не в силах остановить и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому. Лишенные дара речи, киты не могут выразить, насколько они страдают за нас, и как это давит, душит, разрывает их изнутри, требуя выхода, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно! Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавец, а она, несчастная, бегала, не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное, только в иных, вселенских масштабах, происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу за полыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но сдвигов в человеческом поведении, злодеяний, садистских и неискоренимых, — вот этого они не в силах превозмочь, — такого, понимаешь ли, нагнетания губительных страстей человека, носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее, ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас, в стихии нашей, происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространятся из того обвала по миру, нарушается космическая справедливость, думаю, что существует такая справедливость, искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают и тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разом, выбрасывают себя на гибель, совершают самоубийство. И вот, представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, вдруг на развороте под крылом — стадо китов в океане. Я обомлел, когда увидел, как шли они журавлиным клином среди волн, дух захватило, и в то же время я подумал почему-то: куда они, какая сила гонит их, куда и зачем?

— Ну теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить: какие киты, что происходит? Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить?!

— Думаю, что не просто вообразил.

— Ну-ну, — снисходительно улыбнулась жена. — Футуролог мой дорогой! — Она смотрела на него с легкой иронией. — С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста? Как знать. Ой, Роберт, нам надо заправиться, смотри — бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали...

Они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни, враз отступили и космический монах, и киты, и всякого рода абстракции. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного.

Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борк сказал:

— Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат, запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги...

— На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты сегодня прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу.

— Оливер Ордок?

— Ну да. Он же выставил свою кандидатуру в президенты. Ты это знаешь?

— Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. Ну, от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора.

— Ну, извини, Боб. Я не могла отказать.

— Позвонит так позвонит. Ради бога. Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения. Помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордок участвовал как политолог и как представитель администрации штата. Да, перестройка, перестройка! Все мы было встрепнулись и на Востоке и на Западе, что и говорит! Романтическое время. Он-то помоложе меня, хотя и ему уже, пожалуй, порядочно.

— Пятьдесят шесть, — подсказала Джесси. — В газетах так и пишут: пятидесятишестилетний Оливер Ордок.

— А, ну вот. Примерно так я и думал. Выходит, отважился наш Оливер Ордок, решил судьбу испытать. О, магия высшей власти! А вдруг да получится?.. Избирательная кампания, что море открытое, пойдет волнами, глядишь, и вынесет к берегу. Если сумеет вызвать общественный прилив. Чутье проявить. Ордок в этом смысле вполне в своей стихии. Человек он хваткий, не глубокий, но и не глупый.

— Да, помню я то время. Хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были, а, да, это в восемьдесят шестом, когда ты выступал в Кремле, в том огромном зале старинном, на форуме, Горбачев сам вел встречу. Ордок тоже был с нами. Помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно.

— Недурно. Совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата. И харизматизм личности.

— Ой, Роберт, довольно, что это мы — то про китов, а теперь вот на Оливере Ордоке заикнулись. Будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались: Ордок да Ордок...

— А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности, а она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение.

— Ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы?

— А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль, враз, так сказать, с панталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина. Хотя трудно сказать.

— А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордоку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят: известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы — с чем будем кушать сенсацию, дорогой Ордок? Почему бы и нет?

— Конечно. И все-таки ты сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснения по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк?

— Коли фейерверк, подурачимся, повеселимся.

— Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят.

— Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз — и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезная репетиция с оркестром... О Боже...

— Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси... Вот мы и приехали.

## 4

Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борк поговорить с кандидатом в президенты мистером Ордоком. Затем в разговор вступил сам Ордок. При том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельски-непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому.

Началось все с шутливого захода:

— Хелоу, Роберт, с приездом, и должен сказать тебе: в этот раз я ожидал твоего возвращения как никто другой на американском континенте, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины, и уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок!

— Спасибо, Оливер. Франкфуртянки действительно хороши. Но думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. Что-нибудь происходит? Давненько не виделись.

— О да. Происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. Сам понимаешь, черт меня дернул, — кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях, — так вот, пока ты ездил по Европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании.

— Знаю, знаю. И надеюсь, это всерьез.

— Очень даже всерьез. В сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кровно заинтересованных. Но не об этом речь, как-никак то — оркестр, а арии-то петь — твоему самоуверенному другу, то бишь мне! Что это значит, не тебе рассказывать. Только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться. Ты сам прекрасно представляешь. Нарбатываю рейтинг на встречах с широкой публикой (толпой называть не хочу, ни-ни, ни в коем случае, да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях). Но все-таки скажу тебе по-свойски, кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях, так вот, популизм равносильно вхождению во взрывоопасную зону: не так наступишь, не так ответишь, не так среагируешь, одних удовлетворишь, других — нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное — доходчиво изложить публике свое виденье проблем. Вот чего они ждут, избиратели, — решения проблем. Да-да, решения проблем. Алло, алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это, самому даже неудобно. Но такова теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице.

— Не волнуйся, Оливер. Я слушаю, слушаю тебя.

— Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю! А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе. Всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле — необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай Бог здоровья конституции и существующим законам, но, будь на

земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать? Кто за кем бы пошел, не будь кризиса? Я так понимаю. Ну и вот, ведущая, концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы — как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе не покажется смешным, но люди, понимая, не понимают, их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут.

Пока Ордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борк чутко улавливал в потоке его речи не только знакомые мотивы предвыборной маяты претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плот к берегу.

Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он-де отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой словоизлияний что-то, волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать.

Борк живо представил себе его на другом конце провода, в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения, за столом, среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, на вращающемся черном кожаном кресле, сидящим, чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордока существовали о нем самые разные мнения — за и против, не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и т.п. И что у него собачий нюх политика-популиста. А о ком подобных разговоров не бывает? Тем более когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе общественное внимание, набирает, на зависть другим, очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его.

Ордок выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении, замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени, или, как сам он любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов и воздействовал на эту стихию, стоически относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человека. Ордок даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистая шея. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее лицо экзальтированного Геббельса, нечаянно обрызгаю супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордока — психический показатель его честолюбивых возделений, жажды власти. Что если бы судьба не улыбнулась Ордоку наконец-таки, такими «кричащими» пятнами покрылось бы все его тщедушное тело, с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки. Понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордоку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась «вителиго». Чудесное же исчезновение с лица Ордока суповой пятнистости объясняли резким внутренним преобразованием его благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь эта уже и забылась. Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен, со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордока, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордок прекрасно говорил: хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну, алчущему внимания толпы.

Но больше всего занимала Борка в Ордоке одна совершенно немислимая и, должно быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно, расскажи кому-нибудь, — ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борк же знал об этом не понаслыш-

ке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы, — Борк чуть пораньше, а тот чуть попозже, Борк на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни! Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры! Он мог сказать с точностью до дня и часа, с кем и когда он общался по телефону десять-пятнадцать лет тому назад, даже по незначительному поводу; предположим, звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году, 12 августа в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борк даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смехом и страхом, ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность, а зачем? Дана свыше как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает?

Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонное многословие однокашника. И подумалось: «А возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню и я... А зачем?..»

Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка:

— Так вот, Роберт, к чему я веду разговор, ты уж прости, что приходится начинать издали; произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобратся, как говорится, с ходу. Разумеется, ты уже в курсе дела, об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах, как его там именуют, — Филовей, кажется? Филовей?

— Филофей, — поправил Борк. — Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад.

— Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема кассандро-эмбрионов, как кирпич, свалилась. Лучше бы землетрясение случилось. Лучше бы не знаю что... Я в полной прострации, извини меня. Никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна, а теперь стою на краю. Я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копыя? То есть я хочу сказать, это что-то абстрактное. И в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох, быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях.

— Извини, Оливер, — перебил его Борк, — я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно, почему ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? Мы с тобой из одного университетского инкубатора, я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки?

— Я буду откровенным. Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник — Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией. Я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытаращенными глазами и каждый с «Трибюн» в руках все мои советники и помощники, обалдевшие что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь: демократия и народ — суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам, но когда я представил, что меня спросят об этих кассандро-эмбрионах, знаешь ли, на душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса?! А впереди — целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидываю, как быть? Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да об этом знают все, весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неумности нашей американской. Демократия — как самоцель! Вот именно! Но извини ради Бога, опять отвлекся. Так вот, о чем я? Да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только, все ли коренные зубы у меня на месте, и получить подтверждение от моего дантиста, но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводиться — ни да, ни нет?! Для политика это совсем нежест!

— Ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом?



— Не сомневаюсь! И гадать не стоит!

— В таком случае напрашивается одно — принять открытие Филофея к сведению как своего рода пароксизм нашего самосознания, как корректирующую поправку к самим себе, выявленную через космос. Как новый ракурс внутреннего виденья, обретаемый через космическое зондирование. Не так ли?

— Наверное, так, но не знаю, я пока не готов к подобным заявлениям. Хорошо говорить с тобой, но как объяснить людям, что предполагается подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес — о каких-то кассандро-эмбрионах, об их отказе рождаться, в общем о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды. А ведь Филофей обращается к папе римскому, а по сути ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой!

— Позволь, позволь, Оливер, во-первых, не ты один, — попытался было Борк уточнить положение вещей. — Тут все...

— Понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера, что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это так кажется на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать, наше время — время уличных апеллаций и требований толпы, переключивания личных забот на административную систему. СПИД и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек — такое существо, чуть что не так — винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха, куда ее валить, на кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз — я имею в виду братьев своих, политиков, — изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем.

— Да, друг, сегодня ты в ударе. И я тебя понимаю, Оливер. Не думай, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке. Хотя должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждения Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его «филофеевым комплексом», то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть.

— Даже так? Ну, ничего себе, ничего не скажешь! Радикальный подход! — В голосе Ордока послышалось неподдельное изумление и огорчение. — И что же в таком случае дальше?

— Что ты имеешь в виду?

— А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем, — это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к «филофееву комплексу». Не хотелось бы недоразумений на этот счет.

— Ну да, я тебя понимаю, — согласился Борк. — Следует подумать...

— А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности — я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек — и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю сообразать с твоей подачи, абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое, независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай Бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку. А иначе мы не американцы!

— Да, уж это точно, так и есть, — посмеялся Борк и добавил: — Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае, специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах, особенно остро откликнутся густо населенные регионы, а первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступить

со своей предвыборной программой? Так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе уже промелькнули данные о рейтинге кандидатов. Прикидки. Прогнозы. У тебя вроде совсем не плохо. Знаю и твоих конкурентов.

— В том-то и дело. Фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор! Филофеев комплекс!

Борк попытался его успокоить:

— Но я думаю, что сейчас, пока не осмыслена ситуация, говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается.

Оливер Ордок тяжело повздыхал.

— Ты не совсем прав, Роберт, — возразил он. — Разумеется, я не несу за всю эту историю никакой ответственности. Но меня волнует, как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. Я отнял у тебя много времени, так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому, что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалам, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах бывалые политики, я среди них новичок. Сейчас, ты знаешь, первый тур, и, если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылету из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором, совсем ни к чему, но и революционность — всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей — совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к Олимпу. И тут на тебе — такая оказия: привет от космического монаха! Что сказать — что я с ним, или послать его ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы! Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости. Не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема.

— Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, — отвечал Роберт Борк, удивляясь энергии и напору Ордока. (Борьба за политическое выживание — чего-то ведь стоит?!)

Кровь прилила к голове, в ушах зашумело, когда Борк представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется, к худу ли? И надо было отвечать на прямо поставленный вопрос.

— Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке, — проговорил Борк, машинально покачивая головой, точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, — то все равно было бы, что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том, что, как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить.

— Верить?.. Но к чему это приведет, Роберт?

— К тому, чему пришло время. Вопрос стоит отныне так — принимаем ли мы к сведению открытие Филофея, или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье — пока все в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь в общем-то будет протекать так же, как протекала веками, но одно дело, когда мы не знали о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии кассандро-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь, прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя, или глянуть правде в глаза, предощутить апокалиптический исход, услышать голоса кассандро-эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно оповещено. То есть — диагноз поставлен. И вследствие этого человек как бы заново открывает себя в себе — кто он есть в прорастающем

семени своим, в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданных по наследству, в какую генетическую темь. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? Я так понял трактат Филофея.

— Мм-да, — натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал.

— Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь. Но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему. Ты слышишь?

— Да. И все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт. Деваться мне некуда — я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю, допустим, я встал на сторону забастовщиков или, напротив, пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида или, наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за что горюшь, черт возьми! За дело! А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станции рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже! Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения.

— Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае — это явление, которое касается буквально всех людей на земле. Что там забастовка в той или иной отрасли, что там демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет в связи с открытием Филофея. Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему.

Они оба замолчали, одновременно задумавшись. И снова заговорил Оливер Ордок:

— Стало быть, ты, Роберт, предлагаешь поддерживать послание Филофея?

— Видишь ли, Оливер, ты привык к чисто политическому подходу. Это и понятно. Но я в данном случае исхожу не из субъективных побуждений. Невозможно не считаться с фактами и логикой Филофея. Открытие космического монаха говорит о том, что человечеству предстоят новые испытания. Поэтому пойми меня правильно. Ты — политик, твоя цель — уловить актуальность проблем. Тенденцию настроений. А я — ученый, футуролог. Ты интересовался моим мнением. Буду рад, если в чем-то оказался полезным.

— Большое спасибо тебе, Роберт. Буду следить за прессой. Ведь тебе, безусловно, предстоит выступать в печати и на телевидении по этому поводу.

— Слава Богу, Джесси догадалась пока не сообщать журналистам о моем приезде.

— А вот от меня, докучливого Ордока, выходит, Джесси тебя не уберегла. Но не сердись. Я уж на дружеских правах прорвался. Нагловатый, в общем-то, я тип и болтун хороший. Да, кстати, я же обещал тебе рассказать насчет черта.

— Насчет черта? А, да, вспомнил. Так что там насчет черта?

— Забавная история. Представляешь, недавно я проводил первую предвыборную встречу. В огромном зале народу битком. Тысяч пять! Волнуюсь. Изложил программу. Пошли вопросы. Посыпались. О чем только не допытывались, как говорится — от и до! Диапазон — от сексменьшинств до международных отношений. Занимаюсь ли я спортом, как семья, какое хобби и прочее. И вдруг возникает у микрофона один тип и задает мне такой вопрос: «Мистер Ордок, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое отношение имеете вы к черту?» Я опешил. Зал замер! — «К черту? О каком черте идет речь?» — «О вас, мистер Ордок. Вы — черт!» — «То есть?» — «Вы, мистер Ордок, венгр по происхождению. На венгерском языке «ордог» означает «черт»! Вам не стоило бы этого забывать, мистер Ордок!» Зал так и грохнул от хохота. С меня горячий пот полил. А этот тип добавляет: «Простите, мистер Ордок. Ведь я не случайно. Я очень хочу, чтобы вы стали самым популярным чертом в Америке!» И опять смех в зале до потолка. Как тебе нравится, Роберт?

— Такое не придумаешь! Я и Джесси расскажу.

— Расскажи, расскажи, пусть посмеется.

— О'кей! Звони в случае чего.

— Непременно, — живо откликнулся Ордок, показалось, что он собирается попроситься, но тут в разговоре возник совершенно неожиданный поворот. — Слушай, Роберт, в моей наивной голове мелькнула сейчас бесшабашная

мысль, — сказал Ордок, хмыкнув в трубку. — А что если, представь себе, допустим, да-да, допустим такое: в связи с тем, что неожиданно возник на пути нашем этот космический монах и как быть с ним, никто не знает, так вот, не стать ли тебе в нашей команде главным консультантом по этой части? На период кампании, конечно. Ну, соответствующая тому оплата. Но не в этом суть, извини ради Бога, это и оговаривать не стоило.

— Спасибо, Оливер, спасибо за предложение, — заторопился Борк, чтобы не вдаваться в ненужную тему. — Но скажу сразу: столько своей работы — не поспеваю. С тобой должны быть на бегу молодые, расторопные, толковые ребята, чтобы с утра и до вечера рядом. Ведь это кампания, погоня за голосами. А я уже стар для этого.

— Не стоит, Роберт, не стоит. Не так уж ты стар, как тебе кажется. Ты себя преждевременно старишь. Поверь мне. Я ведь от души. Подумай при случае. Авось! На космического Филофея нужен соответственно земной Филофей! А?

— Ну тут сообща, сообща думать будем, — смущенно проговорил Борк. — В принципе ничто не мешает нам созваниваться, если потребуется.

— О'кей! Ты прав. Спокойной ночи! Джесси привет от меня.

— Она у телевизора сейчас.

— Ну ясно, сейчас все у экранов телевизоров. Все слушают рассуждения комментаторов. Но что будет завтра? Каким ветром потянет? Пока, Роберт!

— Пока.

## 5

Положив, наконец-то, телефонную трубку, Роберт Борк покачал головой — вот как оно раскручивается — филофеевское послание действительно задает всех. Мало ли было на земле проблем, веки неизбывных. А теперь вот — загадка кассандро-эмбрионов, как снег на голову! И вспыхнет мировая истерика. И сколько душ будет сбито с толку! Настал час! Не уклониться, не избежать! Что-то грядет! Уже висит в воздухе! Пышет из алчущей пасти назревающих событий! Реакция на космическое послание Филофея последует незамедлительная и яростная, как если бы на многолюдном базаре кого-то обесчестили, оскорбили в религиозных чувствах и миг поднялся гвалт несусветный. Идеи Филофея скорее всего будут подвергнуты мощной обструкции, осмеяны, опорочены и прокляты, как это всегда бывало в иступленные эпохи, при многих великих и малых хождениях к новым богам, к новым спасительным истинам, к утопическим далям идеального устройства жизни. Так было всегда. Но неужели история снова, снова слепо повторится и на сей раз? И как всегда, захлебнется в себе, ничего не открыв и не постигнув ни сиюминутно, ни впрок? Ведь отрекающиеся от жизни кассандро-эмбрионы как следствие все возрастающей концентрации зла в поколениях, накопления зла из века в век, не исчезнут, с открытием Филофея знание о них предопределяет мучительную участь человечества — ожидать конца света. И другого исхода на горизонте не видно.

Думая обо всем этом, Роберт Борк невольно задавался вопросом, откуда такая страсть в нем самом, почему так близко к сердцу принимает он поступок столь отдаленного в пространстве космического монаха Филофея, почему так волнуется за него, почему оказался горячим сторонником, единомышленником автора кассандро-эмбрионального учения? Чем все это объяснить? И больше всего поражало Борка, что вся предыдущая жизнь его, все, что сумел он постигнуть, весь его опыт и знания как бы обнаружили свое подлинное предназначение именно теперь, именно в связи с открытием Филофея. Сознание этого рождало в нем и недоумение, и в то же время чувство небывалого внутреннего удовлетворения, ощущение неожиданного выхода на искомый след — на искомую сверхзадачу, о которой мечталось, быть может, всю жизнь, и отсюда являлась готовность отстаивать открытие космического монаха как свое кровное дело. Он уже обдумывал свое выступление. Всплыло название — «О чем гласит фобия кассандро-эмбрионов?».

И подумалось ему в тот час, что в жизни бывают верховные минуты бытия: годами накапливаемое, обогащаемое изо дня в день являет вдруг молнию прозрения. Этому, несомненно, способствуют привходящие обстоятельства — согласие в семье, признанность в своем научном кругу, то есть все то, что повседневно сказывается на состоянии, на дееспособности человека, что принято называть,

если без ханжества и пусть весьма банально, — счастьем. Обывательским счастьем, отчего оно не становится менее ценным.

Был уже поздний вечер; несмотря на усталость, Роберт Борк устроился в кабинете и включил компьютер. Того, что посетило душу в тот час, нельзя было упустить. Все это должно было найти свое выражение на бумаге, в слове.

В раскрытую дверь кабинета был виден горящий в гостиной камин. Круглый год, в любой сезон Джесси умудрялась разводить в камине огонь. Она любила музыку огня.

Первые летучие фразы родились легко. На чисто светящемся экране строки ложились наглядно, одна за другой, как пласты, опрокидываемые в поле плугом. В полусвещенных боковым светом окна кабинета отливала густой синевой плотная осенняя ночь. Знакомые силуэты деревьев в саду лишь угадывались.

Луна шла краем неба, то и дело зарываясь в кучевые облака и вновь выныривая.

В тот час, отградный для работы, предстал пред мысленным взором Роберта Борка целокупный мир, как бы обозреваемый с высоченной горы, затаившейся в мареве за экраном компьютера. В тот час Борк писал о неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти, и о попытке постижения главной сути бытия — человек не сотворен изначально добродетельным, отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз, с каждым новым рождением, заново приступать к этому — для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это. Только тогда он — человек.

Размышляя над жизнью человеческой, Роберт Борк, однако, не предполагал, насколько та самая жизнь, которую он под впечатлением письма Филофея пытался аналитически осмыслить, чревата необъяснимым, непредвиденным, насколько она противоречива, коварна, крута. Не предполагал он, в частности, что с того часа, как он в разговоре с Оливером Ордоком, боровшимся за президентское кресло, высказал свое отношение к открытию монаха Филофея, судьба его была предreshена. С этого часа судьба его оказалась зависимой от судьбы Ордока. А, с другой стороны, также совершенно немыслимым образом оказалась увязана с судьбой Филофея, находившегося в тот час на орбите, в космическом уединении, в свою очередь ничего не ведавшего о Борке, — ни сном, ни духом.

Но как бы то ни было, случилось то, чему следовало стать. И узел судеб был уже нерасторжим. Об этом в ту лунную ночь еще никто не знал. Ни один из повязанных — ни тот, ни другой, ни третий... Но узел судеб был уже жестко стянут...

И катилась Луна в чреве ночи, неуклонно проделывая свой извечный путь над Землей в отведенные на то неукоснительные часы и минуты. И много зачатий, состоявшихся той ночью, были тотчас вовлечены лунным притяжением во вселенскую субстанцию, в продолжение круговорота вечности — рождения и смерти. Вечность жизни возобновлялась в чревах, в новоявленных оплодотворениях. И в каждом зачатии той ночью уже были обозначены в перспективе персонажи будущего. И всем им, зародившимся, были открыты двери свободы, двери рождения. И всякий зародившийся той ночью мог явиться со временем на свет кем угодно — и палачом, и казнимым, и безупречным, безбрачным богослжителем, и прочим, и прочим в этом ряду. Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в черед зачатий той ночью и генетические нигилисты — кассандро-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин, объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе-мачехе, объявились, чтобы с помощью филофеевых зондаж-лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу — просьбу разрешить им удалиться от жизни.

И плыли киты той ночью в океане мимо мигающего во тьме маяка на далеком обрывистом побережье. Перламутрово лоснящееся стадо китов на играющем лунном свете плыло во мраке упорно и безостановочно. Куда они плыли? Что их влекло? Что их гнало? И что хотел сказать им маяк на обрыве, отражавшийся в океанской воде и в китовых глазах?

И сидел той ночью у компьютера футуролог Роберт Борк в тревогах, сменявшихся надеждами, в надеждах, сменявшихся тревогами. И плыл он среди китов в океане, и киты знали, что он плывет вместе с ними. И так они плыли вместе, ибо судьба его и судьба китов все более переплетались... Плылось ему в океане так же, как и китам в бурлящих волнах, и так же отражался свет далекого маяка в его зрачках, как и в китовых...

\* \* \*

А ровно в три часа ночи по московскому времени вместе с боем знаменитых кремлевских курантов, всякий раз громогласно напоминавших всем четверем сторонам света о державном величии, устремившись круто вниз, слетела с гнезда на Спасской башне тамошняя сова. И полетела вдоль Кремлевской стены, как тень, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуклюжимо вращая на лету огромной головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Так летала она каждую ночь в одно и то же время, когда из Спасских ворот в полном безлюдии вокруг выходил, чеканя ударную поступь, отсчитывая ровно двести десять торжественно-ритуальных шагов, очередной наряд часовых к мавзолею Ленина. Мавзолеем возник здесь уже на ее, совином, веку, и она пережила уже многих и многих молодых солдат, истуканами отстоявших свой срок в дверях мавзолея, охраняемого ежесекундно, круглосуточно, круглогодично, всегда.

Облетев площадь по всему периметру, покружив несколько раз над мавзолеем, мерцавшим в лунном свете гранитными гранями, покружив заодно и над сакрально-государственными захоронениями, располагавшимися в тылу мавзолея, под ельником, под самой Кремлевской стеной, и убедившись, что ожидаемые ею двое здешних призраков, одинаковых с виду, одинаково приземистых, одинаково башкастых, появлявшихся обычно в глухую полночную пору, судя по всему, и на этот раз не намерены возникнуть (куда они запропастились, никак опять поссорились?!), сова подалась прочь, неуклюжимо взмыв перед лицом каменно застывших на посту часовых. Сова улетала разочарованная, что-то давно уже неразлучная пара одинаково приземистых, одинаково башкастых фантомов, шептунов-собеседников, не наведывалась побродить по Красной площади, потолковать о жизни, посудачить. А чем еще оставалось им заниматься, этим потусторонним субъектам?

И в самом деле, уж очень любили они поговорить, порассуждать о том о сем, о политике — непременно. И случалось, что призраки увлекались, горячились, до скандала доходило, спорили, ругались очень. Один в сердцах заявлял, что никогда больше не встретится с другим, что он его ненавидит, презирает, не желает быть рядом; другой отвечал, что деваться тому некуда, что история теперь им не подвластна, не то что прежде, а потому совершенно напрасно он так горячится, после смерти они, что опавшие листья, куда ветер понесет, и прочее в этом роде. Волею Провидения только сове дано было видеть и слышать этих неуживчивых, неугомонных призраков в их потусторонней, эфемерной зыбкости... Сова уже привыкла к ним за долгие годы, без них ей было скучно, вроде чего-то на хватало. Но она знала, никуда они не денутся, рано или поздно появятся. Вот вскоре должен состояться на площади большой парад и шествие, и ночью вслед за этим призраки непременно появятся, возбужденные, с фанатически блестящими, пьяными от увиденного глазами. Очень их будоражат гремящие барабаны, строевая музыка, солдатские шаги, отбиваемые по плацу, точно по сердцу. А лязг военной техники! И шествия, шествия как будоражат — многолюдные, громогласные, ликующие, с лозунгами и портретами тех, что стоят в тот час на мавзолее. И протекают толпы, как нерестовое движение, — все в одну сторону, голова к голове, — с криками «ура-аа».

Но призракам не дано появляться в дневную пору, на свету, а не то захотелось бы им переступить ход времени, вернуться из небытия в сиюминутную явь и самим включиться в действие, самим стоять на верхней трибуне мавзолея над экзальтированной людской рекой внизу... И все бы это вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре, застыло бы в немой сцене навсегда, на века в неизъяснимо сладостном восторге истории... И застыли бы на лету самолеты, пронсившиеся над Кремлем, и стаи испугнутых голубей застыли бы в воздухе, и горение глаз, и оружие рты, и даже мысли, преданные и наичистейшие, застыли бы в извилинах мозгов... И солнце остановилось бы стоять навсегда в одном месте...

А в будни, особенно в ненастье, в затяжные дожди, в метельную поэмку, когда на площади негде укрыться от ветра, когда часовые у мавзолея стоят в валенках с калошами, в ушанках, в рукавицах и выдыхают морозный пар, тут же оседающий белой изморозью на воротниках, на дулах парадного оружия, башкасто-приземистые фантомы-призраки, возможно, от непогоды становились ворчливыми, неуживчивыми, все больше жались по углам, искоса кидая взгляды на луну, перечили один другому, и тогда частенько доносились до слуха совы раздраженные возгласы: «Перестань меня убеждать в том, что не подлежит объяснению! Не существует аргументов против смерти, их не может быть, смерть —

естественна. И я не хочу быть бессмертным, будучи умершим, не хочу эрзац-жизни! До каких пор будет это продолжаться?! Нет мне исхода, нет мне покоя, нет покаяния! Прежде не думал, а теперь из головы не выходит — зачем я родился, зачем только меня мать родила?! Ведь я не хотел, не хотел рождаться! А теперь я заложник гробницы! И это все дело твоих рук! Это твоя архисатанинская, архиковарная идея! И никогда я с этим не примирюсь, никогда, никогда, запомни!» На что напарник отвечал ему сильным голосом, невозмутимо посасывая навсегда угасшую трубку свою: «Слушай, я много раз объяснял тебе. Это была воля партии. Я объяснял тебе: ты нужен был партии в наглядном виде, в наличии, понимаешь, для мировой революции, для классовых клятвопринищений, ты нужен был партии после смерти и вопреки смерти. Ты — фараон революции, и тебя берегут, стерегут, тебе в твоём саркофаге поклоняются!» — «А я категорически не хочу этого! Я категорически протестую! Никому, категорически никому не дано игнорировать смерть. Это — абсурд!» И летала сова над ними, и диву давалась, как яростно спорили они о том, о чем нигде в мире не услышишь...

Но сегодня их не было, полуночных призраков-спорщиков... Площадь пустовала...

Сова взмыла над зубчатой стеной Кремлевской крепости и, держа перед немигающим взглядом глаз своих всю округу, полетела дальше над обширно-пустынными крышами в дворцовые парки. Здесь она тихо ухала среди густых ветвей осенних, неподвижно оглядывая с высоты холма излучину реки внизу, темные крыши спящих домов. Под мостом скулила приبلудная собака. Зябла, должно быть...

Сове казалось, что она слышит из великого отдаления, откуда-то с другого края света, как в ночном океане плывут киты, как движутся они гуртом, раздвигая гороподобными телами надвигающиеся волны. Вода гудела в бурлении вокруг китов. Вода сопротивлялась их движению, но они плыли, поспешая невесть куда. Тревогой веяло от их вулканически-горячего дыхания.

Сова на взгорье кремлевском чуяла — что-то должно произойти на земле. Всегда так бывало — киты впадали в отчаяние перед тем, как случиться в мире великой беде.

И тягостно ухала сова в Кремлевском парке, и уже близился рассвет...

\* \* \*

То, что произошло на другой день, не явилось для Роберта Борка некоей неожиданностью, подобное развитие событий можно было предвидеть. И все же такого крутого оборота он не ожидал...

С утра, когда он отправился в университет читать лекции, он еще принадлежал себе. А потом...

Во второй половине дня Борк возвращался домой. Возвращался, с трудом сосредоточиваясь за рулем машины. Хотелось поскорей оказаться дома, отыскать у Джесси аппарат для измерения давления, как он там называется... Она иногда измеряла давление себе, а заодно и ему. Обычно у него все было в норме, жаловаться на здоровье пока было грешно, он соглашался измерить давление со смехом, снисходя к причудам любимой жены. А теперь ему самому хотелось убедиться — все ли в порядке? Что-то не по себе было. Странное, ранее неведомое ощущение зыбкости окружающего мира охватило его. Жизнь как бы сместилась в чем-то, потеряла устойчивость, как на ветру, даже в выражении глаз и в голосах людей, с которыми он общался многие годы, что-то изменилось, а может быть, это происходило и в нем самом?

Даже автобан, прекрасно распланированный для скоростной езды, освоенный до мельчайших деталей, и тот показался чуть ли не малознакомым. Ехалось почему-то с опаской. Все стало вдруг иным, не совсем таким, как было... Все оставалось на месте, и все вокруг вроде бы утратило прежнее значение... И трудно было объяснить себе, что все это значило...

Машина Джесси стояла перед домом. На душе полегчало. Стало быть, жена еще не уехала на репетицию.

— Ну что, как дела? — Джесси поднялась ему навстречу. Она, как всегда, светила улыбкой. — Что-нибудь еще случилось? Что-то ты непонятный какой-то. — Джесси глянула в лицо мужа, и ее взгляд, насмешливо-улыбчивый поначалу, невольно изменился. — Ты неважно себя чувствуешь?

— Да в общем ничего. Джесси, ты себе не представляешь, люди сошли с ума! — проговорил Борк, бросив портфель на диван и скидывая пиджак.

— Хочешь кофе?

— Да, непрочь. Были звонки?

— Были. О них потом. Расскажи, что там происходит, в городе.

— Что происходит? Да то, что и следовало ожидать. Паника. У всех на устах Филофей. Вот что происходит. Я уж не говорю о газетах, радио и телевидении. Там ажиотаж, тщетная попытка разобраться что к чему.

— А они уже звонили, Си-эн-эн, «Голос Америки», радио «Свобода». Я сказала, что ты возвратишься только поздно вечером. Но продолжай.

— В университете — невозможно шагу ступить, все взбудоражены до предела. Пожар на лицах. Все толкуют только об одном. И оказывается, это страшно, когда все заиклены на том, что волнует буквально всех одновременно. Бешеные мысли идут вразнос. Теперь я понимаю, что умел делать Гитлер на площадях, какие вызывать стихии.

— Возможно, ты прав. Но что ты хочешь, Роберт, это же студенты. Они молоды, кипучи, страсти через край. А тут — Филофей!

— Пожалуй что да. В день убийства Кеннеди, помню, было нечто подобное. Сегодня какая-то дикая разноголосица, сумятица, сумбур. Одни, к примеру, утверждают, что Филофей недопустимо вторгся в тайну природы, и тут же опровергают себя — а разве могут быть тайны, вторгаться в которые недопустимо. Другие — чего тут переживать, пусть себе монах космический морализует на орбите, а нам, мол, плевать. Подумаешь, какой-то прыщик на лбу. А в ответ: плевать потому, что ты мужчина, а как быть женщине, узнавшей, что ее будущее дитя не хочет рождаться? И вообще, как быть дальше? Что делать со знаком Кассандры? Как заставить себя забыть, не замечать того, что существует? Третьи несут что-нибудь несусветное. И четвертые, пятые, десятые и так далее. И, наконец, все вопиют: зачем вторгаться в генетический код — это запрограммированная судьба, не подлежащая вмешательству. Тысячелетиями люди жили по коду судьбы, и теперь вдруг ревизовать то, что неподвластно воле нашей. И так далее и тому подобное. Всего не передать. Для кого-то это прыщик, пусячок, а для кого-то катастрофа. Да, всего не передать. Но самое жуткое — Кассандра уже в действии. Говорят, одна студентка с юридического факультета глянула на лекции в зеркальце и с криком кинулась прочь из аудитории. У нее выступило на лбу то самое пятно, сигнал кассандро-эмбриона. А в другом случае и того хуже. Дорожная авария, и женщина, сидевшая за рулем, призналась, что загляделась в смотровое зеркальце — ей показалось, что на лбу у нее появилась подозрительная примета. Хорошо еще, обошлось без большой беды.

— Бог ты мой! — Джесси опустила на стул. — Вот свалилось всем на голову! Как же быть дальше? Должен же быть выход какой-то?!

— Не знаю, Джесси, не знаю. Что ты хочешь от меня? И потом, тебе ведь пора собираться на репетицию. Вернешься, поговорим. У меня тоже тяжело на душе.

— Никакой репетиции! Какая тут репетиция, когда творится черт знает что!

— Ну вот, начинается. И ты тоже! Весь оркестр тебя будет ждать, а ты тут будешь дома терзаться страстями по Филофею.

— А я позвоню, скажу, что заболела. В конце концов, я самая старая среди них. И вообще, я скоро буду бабушкой. Ты-то это прекрасно знаешь.

— Меня ждет та же участь, но только бабушка в мужском роде, — пытался рассмешить ее муж. — И буду очень рад, когда мы полетим к Эрике в Чикаго уже в качестве бабушки и дедушки. А сейчас, поверь мне, не стоит, Джесси, не срывай репетицию. Напрасно.

Джесси заколебалась.

— Ну хорошо. У меня еще целых полчаса, даже больше. Но что же будет теперь со всеми? Эрика уже на седьмом месяце беременности. А может быть, и у нее тоже была на лбу метка Кассандры? Ведь никто не знал тогда ни о чем. Представь, а если бы Эрика забеременела недавно?! Я бы ночи не спала. — Джесси замолчала и, немного успокоившись, добавила: — Сейчас приготовлю тебе кофе, Роберт, а потом уже поеду.

— Я и сам могу, не беспокойся.

— Нет, я сейчас. Кстати, звонил среди прочих некто Энтони Юнгер от Ордока.

— Юнгер? А, понимаю. Ну и что он сказал?

— Сейчас приду, расскажу.

Пока жена готовила на кухне кофе в старой их кофеварке, действующей на пару и потому прозванной паровозом, Роберт Борк устало сидел в кресле, отки-



нув обвисшие руки, и пребывал в странном состоянии, точно он был здесь посторонним. Он даже огляделся вокруг. Оглядел, как будто впервые, большую гостиную, обставленную массивной мебелью, в том же стиле были когда-то приобретенные Джесси в Венеции люстра и большое зеркало над камином. Рояль, виолончель. Золоченые корешки книг в стеклянных шкафах (основная часть книг находилась в библиотеке, на втором этаже, рядом с кабинетом). И весь этот дом, и сам он, отражавшийся в старинном венецианском зеркале, мостастый и седогривый, как старый конь, некогда выделявшийся крупной статью, воспринимались им в тот час с чувством некоей отчужденности; он как бы отстраненно видел свою белую жизнь, вещи, связанные с той жизнью, самого себя, малознакомого, замкнувшегося, погруженного в непривычные размышления. Он даже подумал: «Неужели мне надо больше всех, отчего я так переживаю, точно действительно пришел конец света?! Но может быть, вся предыдущая жизнь моя была всего лишь прологом, чтобы теперь ткнуться в неведомое? Шарить, как незрячий в поисках скрытой двери? И что я постиг, подвизаясь в футурологии, прожив в общем-то спокойную, упорядоченную жизнь преуспевающего ученого мужа? И вот последний акт судьбы в лице космического Филофея. Что это значит? Момент истины? Расплата за аванс? Так ли это? Кто для меня Филофей? Никто, если подумать. Но что же я не уймуешь? Значит, что-то меня с ним связывает? То киты снятся, а теперь...»

И отделаться не мог от этих мыслей, не мог уйти от сомнений. И о чём бы теперь ни подумалось, приходилось исходить из открытий космического монаха. Приходилось все сопоставлять — все, что было до, и все, что стало после...

Джесси принесла кофе, и опять разговор вернулся к прежней теме. Оказывается, Энтони Юнгер, отрекомендовавшийся почитателем трудов Роберта Борка, звонил от команды кандидата в президенты, пытался дозвониться Борку в университет, но не застал и просил передать, что будет еще звонить, во второй половине дня. Когда Джесси поинтересовалась, не может ли Борк сам ему позвонить, Юнгер ответил, что его будет сложно застать, он все время будет в бегах, у них сегодня суматошный день, готовится встреча Ордока с избирателями, а затем большая пресс-конференция, в общем хлопот много, а ему очень хотелось бы поговорить с Борком. «Давно мечтал поговорить, а сейчас есть повод. Передайте, пожалуйста, у меня есть информация и вопросы. Очень хочу дозвониться».

И вскоре после отъезда Джесси на репетицию раздался звонок. Это был он, Энтони Юнгер.

— Мистер Борк, вам не кажется, что у нас с вами есть общий друг — по имени Филофей, и знакомство наше с вами, к сожалению пока телефонное, происходит в общем-то с его подачи?

— Согласен. Этот космический монах многое будет определять теперь в нашей жизни.

— Об этом-то и речь, мистер Борк. И думаю, вам это виднее, чем кому-либо. И проблема теперь в том, каков будет ход событий, или, как образно выражаются русские, куда повернет дышло истории. Хочу похвастаться, чтобы вы знали, я недурно говорю по-русски. Стажировку прошел в Московском университете. Вдруг да окажусь вам полезным в этом качестве, буду рад.

— О, это замечательно, — не без удивления отозвался Роберт Борк, отмечая про себя уверенность и звучность речи Энтони Юнгера. «Весьма энергичная натура! — подумалось ему. — Сколько же ему лет?» — Я тоже бывал в России при Горбачеве, — откликнулся он на русскую тему. — Москва, Ленинград, Киев. А скажите, Энтони, сколько вам лет? Просто любопытства ради.

— О, пожалуйста! Хотел сказать для пущей солидности — тридцать, но буду точным — двадцать восемь с половиной, — ответил тот. — Пора, пора уже за ум браться. Что еще сказать? Москва мне многое дала — другой полюс жизни и знаний, но кэргэбэ я завербован не был. Сразу заявляю!

Они оба засмеялись этой модной в Америке шутке.

— Извините, Энтони, по возрасту вы мне в сыновья годитесь. А поинтересовался я этим потому, что при серьезном разговоре важно знать возраст собеседника.

— Я тоже так думаю. Ну, о вас я знаю, пожалуй, все. Читал ваши книги, в последнее время очень внимательно перечитывал вашу статью «Девять дверей глобального дома».

— Да, это была попытка синтеза мировых идей в области футурологии. Спасибо, я очень польщен, — пробормотал Борк.

— А сам я, кстати, в академическом смысле неопределенный тип, — пророчил с усмешкой Энтони, — собран из лоскутов знаний, судорожно хватался за

все — от философии до астрологии, когда-то мечтал о космосе. Занимался и профсоюзными делами, и журналистикой, отсюда мое сближение с Оливером Ордоком. Он делает ставку на популизм, и в этом его сила. Ему нужно сейчас помочь в предвыборной гонке. Вот мы и стараемся. Я у него в команде занимаюсь связями со СМИ. Вот сегодня, к примеру, через три часа — публичная встреча с избирателями в спортзале «Альфа-Бейсбол». Масса народу, прямая телетрансляция. А затем, уже поздно вечером, — пресс-конференция и тоже с прямой трансляцией по нескольким каналам. Я все это вам говорю, мистер Борк, не случайно. Возможно, вам интересно будет посмотреть, что у нас, то есть у Ордока, получается, а что нет. Извините, у вас есть время, я не мешаю своими разговорами?

— Нисколько. Я тебя слушаю, Энтони.

— Так вот что мне хотелось бы отметить в этой связи, чтобы вы знали. Утром мы все собирались в кабинете Ордока, человек двадцать нас — помощников, экспертов и прочих, и первое, что он сообщил, — о том, что у него с вами был вчера продолжительный телефонный разговор о послании космического монаха.

— Да, был, — подтвердил Роберт Борк.

— Это прекрасно, что Ордок советовался с вами по поводу того, что у всех сейчас на уме и на языке. Политик он, активно набирающий популярность, но никак не пророк и...

— Энтони, любезный, — прервал его Борк. — Я знаю, что это ты надоумил Ордока обратиться ко мне. Но ведь и я далеко не пророк. Ты думаешь, я обладаю способностью мгновенного прозрения? Я сам был бы готов обратиться к кому угодно, чтобы мне помогли во всем этом до конца разобраться. Ты звонишь ко мне так, как будто общепризнано, что я знаток всего этого. А я не могу гарантировать беспорности своих суждений. Это надо учесть.

— Я рад, что это так! — удивил своим ответом Энтони Юнгер. И голос его зазвенел увлеченно.

— Чему же ты рад?

— Тому, что интуиция меня не подвела. Хотя и говорят, что в своем отечестве нет пророка, сейчас я еще раз убеждаюсь, что вы тот самый мыслитель, с которым и должен был прежде всего проконсультроваться политик, претендующий на президентское кресло. Ордоку сегодня предстоит держать речь, отвечать на вопросы целого стадиона избирателей. И дело не в том, удастся ли ему с ходу завладеть мешком общественного мнения и взвалить его себе на спину. Важно, что ваши взгляды станут таким образом достоянием масс. Я говорю это, исходя из того, что сказал нам утром Оливер Ордок.

— А что он вам сказал?

— В общем, я понял, что он, опираясь на ваши оценки, склонен комментировать открытие Филофея как реальность, с которой нельзя не считаться всем людям, во всех слоях общества, во всех странах света. Не так ли? По-моему, так? Ордок примерно так сказал.

— Принять к сведению то, что есть данность, — это одно, это исходная точка. Но что дальше? Как быть с тем, что явилось и продолжает являться причиной появления кассандро-эмбрионов? В социальном, историческом, психологическом плане? Вопросов тут масса.

— Вы правы, мистер Борк, — проронил Энтони и хотел сказать что-то еще, выразить свое понимание, но Борк снова заговорил:

— Я целиком поглощен этим событием, мне даже кажется, что я сам уже не тот, что был вчера, и надо заново осмысливать жизнь, хотя мне пора бы думать о ее завершении. Филофеевское открытие опрокидывает наши прежние взгляды на человеческую судьбу. Обнажилось то, в чем мы прежде не хотели себе признаваться. Прогресс, цивилизация, казалось нам, оправдывают то негативное, чем они сопровождаются. Лес рубят — щепки летят. Есть такая поговорка у русских.

— Да, очень распространенная. Сталин, к примеру, так оправдывал щепки массовых репрессий. Но продолжайте, я вас внимательно слушаю.

— Так вот. Что я хотел сказать? Филофеевское открытие обнаруживает, безжалостно обнажает то обстоятельство, что на протяжении всей истории, из поколения в поколение, люди систематически истязали друг друга и мир, в котором они живут, и в силу этого лишились очень многого на пути своем; очень многое, чего они могли бы достичь в своем историческом совершенствовании, безвозвратно упустили. Ну, вот представьте себе даже схематически. Разве все эти нескончаемые войны, и так называемые славные в том числе, все эти революции, бунты, восстания, преступления, жестокость властей, деспотизм учений и

идеологий — разве все это, вместе взятое, все, что постоянно корежит, выкручивает жизнь, судьбы, делает народы постоянно взаимоненавидящими, людей — алчными существами, разве все это, если исходить из Филофея, не находит свое выражение в бессловесном протесте кассандро-эмбрионов, число которых все возрастает? Отказ их от жизни — это ли не предчувствие конца света? И вот получается: эсхатологический миф, в который по инерции бытия мало кто верил до конца, становится наглядной реальностью. Обо всем этом я пишу в статье, над которой сегодня ночью начал работать. Оливер Ордок, разумеется, может иметь на Филофея и его открытие свою точку зрения, но в любом случае и он, и его команда — вы все должны понимать, с какого рода сложной материей мы имеем дело. Примерно об этом я и говорил вчера Ордоку.

— Каюсь, что я вовлек вас и сегодня в длиннющий телефонный разговор. А в душе радуюсь — я узнал то, что хотел узнать. Конечно, я с вами согласен, есть еще многое в филофеевской теории, о чем следует думать и думать. Но как бы то ни было, он задал нам неслыханную задачу. Всем до единого, всем смертным на земле! Вот это личность! Он повернул ключ Вселенной! И если придется нам, простите, отдуваться за все предыдущие века — а дело идет к тому, — за все, что было сотворено, как вы изволили выразиться, алчными существами, то есть нами, всеми нами и всеми до нас, то к кому же апеллировать, как не к самим себе?! Стало ясно, что зло не уходит бесследно, безответно вместе с теми, кто его творил, а оседает где-то в бункерах генетики до поры до времени. И выходит, кто-то рано или поздно должен расплачиваться за это отречением от самой жизни!

— Да, получается так, Энтони. Дело в том, что мы мало думаем о соотношении добра и зла, неизменно сопрягая их в единой связке, мало думаем о том, что зло — преобладающая сила, что зло губит, постоянно убивает в нас наше исконное предназначение, губит наши вселенские ресурсы, не дает разуму поднять голову, чтобы распознать иные способы бытия, когда человек стал бы качественным иным, чем сейчас.

— Мистер Борк, а вы думаете, что, физически оставаясь такими, какие мы есть, люди могли бы обладать качественно другим интеллектом, могли бы быть существами с иной матрицей поведения?

— Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы ни достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных.

— Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит, космический монах накрыл нас с генетическим поличным?! Но, как это ни глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли, мистер Борк, в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания?

— Разумеется, есть, поскольку мазохизм — это жалоба в пустыне на отсутствие леса.

— И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет?

— Пожалуй, одно — выращивать в себе лес новых прозрений.

— Что это значит?

— Что это значит? Цепкий ты журналист! В свете филофеевских открытий это может означать одно: нужно внять сигналам кассандро-эмбрионов, каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха родиться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа, необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом и пишу в своей статье для «Трибюн». Извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордоку. Он тоже озабочен.

— Да, мистер Борк, в этот раз нашему Ордоку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует, когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция!..

— Не совсем так, Энтони. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику. Причем в очень жесткую. Поскольку дело касается жизни людей.

— Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность Ордока. Но это и форма его политического существования. Но это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борк, виноват, с вами не наговоришься. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет.

— Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить.

— Пока, мистер Борк. Значит, если захотите посмотреть передачу, — митинг в «Альфа-Бейсбол» с шести до восьми, а пресс-конференция в отеле «Шера-тон» — с девяти до десяти.

— Спасибо. Буду иметь в виду...

## 6

Тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне — с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц, прощально кружащихся над крышами загородных домов... И слышались где-то по соседству голоса играющих детей. Тишину, умиротворение дарил тот солнечный день всему живому — созерцание собственного бытия...

Так бы и завершился в череде своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешало. Но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе. И как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу.

Роберт Борк посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордока с избирателями с таким волнением, точно это ему, Борку, предстояло выступать с речью, добываясь президентского кресла, точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овладеть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борк и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного — дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании и не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения. Чудак и только! Болельщик нашелся.

Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела, он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку. Слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир, в иные переживания, к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка — это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор, как радар, улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, музыка — это звуковое преобразование вселенского Пространства и Времени. Разумеется, этими своими «открытиями» он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знала. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться: думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени, он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта. И очень вероятно, что никогда не будет раскрыта.

В этот раз, однако, Борк убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море... Этого-то ему сегодня и не доставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задерживалась на репетиции. Был час

пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борк дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить. Ведь «Трибюн» хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно сознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедлений, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу; он это чувствовал почти физически, текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу.

Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыхания... Он обзывал себя параноиком. Как может привидеться такое?

Он ходил взад-вперед то в дом, то из дому, поглядывал на часы, музыку слышал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать; о том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать не глядя — все та же телесуета... Джесси все еще задерживалась...

Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться. Но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из «Трибюн» почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение — как быть, отвечать ли в прессе на столь нетрадиционное, если не сказать одиозное, обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать?

Роберт Борк живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда проблема кассандро-эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий.

Ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недостижимого слияния с Богом, в той же степени себе на уме — Бог Богом и даже Бог один для всех, но свое есть свое, а чужое — это чужое, свое и чужое — вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояния в мировых структурах духовности и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы, полагал Роберт Борк, которые непременно попытаются обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе — или предавая космического монаха анафеме и набирая тем самым политический капитал, или приспособливая открытие тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих.

И снова думалось ему о том, что, бывало, приходило на ум, поначалу мимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам, на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентированной, свободной причастности — если он, разумеется, верит в Бога, — ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым «статусом», когда бы он был приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключаящих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом и прочим в этом ряду верований, и каждой религии — его любовь и уважение, а ему — признание его всеми культурами, и он бы свободно принимал

их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений — все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я — желанный паломник... Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера... Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворающему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей...

Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное — обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути, в дняниях, а не только в прекрасных теориях...

Борк, безусловно, понимал, что это скорее всего странная, а возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненной установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им втуне. Воздерживался, даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов «преуспеть» прежде других.

Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть — изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Рушди, приговоренного к смертной каре мусульманской иерархией, кровно оскорбленной за своего великого пророка, при сопутствующем безразличии других религий, даже такая участь могла бы показаться еще завидной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить себе укрытия, а ведь весьма вероятно, что в случае у ратующего за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретнику тому, везде отверженному и отовсюду гонимому всеми разгневанными культами, не найдется на земле места приклонить горемычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда? «В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос, к Филофею, — иронизируя над собой, подумал Роберт Борк, и пришла вдруг мысль в голову: — А ведь в самом деле, может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда, с недостижимой высоты, сказать людям на Земле правду?»

Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борк чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы — было уже шесть. Он кинулся в гостиную, к телевизору. Успел в самый раз! Ведущий приглашал зрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-Бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером Ордоком.

И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было — не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражение, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты: «Он знает социальные низы», «Ордок — будущий президент!», «Ордок выдвигает новую экологическую программу», «Безработные

верят в Ордока!», «Феминистки требуют приоритета!», «Отдадим голоса за нашего Ордока!» и тому подобные. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом.

И все разворачивалось, как и положено на такого рода публичной встрече. С шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрыми голосами комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными, при своем, едва ли среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка оживляла его блеклые, стертые губы, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конферансье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Ордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала, в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, наперебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга, лишней раз подчеркивая при том американскую демократию в действии и деловитость организаторов предвыборной кампании.

И у Борка, непонятно почему весь день беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности.

И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже — на Оливере Ордоке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордок выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, когда касался животрепещущих вопросов. Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информации, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдаленности, и все вместе взятые чего-то недоделали, чего-то недодали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась, весь зал возбуждался, и на этом он, Ордок, расцветал, возрастал в своих глазах и в мнении собравшихся. Это был успех.

Роберт Борк внимательно следил за Ордоком, пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему, быть может, на таком огромном политическом собрании и не следовало затрагивать подобное? Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни с тем, чтобы этим исчерпать регламент?

Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку на удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом:

— Мистер Ордок, — раздался звонкий женский голос. — Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в «Трибюн»? — Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная.

Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными.

— Да, уважаемая Анна Смит, — сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице, — я читал этот документ и много думал о нем. И не скрою, предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более, что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. Так вот что я хотел бы сказать в этой связи, — продолжал Ордок. — Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики. Но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испытаний. Увы, самооценка наша оказа-

лась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается!

Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывая, укрупняя лица присутствующих, замерших с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борк застыл перед экраном, очень сожалея, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей?

— А что же делать? — переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно.

— Я думаю, — отвечал на это Оливер Ордок, — что каждый должен решать сам. — В зале слышался глухой рокот возгласов. — Ну а если по большому счету, — начал рассуждать Ордок, пытаясь погасить рокот в зале, — то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филофей, то ли биологической, принимать меры по борьбе с явлениями, вызывающими эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов, то есть стремление отказаться от жизни.

— Позвольте мне сказать! — раздался еще один женский голос. — Какая-то женщина типа мулатки, брюнетка со сверкающими металлическими серьгами, в желтой блузке с распахнутым воротом, весьма решительно возникла у микрофона в одном из проходов между рядами. — Я не могу молчать, и мы не должны молчать! — заявила она, оглядываясь по сторонам. Да, у нас совсем не легкая жизнь в наших кварталах. Но мы всегда жили, желая иметь детей, радуясь их рождению. И пусть никто в это не вмешивается! Какое ему дело, космическому монаху?! Почему он преследует меня? Почему вмешивается в мою личную жизнь? Я категорически протестую!

В зале вновь пошел гул, и многие присутствующие согласно закивали головами, иные вставали с мест и махали руками в знак одобрения.

Ордок пытался успокоить мулатку:

— Да, я вас понимаю, мадам, но ведь появление тавра Кассандры от нас не зависит. Мы должны открыть глаза на то, что это — существующая реальность.

— Если с трибуны будущего президента потакать этому космическому монаху, тогда другой разговор! Пусть он явится сюда, пусть скажет нам, женщинам, чем мы прогневали небеса, на которые он забрался и шпынует нас оттуда, позорит на весь мир! — не унималась женщина, сверкая штампованными серьгами и возбуждая вокруг волну солидарного с ней протеста. Возможно, она и дома умела закатывать сцены, а быть может, у нее не было ни дома, ни мужа. «Какое несчастье, — шептал себе Роберт Борк, — какое трагическое заблуждение. Она так страдает, и ее можно понять».

А женщина, еще больше неистовствуя, продолжала:

— Вам легко рассуждать, легко называть его гениальным ученым. Он, мол, открыл нам глаза. А для меня этот тип на орбите — негодяй! — выкрикнула она, выплескивая ярость.

При этих словах гудящий зал разом онемел, на секунду воцарилась полная тишина. Никто не одернул ее, никто не попросил ее придерживаться общественных правил поведения. Не посмел напомнить ей об этом и сам Оливер Ордок, оказавшийся в нелепом положении. И последовала сцена, потрясшая в Америке многих из тех, кто в тот час оказался у телевизора.

— Вот, смотрите, мне нечего скрывать, вот смотрите, как мне быть?! — выкрикнула женщина, нервно дыша, и ткнула пальцем в свой лоб. — Вот уже несколько дней на лбу у меня эта самая напасть, пятно, тавро Кассандры, как именует эту гадость космический дьявол! — и лицо ее предстало на телеэкране крупным планом, и ясно стало видно в ту минуту на лбу у женщины зловещее багровое пятнышко, ритмично пульсирующее, как тревожный сигнал.

— Я уж и кремом, и пудрой замазывала, — проговорила она, прикрывая ладонью мелко дрожащие губы. — Не помогает. Не исчезает. Ни днем, ни ночью! И выходит, я на контроле у этого злодея из космоса? И выходит, он мне тычет в глаза: смотри, мол, твой зародыш — против тебя же, против матери, против жизни, он шлет сигналы, чтобы его умертвили! Выходит, он не желает родиться, он боится жить? Так выходит? А кто ему внушает такое отвращение к жизни, кто его толкает к смерти, еще не родившегося, кто его принуждает отречься от белого света? Кто вмешивается в мою личную жизнь? По какому праву меня облачают какими-то страшными зондаж-лучами из космоса? Вот мы сидим здесь, а он, этот, как нам внушают, гениальный Филофей, шарит своими лучами из космоса, ищет в женщинах кассандро-эмбрионы. Контролирует нас! Тычет



нам в глаза, какие мы дурные! А что поделать? Думаете, я одна такая? Да и в этом зале наверняка есть такие же, как я, может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро Кассандры! И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша потому, что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его? Или я должна уготовить ему рай земной? А как? Я бы и рада! Но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? — и она тяжело зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи.

И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза. И все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму.

И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу:

— Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. Возможно, стоит специально... — начал он, но его снова перебил микро из зала:

— Извините, мистер Ордок, — обратился мужчина от микрофона в дальнем углу, — я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но, видите, все страшно переживают. Я сам врач и я потрясен, я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких! Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был?! Во-первых, это нарушение нашей Конституции. Возникает вопрос: мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирает права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав, вполне допускаю, но на практике — нет, он не прав. Мы не подопытные крысы!

— Верно! Bravo! Верно говорит! — раздались голоса с мест. И зал забурился.

Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планом самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале. И именно в ту минуту Борк заметил те самые суповые пятна, вновь появившиеся на лице Ордока, проступившие вдруг откуда-то изнутри, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные — такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему жалко, тот оказался в унижительной ситуации. «Вот не повезло, так не повезло, — терзался Борк за своего однокашника. — Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал, отстоять свою точку зрения. И тогда он завоеует прежние позиции. Но сумеет ли? О Боже, какая нелепость! Мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих! Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале!»

— Я прошу вас, мистер Ордок, от себя и, если ко мне присоединятся, от имени избирателей. Этого нельзя так оставлять! — перевозмогая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назвался врачом. — Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом, это его дело, не наше. А мы — американцы. Мы — суверенные личности! Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов! Пусть свое слово скажет Конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы!

— Правильно, верно! Надо запретить! — доносились отовсюду крики. — Запретить!

— Спокойно, джентльмены! Прошу вас, дамы! — старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором в напомаженных волосах, строго одетый, судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью.

Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. — Я прошу соблюдать очередность у микрофонов! — призывал он. — Я дам вам слово, только по порядку, прошу вас, пожалуйста, по очереди.

Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами.

И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов:

— Первый микрофон! Слово второму! Пожалуйста! Третий микрофон! Пятый, седьмой, десятый...

От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что-де в космосе появился мировой провокатор, злостный вселенский смутьян; а один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея, по аналогии с кэбэбэшными доносчиками, космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей — российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задание погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе; еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая-де задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся. И дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического — космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент — космический Фауст...

Но поскольку большинство, многие-таки высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессирующего из века в век, не ведая ни о каких «знаках Кассандры», то все это производило поистине сильное впечатление, особенно когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зондаж-лучей в их личную жизнь. И наконец, в ходе выступлений, прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой ООН, поставить вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.

Тяжко, прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытки Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, predeterminedенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползем в недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимания у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный, инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью. Однажды дарованной и неповторимой, данной каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитированно и ограничено в Пространстве и Времени.

На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борк представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах, и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока.

Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею, именно Филофей, находящийся невесть где, в космических пространствах, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президенты. А он меж тем продолжал за чем-то оставаться на трибуне. И на его глазах все превратилось в базар. А все, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордока, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильный и униженный, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощники, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал, провал на глазах всей страны.

Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломинка утопающему. Откуда-то сбоку на сцену выскочил молодой человек спортивного вида; он решительно подошел к ведущему, продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон. И громко сказал, обращаясь к залу:

— Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление! Это очень важно!

Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина. И нельзя было телять ни секунды.

— Мое имя Энтони Юнгер, — представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек.

«Так вот он какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень», — подумалось Роберту Борку.

— Оно мало что вам говорит, мое имя, — сказал Юнгер. — Но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордока, я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордока высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы.

Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борк порадовался за Энтони Юнгера. Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борк, не мог ожидать.

Следовало отдать Ордоку должное — он не упустил возможности перехватить инициативу:

— Да, я продолжу свое выступление, — изготовился он тут же, и что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося вмиг. Он на что-то решился. — Да, уважаемые избиратели, для того я здесь и стою, чтобы продолжить свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой. — Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: — Я как раз буду говорить о Филофее, именно о нем, о Филофее, — подчеркнул он. — Буду говорить в продолжение того, что говорил здесь от микрофонов, в развитие того, что связано с психологическим наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом, о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен, правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще — хочет он того или нет, — под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно, но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать. Но перейти ко второй части выступления, выразить свое собственное отношение к посланию Филофея, как вы понимаете, я просто не успел. То, что говорили от микрофонов, как раз совпадает с тем, что хотел сказать я. И это замечательно, это укрепляет меня в моей позиции. Я полностью разделяю мнение, что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность. Эта акция человека, назвавшегося монахом Филофеем, нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле — это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических вышей, Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело! И эти люди заодно с Филофеем ждут своего часа икс, готовы немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на земле великую смуту, посеять сомнение в полноценности нашей

и, главное, — опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками — тавром Кассандры. Подумать только — тавро Кассандры, предсказательницы бед и несчастий! Ведь и названо вовсе не случайно. С каким коварным намеком! Так будем на чеку! На чеку необходимо быть всей нации! Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса. И никакого преувеличения, уверяю вас, это — заговор против человечества. Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели!..

Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидата в президенты, люди сидели, не сводя с него завороченных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок теперь, находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-Бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову — слову Оливера Ордока. Безусловно, это была победа. Блестящая победа Ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды.

И сам Ордок был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой, непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояние особой экспрессии и эрекции слова; ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупаются с окружающими и прежде всего с восхитенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, подставлялись ему и охотно ловили его каждый для себя, и от этого приливал в нем мощь, как у жеребца, с громким ржаньем и жарким храпом набегающего на кобыл в табуне; каждое слово добавляло кипящей силы и предощущения близости совокупления со столь желанной и пока еще не достигнутой потенциальной властью. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от тварей лесных, волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал через потоки речей, когда слова, сплываясь рядами, шли на штурм противостоящей крепости, в данном случае — идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки.

О, это был звездный час Оливера Ордока. И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране близости от трибуны. Энтони Юнгер сидел с краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попадания в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук, ему было явно не по себе.

А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лбызал, опутывая словами, ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка.

— Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, — напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в «Альфа-Бейсбол», — то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслышанной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе и в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь, на предвыборной встрече, — как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда, экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала!

— Не будет этого! — раздалась в зале гневные голоса. — Этого мы не допустим!

— Я тоже так думаю, — продолжал Оливер Ордок. — И я положу на это все свои силы. И не остановлюсь ни перед чем. Но как, каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на земле подставляет услужливо плечо Филофею, подогревает обстановку, а говоря по-простому, — мутит воду? Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать — нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними в генетическую западню, какие бы высокоинтел-

лектуальные доводы они ни приводили! В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, человеком, в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха. В бывшем Советском Союзе молодых людей, которые верой и правдой служили вождю и счастливы были отдать за него жизнь, называли, если не ошибаюсь, комсомольскими активистами. Подручный Филофея похож на них, хотя ему совсем не мало лет, работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов, — зовут этого человека Роберт Борк!

Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот: «Роберт Борк! Роберт Борк! Это Роберт Борк! Какой-то Роберт Борк!»

— Так вот, уважаемые избиратели. Как я ни пытался, разумеется, очень уважительно выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я ни пытался тем не менее обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом, я увидел, что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло! Для Роберта Борка его философские бредни, его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борк игнорирует, приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему воспроизводство человеческого рода, лишаящему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера при этом ни выдвигались. Роберт Борк фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане.

— Но позвольте, мистер Ордок! Это же была частная беседа! — не удержался Энтони Юнгер, подбежавший к микрофону ведущего. Он стоял совершенно бледный, с искаженным лицом. — Как можно частную беседу выносить на общий суд?!

— Я не собираюсь делать из нашего с Борком разговора тайны, — невозмутимо парировал Ордок. — Если частная беседа затрагивает судьбы человечества, если такие люди, как Роберт Борк, одобряют, оправдывают действия Филофея и торят его теориям зеленую улицу в умах людей, прокладывая ему путь к контролю над всем миром, то с какой стати я должен разыгрывать церемонии?

Гром аплодисментов потряс своды «Альфа-Бейсбол». Телеоператоры метались по залу, выхватывая выражения лиц, чтобы запечатлеть эту небывалую сцену еще одной турнирной победы Оливера Ордока.

Энтони Юнгер попытался было сказать что-то:

— Мистер Ордок, вы не имеете права...

Но зал не дал ему договорить. Все как один стали громко аплодировать с тем, чтобы заглушить его слова, не дать ему вымолвить ни слова, уничтожить его на месте.

Юнгер, однако, продолжал что-то говорить, старался перекричать захлопывающую его публику, отчаянно размахивал руками, метался, но это только подлило масла в огонь, и все разом стали скандировать, чтобы окончательно загнать Юнгера в угол: «Ор-док! Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Затем, точно по команде, поднялись с мест и стоя, иступленно повторяя имя Ордока, стали бить в ладони: «Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Итак, торжество Ордока достигло апогея. О таком политическом успехе никто из его соперников не смел и мечтать. А его, неказистого с виду, почти тщедушного, с пятнистым птичьим лицом, очень напоминавшего чем-то Геббельса, всеобщий ажиотаж возносил на головокружительную высоту, в сферу магической удачи настолько стремительно, что мало кому могло прийти в голову, что Ордок в эти минуты был от радости на грани обморока. И все-таки он сумел взять себя в руки. Дело было сделано, оставалось его завершить, оставалось закрепить успех. А зал все гремел: «Ор-док! Ор-док!» Он преодолел-таки себя, остановил жестами и благодарными улыбками аплодисменты и скандирование зала и сказал в наступившей тишине:

— Кому-то тут стало обидно за Роберта Борка, так в чем дело? Собственно говоря, кто ему мешает. Пусть Борк появится и убедит публику в обратном, в том, что они с космическим Филофеем горят желанием принести пользу людям, народу, нации, будущим поколениям. Пусть даст мне достойную отповедь! Пожалуйста! Мы живем, слава Богу, в самом демократическом государстве. Да я

думаю, Борк и не останется скромно в сторонке, а выступит. А если он вдруг опомнится, раздумает поддерживать Филофея, то, неверное, объяснится и, надеюсь, покается. В общем, пусть выступает, как хочет. Не к его ли услугам все американские газеты и журналы, да и только ли американские, пусть возгорается мыслью, а радио, а телевидение?! Но и я не останусь в стороне, могу заверить вас, уважаемые избиратели, и я попрошу себе скромного места в средствах массовой информации, но не с тем, чтобы поражать современников своими футурологическими теориями, я постараюсь, чтобы каждый человек понял, что играть с огнем, то есть с учением Филофея, не стоит, что Борк вместе с Филофеем готов запалить мировой пожар. С того часа, как я вник в замыслы Борка, я не могу оставаться спокойным — его замыслы темны и страшны, он готов насаждать идею поголовного зондаж-облучения женщин везде и всюду и требовать поголовного покаяния человечества за свои, что называется, грехи. И все это выльется в новую филофеевскую религию, чтобы оттеснить, стало быть, традиционные религии, чтобы монопольно господствовать над людскими душами. Пусть и религии мировые подумают, как им быть отныне! Вот о чем следует позаботиться наперед, вот о чем я буду писать и говорить. О том, что мы должны вовремя унять этих ученых мужей — Филофея на орбите и Борка на земле. И я заявляю об этом для всех присутствующих здесь журналистов. Разумеется, унять законным путем, только так и никак не иначе! Путем установления мирового запрета на подобные эксперименты. И в этом я рассчитываю на вашу поддержку и доверие!

Последовал рев и гром аплодисментов, все встали и принялись неистово хлопать и снова скандировать: «Ор-док! Ор-док!» И опять с наслаждением и смущением упрашивал Оливер Ордок публику прекратить пока овации:

— Я займу у вас еще несколько минут. Я хотел бы еще добавить в развитие сказанного...

И вдруг трансляция из спортзала резко оборвалась. Экран погас. Кто-то нервным движением руки выключил телевизор. Это была Джесси. Когда она вернулась домой, как она вошла, где находилась все это время — сидела ли где-то сбоку и все это смотрела и не могла двинуться, парализованная увиденным, или только недавно пришла, — Борк не знал. Опустошенный, убитый случившимся у него на глазах, он сидел в кресле, отрешенно глядя куда-то в пространство.

— Сколько можно?! Как ты можешь смотреть это?! — резко и жестко сказала Джесси мужу. — Хватит! Довольно!

Тот молчал.

— И в кабинете не смей включать телевизор! — проговорила она раздраженно. — Я отключу сейчас все телефоны! Все к черту, к дьяволу, все начисто, чтобы никто, ни одна душа, никаких звонков! Сейчас кинутся звонить кому не лень, все, кто видел, что там устроил твой Оливер Ордок! Какой абсурд! Какая подлость!

Борк молчал.

— Ну, что ты молчишь?! — вскричала в отчаянии Джесси. — Подобного не было никогда в жизни!

— Тише, пожалуйста, — попросил Роберт Борк, — оттого, что ты будешь кричать, ничего не изменится.

— А оттого, что ты будешь молчать, тем более ничего не изменится!

И они оба замолчали, подавленные, взъерошенные. За окнами уже темнело. Уходил тот чудесный осенний день, что просился на живописное полотно, уходил в череду свою... Уходил, оставляя по себе боль и тревогу... Уходил в предвечии новых дней, неизвестно что несущих...

— Не могу, не могу поверить себе, — дрожащим голосом нарушила молчание Джесси. — Я допускала, что вокруг этой невероятной проблемы могут быть споры, но чтобы так подло и низко обойтись с тобой!.. Как можно из корысти так опозорить человека на весь свет?! Я готова убить этого мерзавца! И он может оказаться президентом Америки?! Где же небо?! — горько зарыдала Джесси.

Борк поднялся, налил воды, подал жене. Она пила, обливаясь, лихорадочно стуча зубами о край стакана.

— Успокойся, Джесси, теперь послушай меня, — проговорил он и хотел поглядеть жену по голове.

Она уклонила:

— Не буду я, не буду никого слушать, и ничего не говори мне, ради Бога! — ее душили слезы.

— Ну, извини. Позволь мне быть возле... Извини...

Жена плакала, сотрясаясь всем телом, согнувшись в кресле рыдающим комком боли. И седая-то оказалась она уже, и постаревшая вдруг, чему он прежде не придавал значения, и все это горько увиделось в ту страшную минуту.

И ходил Роберт Борк по комнате налево и направо, взад и вперед, как в тумане, как в неизвестной местности, а не в доме своем. И страшно было ему и остановиться и двинуться, чтобы не провалиться в какую-то пропасть, — столь оглушительным оказался неожиданный удар из-за угла.

Наблюдая иной раз по телевизору за боксерами на ринге, Борк задумывался, сопереживая неудачнику, над тем, что испытывает боксер, брошенный одним ударом в нокаут, что творится с ним в ту минуту, сбывтым с ног, озирающимся вокруг так, будто он с иной планеты. Теперь он знал, как это бывает. Теперь он знал, что мир окружающий, оставаясь на месте, рушится в самом человеке, внутри него — в кровотоках, сбитых с путей своих, гудящих в голове, как стоки дождя по улице, в черном овраге мышления, размываемом этими бешеными потоками, в заикленности мыслей и в хаосе их.

Он долго ходил, долго и тяжело, а мысль, угнетенная бедой, металась в том черном овраге, в развалинах былого, что час назад было еще тем, чем он был сам для себя, своим «я», той тождественной себе данностью, которая определяла его личность. Теперь все это было разом опрокинуто, потоптано, выжжено Оливером Ордоком и массой людей, сбитых им с толку. Он физически ощущал свою вытоптанность и сожженность. Тело горело огнем. Такого прилюдного крушения в его жизни не бывало. И как-то сразу возник вопрос — что же дальше? Оставалось или покориться этой силе, демонстративно поправшей его «я» на глазах у всех, пустить себе пулю в лоб, не находя иного выхода из положения, — так думалось ему в тот час, — или собраться с силами навстречу схватке, веря в то, во что неизменно верится людям во все времена и особенно в моменты поражения — в конечное торжество справедливости, истины, правды, и еще есть много тому имен. Никогда не предполагал он, что настанет такой день и час, когда и ему придется сказать себе жестко и недвусмысленно: быть или не быть, жизнь или смерть! И еще одно горестное открытие сделал он в те минуты: для Джесси его трагедия — больше, чем личная, больше, чем трагедия мужа для верной жены. От этого на душе становилось еще тяжелее, и не было способа, не было такого слова, чтобы облегчить ее горе. Она слишком хорошо понимала суть происходящего.

— Роберт, — проговорила Джесси, всхлипывая.

— Да, Джесси, ты что-то хочешь сказать?

— Роберт, я вот сейчас думала... — начала она и замолкла. Он ждал. — Принеси, пожалуйста, мне полотенце из ванной.

Борк вернулся с полотенцем. Утирая им лицо, Джесси боролась с собой, подавляя приступы слез.

— Что ты хотела сказать, Джесси?

— Я думала, Роберт, о том, что то, что сегодня постигло тебя, да и Филофея, хотя он находится там, в космосе, — это из ряда трагедий идеализма. Я вспомнила твоего любимого Сократа. Как и тогда, и после, и многие времена спустя, идеалистической утопии противостоит толпа. Кто-то накидывает мешок на голову, и все наваливаются кучей.

— Быть может, и так, — отозвался он сдержанно.

— Так это, или не так, или примерно так, но ты же видел, Роберт, что это было. Я не говорю об Ордоке, его мы не разглядели, не стоило тебе с ним беседовать, он патологический тип, чтобы оказаться в президентском кресле — ради этого он пойдет на что угодно, на любую ложь, клевету и измышления. Я не о нем, будь он проклят. Но какая же страшная картина эти люди, заполонившие огромный спортзал! Это копыта, после которых на душе цветы не растут, а только чертополох колочий, и удавиться хочется. К черту все это! О Роберт, эта толпа, это быдло! Что это было, какое дикое зрелище! Боже мой! — и она снова зарыдала, уткнувшись в полотенце.

— Успокойся, Джесси, перестань, очень прошу тебя, ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Я тебя понимаю, но давай подумаем, посмотрим несколько отстраненно, — уговаривал он жену. И, уговаривая ее, вынужден был прибегать к логике, не поддаваться слепому гневу и несколько успокаивался сам. — Ты во многом права, безусловно. И то, что сократовская трагедия вневременная, тоже верно. Но вот подумай. Хорошо, допустим это так. Массы — это стадность, стихия, или, как ты выразилась, копыта, но это и оплот общественной жизни. Никуда не денешься! Человеческий материал, на котором строится и держится жизнь. Существует одна парадоксальная особенность в устройении

бытия, я бы сказал, в диалектике жизни — вечная трагедия: мыслитель открывает законы общества, а общество за это предаёт его анафеме, а впоследствии берёт именно эти открытия на вооружение. Прозрение наступает через отрицание.

— Роберт, — с укоризной в голосе и взгляде перебила его жена. — Можешь размышлять как угодно, но не старайся мне внушить что-то насчет прозрения. Истоптать, чтобы затем прозреть? Так, что ли? Нет, не могу смириться. И не до философствований сейчас нам с тобой. Наступает ночь. И тебе завтра утром предстоит сказать свое слово, если ты намерен это сделать. Решайся.

— Да, я намерен.

— Роберт, я понимаю, что это значит, за Ордоком — масса, за тобой — никого, кроме разве этого молодого человека, как его, который подбегал к микрофону.

— Энтони Юнгер.

— Спасибо хотя бы ему. Но ясно, Роберт, тебе брошен прямой вызов, и ты не сможешь не принять его. Смотри, если ты уверен, если действительно истина за тобой и Филофеем, твое право — утверждать эту истину, свое понимание во всеуслышание, несмотря ни на что.

— Вот в этом ты абсолютно права, Джесси, только так — во всеуслышание. Я уже думал об этом. После статьи в «Трибюн» я постараюсь сразу дать пресс-конференцию. И дальше видно будет, как пойдут события. Большая часть статьи уже готова, она у меня в компьютере, но после того, что произошло на этом митинге, многое мне открылось, многое обозначилось по-новому, мне кажется, в подтверждение правоты Филофея. В статье предстоит кое-что доработать, дополнить, усилить. Так что я не собираюсь уходить со сцены, не сыграв своей роли. Филофей прав, и я буду стоять за него.

— Коли так, нельзя терять времени. Сам понимаешь. Мы должны сосредоточиться. Это — война. Я так считаю, Роберт. Настоящая война!

— Согласен. Но только это война за противника, за врага, за его конечную победу над собой. Я имею в виду аплодировавших в спортзале. Вот ведь в чем суть этой войны, Джесси.

— Понимаю. Но на душе от этого не легче. Не желаю, вернее, не умею я этого принять. Не могу себя вывернуть. Прости меня. Радеть за врага, спасти, условно говоря, своего убийцу? Опять христианские постулаты?

— Не спеши. Это касается не только христиан, а и всех без исключения. К сожалению, мало кто желает понять, что все беды проистекают оттого, что мы, люди, разумные существа, только и крутимся, чтобы избежать во что бы то ни стало, вопреки всему, ответственности за вечно искажаемую жизнь, и находим тому массу оправданий, не отличая добра от зла и не боясь этого нисколько, лишь бы выкрутиться. И убедить самих себя, что только так и можно жить и никак иначе. Разве не к этому свелся предвыборный митинг?! Ведь нет на земле никакого иного носителя зла, кроме нас самих, людей. И однако каждый видит источник вреда в другом, вне себя, вне своей группы, сословия, нации, государства и далее — расы, религии, идеологии... И катится жизнь в злодеяниях. Докатывается до протеста эмбрионов против жизни. Стоп! Дальше некуда! Дальше мутации и вырождение! Все это губительно, и чем дальше, тем больше, чем мы могущественней технологически, тем страшнее наши заблуждения и степень цинизма и попраий. Филофей затронул одну из струн расстроенного генетического оркестра, и сколько сразу неприятия и ярости!..

— Ой, Роберт, с меня довольно! — проговорила Джесси. — Ты лучше публично огласи эти мысли, чтобы люди слышали.

Они замолчали. И как ни старалась Джесси сдержаться, слезы опять начали душить ее:

— Прости меня, Роберт, не могу, не могу прийти в себя, я так оскорблена всем этим зрелищем, — говорила она плача. — На душе у меня такое после всего этого варварства толпы, как будто бы мы с тобой бредем в погорелом лесу, обугленном, сплошь выгоревшем. Уже все сторело вокруг — ветви, стволы, кусты, и осталась только черная, опаленная земля, и вокруг ничего — пусто, все черно и мертво. Что будет? Что будет? Что-то будет! — шептала она.

Борку ничего не оставалось, как успокаивать жену. Не помнил он, чтобы случалась с ней такая истерика. Всегда собранная, всегда спешившая по разным делам и более рациональная, чем сам он, она была просто раздавлена цинизмом Ордока.

Но напоминание о том, что следует без промедления действовать, что время не терпит, заставило ее взять себя в руки.

— Я понимаю тебя, Роберт, — соглашалась она, перебарывая себя. — Иди в



кабинет, работай. Заканчивай статью. Кофе, хочешь, — будет на кухне, хочешь, — буду приносить. Только работай. Только действуй. А я пойду в гостиную. Мне хочется играть. Буду играть Шостаковича. Пятую симфонию. А ты пиши. Я знаю, тебе есть, что сказать. И не звони никуда, я тебя прошу. Телефоны я отключила, все три. Не включай. Иди. Меня ты снизу не будешь слышать. Я закрою дверь и окна.

## 7

Временами звуки музыки все же доносились из гостиной на второй этаж. Виолончель невольно напоминала Борку той ночью, что есть на свете женщина, разделяющая с ним судьбу, наверное, до самой могилы. А возможно, и потом их души будут знать друг о друге и слышать сегодняшнюю бессонную виолончель на расстоянии расстояний...

И в ту ночь, сидя перед компьютером, на монитор которого набегали электронные строки завтрашнего газетного текста, он снова услышал тревожное дыхание китов в океане. Куда они опять? Значит, где-то что-то произошло на земле?! Опять люди совершают непоправимое? Волны валили навстречу гора за горой, бурлила вода, растрчивая и одновременно восполняя энергию океана, и плыли киты. Вскоре и сам он оказался среди них. Океан переливался во тьме мерцающим светом компьютерного экрана, заключавшего в себе в тот час и далекий космос, и зачатия в материнских лонах в едином континууме вечности, находящем свое выражение в слове его, и, плывя в океане, он пытался найти объяснение вечного в образе Мировой души, которая для всех одна и у каждого своя в разведиенности и соединенности всего на земле... И набегали на экран строки, следуя одна за другой, слагаясь в единый текст:

«Тавро Кассандры не знак позора и унижения, в чем пытаются убедить нас иные ораторы, преследующие свои политиканские цели, это — знак беды, крохотный сигнал о великой нашей беде, неожиданной, прежде неведомой людям, необозримой в глобальных масштабах и потому требующей исключительного подхода как роковое для человечества социально-биологическое явление. Открытие Филофея свидетельствует о том, что наше самосознание деформировано на генетическом уровне, деформировано по вине самого человека, из поколения в поколение живущего вопреки идеалам Мировой души. Трагедия в том, что мы избегаем, всячески уклоняемся, как это было, в частности, продемонстрировано на предвыборном собрании, от осознания причин, побуждающих кассандро-эмбрионов к отказу от борьбы за существование. Угасание желания жить есть угасание мировой цивилизации. Это и будет концом света. Иначе говоря, конец света заключен в нас самих. Это-то и улавливают кассандро-эмбрионы, обладая инстинктивной чувствительностью, и дают нам знать о своем страхе перед жизнью через пятно Кассандры, проявляющееся на челе беременных женщин, как на вселенском компьютерном экране. Следует бояться не самого тавра Кассандры, а причин, вызывающих в недрах генетики этот эсхатологический сдвиг... Мы совершим великую ошибку... Филофей не провокатор, он — космический пророк...»

И слышал Борк в тот час, как шумно плывут киты в океане, все с большим напором преодолевая встречные волны, и виделось ему, как светилась, горела тревогой вода на пути их — цветом компьютерного экрана...

\* \* \*

А на Красной площади в ту полночную пору стрелки часов на знаменитой Спасской башне приближались к часу совы — к трем часам ночи. И сова ждала заветного момента, когда три раза пробьют кремлевские куранты на все четыре стороны света, с тем чтобы в ту минуту сняться с места и, круто падая вниз с башенной высоты, взмыть у самой брусчатки, застилающей площадь, и полететь затем вдоль Кремлевской стены и далее, как всегда, бесшумно покружить, попеть над Красной площадью, покружить над мавзолеем и посмотреть вокруг — что к чему на белом свете. И в этот раз сова ожидала встречи с приземисто-башкастыми призраками, надеясь подслушать, как обычно, о чем они будут толковать между собой. А поговорить на этот раз им было о чем, ой как было! Потому что накануне на Красной площади произошло страшное событие. Такого даже много видевшая на долгом своем веку сова не помнила и не могла предположить, что подобное возможно.

Но, с другой стороны, откуда ей было знать, этой странной спасскобашенной сове, то ли птице, то ли духу, общавшейся с призраками, откуда ей было понять то, чему даже здравомыслящие люди не находили вразумительного объяснения.

А началось все пополудни того осеннего дня, когда на Красную площадь стали стекаться огромные толпы людей для проведения митинга в защиту ВПК — военно-промышленного комплекса. Давно уже накапливался, как писали журналисты, в определенных кругах ропот, что перестроечная конверсия встала костью в горле «оборонки», что только в реставрации ВПК спасение убывающего могущества державы. Да, такие мнения носились в воздухе гарью тлеющего в лесу пожара. И вот он запылился, возгорелся, чему немало поспособствовали пожинавшие теперь свой урожай возбудители национал-опамтствования, силы, упорно натаскивавшие общественное мнение на возобновление торговли оружием, на возрождение ВПК — основы милитаристской государственности, — якобы загубленного так называемой перестройкой и так называемыми радикал-демократами в интересах Запада, коварно потирающего руки за кулисами.

На Красной площади собирался отовсюду притекающий люд. Большинство направлявшихся на митинг были приезжие — из разных «закрытых» городов, прежде именуемых «почтовыми ящиками» и закодированных соответствующими номерами. Именно из этих рассекреченных в ходе конверсии «ящиков» валили коллективно прибывавшие на поездах на все вокзалы Москвы, они двигались к центру колоннами, перекрывая автомагистраль. К ним присоединялись и московские «оборонщики», национал-патриоты, тоскующие по Сталину пенсионеры и прочие, и прочие. Демонстранты казались странными типами из прошлого, словно только что опомнившимися от тяжелой контузии; они несли над головами воскресшие портреты кровавых диктаторов, совсем недавно еще яростно поносимых и проклинаемых на этих же улицах.

Число демонстрантов все росло, наглядно свидетельствуя о том, сколько же деятельного народа было занято прежде в сокровенных недрах ВПК. Полмира вооружали. А теперь почувствовали — земля уходит из-под ног — конверсия обрекала работающих в ВПК, если не перестроят производство, на безработицу. И они двинулись... Это напоминало половодье, когда бешеный поток на глазах несет и коряги, и валуны, и сорванные крыши, и никто не в силах остановить движения. Подобно этому несло по улицам в тот час свои «валуны, коряги и сорванные крыши» — призывы и требования, гласившие категорически: «Прекратить конверсию!», «Не дадим пустить ВПК по ветру!», «Да здравствует славный ВПК!», «Держава — превыше всего!», «Долой антигосударственные реформы!», «Танк — гарант стабильности», «Даешь валюту за оружие!», «Не мешайте конкурировать на мировом рынке оружия!», «Прекратить болтовню о гонке вооружения!» — и совсем абсурдные для непосвященных: «Вернуть почтовые ящики!», «Будем жить и трудиться в почтовых ящиках!» и даже такие: «Заткнитесь, пацифисты, пока не поздно!», «У нас отняли холодную войну, чтобы нас перебороты!», «Не дадим превратить танк в кастрюлю!» и, наконец, «Да здравствует производство вооружения — источник силы и национального богатства!», «Не допустим безработицы, не допустим утечки мозгов!», «Да здравствует холодная война — двигатель технического прогресса!», «Долой продажных гуманистов!» и еще многое и многое в этом духе, благо, кусок картона с любой надписью ничего не стоил, но таил в себе силу, от которой голова, хмелея, шла кругом.

Хотели того или нет политики, распинавшиеся о необходимости военного превосходства державы и именовавшиеся державниками и государственниками, хотели того или нет соорганизаторы международных ярмарок оружия, где завоевание первенства на торгах приравнилось к Божественному деянию в интересах нации и, самое главное — сулило миллиардные суммы долларов чистой прибыли, от чего перехватывало дыхание, ведь одну треть тех миллиардов всякий раз обещали отстегнуть непосредственно в карман производителей на местах, хотели того или нет те, кто начал в масс-медиа кампанию по прославлению не меркнувшей в истории славы нашего оружия, теперь уже никто из них не в силах был остановить того, что пробудилось, того, что происходило, — все были щепками в водовороте...

На Красной площади колыхалось море голов. Тысячи собравшихся и продолжавших прибывать участников митинга в защиту ВПК распирала пространство площади, и общий рев: «Ве-Пе-Ка!» , «Ва-лю-та!» , «Кремль — наш!» , «Кремль — наш!» сотрясал небо.

Съемки велись с вертолетов, но и сверху невозможно было охватить и пере-

дать масштаб грандиозной вулканической картины. На фоне общего митинга, речей, разносившихся через радиоусилители с мавзолея, в разных концах площади возникали еще и локальные мини-митинги со своими лозунгами, портретами и выкриками. На Лобном месте тусовались фиделисты, и это было сразу видно по портретам их кумира и лозунгам: «Фидель — мы с тобой!», «Социализм — или смерть!» И толпа вторила громко, взявшись за руки и в такт подскокам: «Социализм — или смерть!» В проходе возле Исторического музея колготились саддамысты. Исступленно и яро клокотал в этом омуте клик: «Саддам — ты наш брат!», «Саддам — ты наш брат!» И еще один очень выразительный выклик с выбросами вытянутых кулаков: «Кадда-када-Каддафи! Кадда-када-Каддафи!»

Подобных шумных сторонников имели на площади почти все страны, куда долгие годы шли массовые поставки оружия, свои приверженцы пританцовывали в честь Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Северной Кореи и особенно арабских и африканских партнеров-покупателей. Но, понятное дело, Китай — соответственно своим масштабам и демографическим данным — обладал громадным числом приверженцев, скандировавших гениальную строку поэта Мао из «Песни павлина»: «Винтовка рождает власть! Винтовка рождает власть!» И в унисон, очень по-родственному, мощно ладили сталинисты: «Сталину слава!» и дружно вздергивали над головами подобострастно отретушированные портреты генералиссимуса. Но над всем этим граем поистине торжествовал калашниковский автомат: «Калаш — Кремль наш!» — перекрывало все возгласы и крики.

Были и малопонятные изыски на заданную тему, типа: «Стрельба влет — и небо в алмазах!» Надо ли это было понимать так: летит ракета, и сверху сыплотся алмазы? Если бы! О, если бы!

И все это бурлило и кипело в котле массовой эйфории, и все это воспало чувство поголовного могущества, натиска, единого плеча... Вот-вот и свершится нечто, и возликует огненная пиротехника страстей, и дрогнет небо, и явится Он: исполнитель воли... Но кто Он? Он, да и все! Он! Он!..

Но речи главных ораторов, раздававшиеся с трибуны мавзолея, были по своему трезвы и убедительны. Свертывание производства оружия не сулит экономике ничего хорошего, лишь отдаст мировой рынок в руки богатой-разбогатой Америки. Та не дремлет — штампует оружие круглый год, круглыми сутками и всех вооружает до зубов, и всеми повелевает. Чем мы хуже? И еще был один довод — безработица от конверсии приведет к сокрушительному социальному взрыву. И еще — конверсия губит на корню мощный интеллектуальный потенциал страны. И еще, и еще следовали снайперские попадания в точку. И каждое попадание вызывало приступы массового наслаждения ненавистью.

Но была и другая сила. В тот час на Манежной площади, на смежном пространстве, отделенном от митингующей толпы противников конверсии лишь рядами омовцев, гудел другой митинг, вскипали другие страсти.

Здесь митинговала другая публика, другая часть общества — демократы, реформаторы, пацифисты и прочая поросль перестройки, в общем — свободолюбцы и либералы всех мастей и оттенков. Их тоже было много, площадь колыбалась от многолюдья, и у них были свои убеждения, свои призывы и лозунги, не менее радикальные и не менее ударные. Здесь тоже пестрели транспаранты и плакаты: «Долой привилегии ВПК!», «Мы не должны быть заложниками ВПК!», «ВПК — на руку милитаризму!», «ВПК — вампир бюджета!», «Долой сталинского монстра!» и так далее, и тому подобное, вплоть до «ВПК — конвейер смерти!», «ВПК — цепной пёс партократов!», «ВПК — кабала народа!»

Та же, собственно, картина, что и на Красной площади, только с обратным знаком.

Тут демонстранты тоже осеняли себя портретами своих кумиров и лидеров. Вдвигали их над головами, представляли их на обозрение людям и богам, если, конечно, придавали последним значение.

Для различных корреспондентов и репортеров, поспешавших с аппаратурой то на один, то на другой митинг, то на Красную, то на Манежную площадь, события представляли невиданное изобилие оперативного материала. Но и при этом матерые репортеры не могли не обратить внимания на два плаката, которые своей непохожестью на все остальные бросались в глаза. Высоко держа на древках свои плакаты, ходили двое молодых людей — парень и девушка, судя по виду, скорее всего студенты. Очевидцы потом рассказывали, что держались они в толпе, не отдаляясь слишком друг от друга, чтобы можно было перекликаться, следили друг за другом глазами, ни с кем особенно не вступали в споры и

выглядели несколько отстраненными, как бы погруженными в себя. На плакате, который держал парень, было начертано черной краской: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!», а у девушки написанные красным слова звучали совсем деструктивно: «Я сожгу себя, если Кремль возобновит гонку вооружений!»

Ходили они в толпе, как два заблудших в море челнока, кому-то бросались в глаза, кому-то нет, кто-то брал подобные декларации в толк, кому-то это что-то говорило, а кому-то почти ничего — и не мудрено, поскольку всевозможные заявления, лозунги, протесты, предупреждения, радикальные, оглушительные речи и выступления сыпались на головы митингующих, как дождь, и на той и на другой стороне — и на Красной, и на Манежной площади.

Но так или иначе, то, чему суждено было случиться, случилось. Люди спохватываются обычно, когда уже поздно, в который раз убеждаясь, что в бурлящих толпах массовым психозом детонируются события, подчас поражающие как своей случайностью, так и роковой неизбежностью.

Солнце уже клонилось за Кремлевские стены, уже спускались на ревущие толпы безвинные ранние сумерки, а митинги на смежных площадях продолжали надрываться и бушевать, и речи, гремевшие из репродукторов, зажигательные и фанатичные, все больше воспламеняли души и умы собравшихся и приближали кульминацию. И каждая сторона, на той и на другой площадях, взывала к справедливости, апеллировала к властям и народу, утверждала только свою правоту, только свою точку зрения, преподносила миру только свои аргументы и выводы и накаляла себя, и ярилась, испытывая неудержимую потребность излиться немедленно в действии, разрядить накопившуюся энергию. Страсти накалялись почти синхронно, в репродукторах звучали взаимные обвинения, угрозы и оскорбления, каждая сторона называла другую, ненавистную, — гнусным сборищем врагов отечества. И уже вспыхнула первая потасовка. Пробиваясь через ряды омонцовцев, «милитаристы» и «антимилитаристы» стали бить друг друга плакатами и портретами на древках. Женщины дико визжали, мужики орала и матерились. В ход пошли кулаки и пинки. Как ни старались омонцовцы сдерживать натиск, разогнать дерущихся — это только еще больше разъярило стороны. И началась, быстро взбурлила сплошная битва-драка, точно люди только этого и ждали и ради этого только и собрались. Очень пригодились обожаемые портреты и броские плакаты — ими били наотмашь по головам. Кровь, слезы и стоны, схватки сотен людей, мужчин и женщин, старых и молодых, хлынули на экраны всемирных телепередач, во всевозможных деталях и ракурсах, снимаемые сверху, с вертолетов, и со всех возможных наземных точек.

Вот тогда-то и оказались в гуще событий те двое — парень и девушка. И то, что они не пустили в ход свои плакаты, обернулось для них роковым образом. Красноплощадники-вепековцы били конверсисстов, когда увидели вдруг, что тот парень упрямо держит над головой свой плакат и как бы тычет им в нос рассвирепевшим патриотам.

— Так ты что, сволочь, кому ты тычешь, кому дуришь голову?! — вскричал один из нападавших. — Это нам, значит, родиться не следовало?! Ах ты, гад! — и парня начали бить, а плакат изорвали и истоптали. Именно в этот момент к нему на выручку прорвалась та девушка со своим столь шокирующим, столь вызывающим транспарантом, с клятвой покончить самосожжением, если Кремль возобновит гонку вооружений.

Как сказать, насколько оправдан был поступок этой девушки — отправиться на митинг с подобной угрозой? Что двигало ею? Почему она это сделала — по молодости ли, по глупости или, наоборот, убежденность и отчаянность подвигли ее на этот шаг? И наконец, почему она не выбросила в толчее этот злостастный плакат, прежде чем пробиться к другу, избиваемому оборонщиками-вепековцами?! Но она кинулась к нему с этим плакатом в руках, крича:

— Что вы делаете? Не трогайте! Кто вам дал право? Не смейте! Прекратите! Напрасно. Парня молотили человек пять. Ну отпустили бы, избив, пусть ушел бы в синяках. Однако кто мог знать, чем это кончится, эта стычка, что таит в себе сама себя не ведающая, обезумевшая толпа?!

Вепековцы встретили девушку разъяренной бранью:

— А ты, сука, мотай отсюда, а не то и тебе наложим!

И тут одна баба, безобразно орощая, попала в точку:

— Так ты шантажистка?! Сгореть решила?! Ой, глядите, люди, держите меня, сгорит сейчас эта сука-шантажистка, и Кремль наш рухнет! Сейчас, на глаза! Дайте ей по морде, чтобы забыла дорогу домой!

На девушку накинудись, порвали ей куртку. По лицу ее потекла кровь.

— Не смейте! Изверги! — кричала она, с ужасом размазывая кровь по лицу.

Ее плакат тоже вмиг изорвали и истоптали.

— Ну а теперь как? Сгоришь? Или слабо? Думай, прежде чем писать всякую ахинею! Что же ты не горишь?

И все произошло мгновенно.

— А ты брось в меня спичку! — судорожно выкрикнула девушка, вызвав взрыв злобного хохота.

Тотчас кто-то выхватил коробок, чтобы чиркнуть.

— А у кого зажигалка? Ха-ха-ха! Ты лучше поднеси к ней зажигалку! — предложил еще кто-то.

— Стой! Не смей! — вскричал не своим голосом ее друг, вырываясь из рук избивавших его. Не успел. Горящая спичка упала девушке на плечо, на ее синтетическую курточку, и она занялась огнем.

Все оцепенели, затем отпрянули и кинулись врассыпную.

А она, обьятая пламенем, побежала прочь, оглашая округу жутким воплем. И все смешалось на Красной площади, не меньше, чем в аду. Паника в толпе столь же страшна, как и кипение ее свирепых, разрушительных вождедений...

Молниеносно разнесшийся слух о том, что где-то рядом взорвалась брошенная кем-то бомба, или, кажется, кто-то заживо сжигает себя, или еще что-то ужасное, полыхнул по толпам митинговавших, и люди, позабыв обо всем, поспешно побежали, давя друг друга, падая, крича, по улицам и переулкам, бросая под ноги сакральные портреты и пламенные призывы, будто в них и не было и не могло быть никакой необходимости. Люди бежали в безумии и страхе, бежали от себя.

Так зачем все это было, зачем бурлили и гремели у Кремля — никто не мог себе ответить. С той секунды, как вспыхнула огнем девушка, грозившая самосожжением — то ли из эпатажа, то ли в шутку, то ли всерьез, начался новый отсчет времени. То, как она бежала крича, сгорая на бегу, было видно всем, кто оказался вблизи. Она упала на землю. Ее догнал тот парень и вместе с ним несколько омонцов, бежавших следом. Они поспешно принялись сбивать куртками огонь с тела горевшей девушки. Но было уже поздно. Ее друг в отчаянии упал на колени, схватившись за голову. В эту минуту рядом на враз опустевшей площади опустился вертолет, должно быть, ведший до этого съемку для телевидения. Из-под оглушительно вращающегося винта, пригибаясь от ветра и заслоняясь от шума, выбежали люди, подняли с земли тело девушки и, прихватив с собой того парня и пару омонцов, все вместе поднялись в воздух. Но кто-то один успел, не забыв все снять на пленку.

Вертолет, взлетая, двигался над Красной площадью, поравнялся со Спасской башней на уровне ее макушки и полетел дальше, над Каменным мостом, потом вдоль набережной Москвы-реки и скрылся из виду...

Вместе с вертолетом затерялась в дебрях города, как в лесу исчезающая птица, трагедия молодых людей, скорее всего студентов, так отчаянно, так страшно и безоглядно пожертвовавших собой ради идеи, в которую они уверовали... О романтика, вечная спутница утопий и их неизбежных крушений!

В тот вечер центр города долго не утихал, переживал события дня. Нервное возбуждение выгнало многих на улицы, сказывалось в необычном оживлении лиц, голосов, походок. Люди собирались группами, спорили, гадали и все никак не могли объяснить, как могло случиться такое — брошена была всего лишь зажженная спичка, она могла погаснуть на лету, но вот не погасла, и девушка в одну секунду воспламенилась? Это же не фокус, не цирк?! Может быть, одежда ее была пропитана особым воспламеняющимся составом? Но к чему было устраивать такое — чтобы со смертельным исходом? А если нет, а если это совсем что-то другое, какое-то непостижимое метафизическое явление, когда человек загорается пламенем от высочайшего внутреннего напряжения? Говорят же, есть люди, которые ночью светятся фосфорическим светом. Как знать, кто знает?..

Тем временем надвигалась ночь. Людей на улицах становилось меньше. Зашевелились, хлопая дверцами автомашин и тут же оплачивая уличных охранников и рэкетиров, любители ночного времяпрепровождения. В ночных заведениях зажигались огни, интимные подсветки, включалась электромузыка, обнажались бюсты, разлетались улыбки... Чтобы все забыть, ничего не помнить, ускакать от себя, ускользнуть от Бога...

На Красной площади в ту ночь стояла абсолютная тишина. Безлюдье. Ни души. Никто не хотел появляться на том месте, где днем бушевали дикие стра-

ти, безумие, побоище. Тускло мерцало освещение. И повсюду валялись, точно брошенные на поле брани, потоптанные демонстрантами в драках и бегстве портреты, лозунги, плакаты.

И никому до них не было дела.

Луна стояла высоко над Кремлем. И летала сова, появившаяся в свой заветный час. Она скользила, как тень, то тут то там, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромною головою с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Тягостно ей было и жутко. Тихо кружа над мавзолеем, мелькнув перед взором каменно застывших часовых в его дверях, сова полетела дальше в поисках приземисто-башкастых призраков. И нашла их в затемненной сторонке, под кирпичной Кремлевской стеной. Нет, и в этот раз они не явили ничего нового. Они были невыразительны и в этот раз, но словно околдованы. Взявшись за руки, башкасто-приземистые приплясывали на месте, монотонно приговаривая подхваченное из возгласов митинга: «Социализм — или смерти!» Да, так и твердили без устали, неслышно, незримо, ужасно: «Социализм — или смерти!»

Сове эта кубинская ритмика вскоре наскучила. Она полетела дальше и напротив Спасских ворот встретила, наконец, живую душу — пьяную бабу, невестку откуда забредшую.

Та шла по ночной Красной площади в полном одиночестве, растрепанная и расхристанная, пьяная, и пела протяжно какую-то свою горькую песню:

Ах зачем, ах зачем  
Родилась я на свет?  
Ах зачем, ах зачем  
Меня мать родила?

Ах зачем, ах зачем,  
Ты меня зачала?  
Не хотела того,  
Ты меня подвела.

Ах зачем, ах зачем  
Ты меня родила?  
Не хотела того,  
Ты меня подвела.

Ах зачем, ах зачем  
Родилась я на свет?  
Ах зачем, ах зачем  
Меня мать родила?..

Уходила наискось через площадь, шатаясь, спотыкаясь, и вскоре скрылась где-то у торговых рядов ГУМа. Еще некоторое время доносилась ее унылая песня, потом все стихло.

Сова ж взмыла над Кремлевскими стенами, полетела в сады и здесь, среди густых ветвей, вдруг зарыдала, как та баба, и, рыдая, тягостно ухала.

Луна стояла высоко среди звезд, подсвечивая сверху вечным светом купола, шпили, крыши Кремлевского взгорья, и опять чудилось сове, что доносится издалека дыхание китов, плывущих в океане. Куда и зачем они спешат? И нет им покоя. И волны не унимаются.

## 8

Большая часть статьи для «Трибюн» была готова, оставалось написать заключение. Но чем ближе дело двигалось к завершению, тем сильнее охватывало Борка беспокойство: не излишне ли он погрузился в научное объяснение феномена тавра Кассандры, тогда как для подавляющего, а может быть, и абсолютного, большинства людей наверняка важнее всего было любым путем избавиться от «провокационных» действий Филофея в космосе, чтобы только ничего не видеть, ничего не слышать, забыть о сигналах кассандро-эмбрионов. Прожженный политикан Оливер Ордок почувал именно это и соответственно сориентировался, и потому обрел успех. Безусловно, он одержал политическую победу. Хотя, конечно же, победу на ложном пути. Но как переубедить людей, как заставить людей понять, что они поддались массовому самообману?

Борк понимал, что политического опыта, политической сноровки в сравнении с Ордоком ему недостает. Да, они стали врагами. Так неожиданно и так

неотвратимо! И, хотел он, Борк, того или нет, предстояла борьба, неизбежная борьба. Как раз то, что требовалось Ордоку, — публичный турнир на пути к вожделенному президентству. В этом смысле судьба щедро и выгодно предоставила ему Филофея в космосе, Борка — на земле.

Размышляя над этим, Роберт Борк поймал себя на мысли, как быстро можно втянуться в банальную политическую борьбу, как заразительно и цепко захватывала душу сжигающая страсть противостояния. Хотелось встретиться с Ордоком лицом к лицу. Хотелось подойти вплотную, взглядеться в его глаза и сказать, не повышая голоса, так, чтоб того пронзило насквозь: «Какая же ты сволочь!» И затем объявить всем, что Ордок сволочь и что такого типа нельзя допускать к власти, ибо это будет приход дьявола, и опасность в том, что никто не будет знать, что он — дьявол! «Нет, нет, только не это, только не это, — думал Борк, сам же отвращаясь от своих мыслей. — Пусть будет президентом, кем угодно, только без меня! Нет, нет, мое дело — не политическая борьба, моя задача — доказать людям, что, избегая правды о знаках Кассандры, они малодушничают, загоняют проблему вглубь, усугубляют свою беду. Но как, как убедить их, что правда страшна, но нельзя закрывать глаза, нужно искать выход?!»

На балконе, куда Борк вышел подышать, было по-ночному прохладно, осень давала о себе знать, — листва неумолчно шелестела во тьме, его охватила дрожь. Луна стояла низко, почти касаясь лесистого пригорка на выезде на автобан. Борк представил себе гольфовые поля на холмах за лесом, напоминавших пологостью и перекатами приморские дюны, сюда, бывало, в прежние годы он отправлялся погонять мяч.

И, странное дело, припомнился ему один сон. Оказывается, сны могут возвращаться в воспоминаниях как некая реальность. Снилось ему как-то, кажется, не так уж давно, что кругом гольфовые поля, луна светит, ночь, отрадно и волно, но вот беда — мяч в лунке не поддается удару клюшки, не отлетает, не откатывается; сколько он ни размахивался, ни ударял, сколько ни старался, мяч оставался на месте. И тут появляется откуда-то сверху Макс Фрайд, коллега его покойный по кафедре, профессор. Полетим, говорит он, на Луну, там такие поля, будем играть в лунный гольф. Увлеченный Максом, он следует за ним, летит над полями, а позади Джесси бежит и зовет его назад. И плачет почему-то. К чему все это снилось? Странно и не очень странно, если поразмыслить. Макс был близким другом и всякой заумью, астрологией увлекался. По звездам старался определить, с каким счетом выиграет или проиграет в гольф. Предсказания его иногда сбывались, но большей частью служили поводом поиздеваться над «магом». Может быть, дух Макса на том свете что-то предчувствовал, улавливал приближение, как он мог выразиться и непременно так бы и сказал, — негативного астрологического фактора и потому желал увести друга из-под удара, звал улететь на Луну. Потому и явился во сне, предупреждая заранее.

Да, будь Макс жив, он наверняка бы примчался прямо среди ночи к ним в Ньюбери после того, что произошло на митинге. Пусть ничего бы это не дало, но такой он был человек, несколько суматошный, но исключительно отзывчивый. Бывало, аккомпанировал Джесси на рояле, несложные вещи, но очень недурно. Джесси посмеивалась: «У тебя, Боб, все друзья, как Макс, — потешные интеллигенты в классическом варианте. А вообще-то вам следовало бы основать монашеское братство, тебе стать главой ордена, эдаким догматичным наставником, а красавчик Макс твоей правой рукой был бы, везде бы поплевал. Вот тогда бы ты реализовались не только в науках, а и еще в чем-то, в чем-то совсем ином». Бедный Макс, ведь он был равнодушен к Джесси и временами превращал это в предмет своего дурацкого балагурства. Он любил под хмельком излить душу:

«Слушай, Роберт, должен тебе сказать со всей прямоотой, ты крепко помешал мне в жизни».

«Что так?»

«Если бы не ты, я признался бы Джесси в любви».

«Но наверное, и сейчас не поздно?»

«Нет, только если бы тебя вообще не существовало как субъекта, только в таком случае я сказал бы ей об этом».

«Ну, слушай, тогда с этим ничего не попишешь. Как субъект я как раз существую».

«Вот именно. Теперь ты понимаешь, как ты крепко помешал мне».

«Макс, дружище, уж очень легкой жизни ты хотел бы. Ты попробуй свои шансы при этом самом субъекте, а в комфортных условиях, как ты желаешь, это неинтересно».

«Нет, на твоём фоне я не смотрюсь. Совсем».

«Ну отчего же. Женщины тебя обожают — ты видный, можно сказать, красавец, когда-то ты гонял на мотоцикле, и все ахали. Потом ты помоложе меня».

«Я — мотоциклист, а ты — учёный имеющий мировую известность, я — мотоциклист, а ты — богатый человек, получаешь большие гонорары за книги, у тебя прекрасный дом в фешенебельном Ньюбери, жена на виолончели исполняет тебе бахов и бетховенов, а я мчусь на мотоцикле, ты гоняешь мяч на модном Ньюбери-гольфе, а я мчусь на мотоцикле; ты выступаешь в кремлях и белых домах, а я мчусь на мотоцикле...»

«Постой, постой, Макс, не приbedняйся слишком. Ты отнюдь не только мотоциклист, да это и в прошлом. У тебя громкое имя в твоей науке — в политгеографии, вся планета в твоих руках. Да разве дело в планете, подумаешь, планета! Ты поосторожней, услышит вдруг наш разговор Анна, лучшая из прекрасных полячек, каким ты предстанешь мужем?! Скандал! И мотоцикл не может! А она-то в иллюзиях!»

«Да, Роберт, ты, кажется, подловил меня. Насчет Анны ты прав. А вот по поводу планеты — не совсем. В политгеографии надо знать все, или ею не заниматься. Это особая, всяедная наука. Это банк информации, я бы сказал. Да, в этом смысле я — мировой банкир. Ротшильд двадцатого века. Я все знаю, все ведаю, ну и что? Говорят, Бог в небесах тоже все видит, все знает, все ведаёт, но ничего не может...»

Не стало человека. Погиб в автокатастрофе, уж очень любил скоростную езду. Анна постарела сильно. Сын их женился, живет отдельно. Джесси с Анной перезваниваются, иногда видятся. В последний раз Анна приезжала этим летом. Отправились они все вместе на гольф-поля подышать, погулять, посмотреть, как играют. Хороший день провели, обедали там же, в ресторане гольф-клуба. И невольно вспоминали о прошлых временах, о Максе много говорили... Он очень любил здешние места. Всегда готов был примчаться...

О бедный друг Макс Фрайд. Что бы ты сказал сейчас, как бы ты отнесся ко всему, что происходит, когда все смешалось в умах и в душах. Незримый генетический ураган ударил, закружил. Теперь нужно выбирать: в страусиной позе спрятать голову в песок, как хотят многие, лишь бы пронесло, или глянуть Богу в глаза и, не отводя взгляда, принять его предупреждение людям, ибо Бог только предупреждает, а решать надо самим. Прав был в этом Макс Фрайд. И снился он не случайно. Тревожился, предчувствовал, стало быть. Звал, хотел спасти заранее от беды, звал на лунные гольф-поля...

Но как теперь сложится ситуация, ведь Ордок, по сути дела, подменил проблему, обвел общество вокруг пальца, отвлек, а чтобы к тому же обрести героический ореол, прилюдно вызвал его, Борка, на политическую дуэль. И он должен изготавиться, принять этот вызов, сказать свое слово о тавре Кассандры, защитить Филофея от демагогии и политических спекуляций. А как иначе назвать то, что устроил Ордок?! Боже, уже второй час ночи, опомнился Борк, надо садиться за работу. И действовать без промедлений. Отступить некуда.

Возвращаясь в кабинет, задержался взглядом на зеркале у входа. Глаза красные от бессонницы. Сколько в них боли и тревоги. И седой совсем. Хорошо еще, не облысел, как другие. Старый, как та рейнская скала, мимо которой он проплывал недавно с немцами, шумными журналистами, они так и озаглавили его интервью — «Интервью со Старой скалой», совсем не подозревая, что совсем скоро, когда он будет лететь над океаном, над Атлантикой, сверкнет молния монаха Филофея и разразится гроза, и кинет всех во вселенскую панику, и появится под шумок на сцене этот бесовский тип — Оливер Ордок. Что же, выходит, предстоит биться...

Борк сел было к компьютеру, но слышались шаги. Снизу поднималась Джесси.

— Ну, как ты тут? — спросила она с порога.

— Да ничего, действую, — ответил он и хотел было рассказать ей о своем сне, вдруг припомнившемся с чего-то, но не стал.

Джесси выглядела усталой, и все-таки что-то светилось в ее взоре.

— Я не хотела тебе мешать, Боб, но знаешь, я хочу тебя удивить.

— Чем ты можешь меня удивить?

— Вот принесла кипу бумаг. Они тебе могут пригодиться.

— Что это?

— Факсы. И от кого ты думаешь? От Энтони Юнгера.



— От Энтони Юнгера? — переспросил он. — А что он? Что он, собственно, пишет?

— Понимаешь, я ведь тебе сказала, что отключу все телефоны. Можно представить, как он пытался дозвониться. Но кто мог знать? А факс в холле я забыла отключить, в голову не приходило. А тут слышу, что-то все время щелкает, гляжу — а тут уже куча рулонов. Вот почитай. На каждой странице он пишет сверху: «Ради Бога, только не отключайте факс!» И сейчас его факсы еще идут, страница за страницей. Что с ним происходит? Бедный парень. Ты почитай, я потом еще принесу.

Полная неожиданность. Два часа ночи. А кто-то не спит, пишет страницу за страницей, посылая факсы. Пишет Энтони Юнгер, лишь однажды говоривший с ним по телефону, едва знакомый. Но ведь на предвыборном митинге, когда Юнгер отважился, пусть и безуспешно, осадить Ордока на бешеном скаку его демагогии, он сделал принципиальный выбор, он, человек из команды Ордока, на глазах у всех отмежевался от своего лидера, перешел на сторону его политической жертвы. Каково ему пришлось потом, по окончании митинга, нетрудно себе представить. Сам Ордок и верная ему команда, безусловно, заклеямили Юнгера как предателя. О карьере под сенью Ордока отныне ему нечего было и думать. Приятели, наверное, смеются: такого еще не бывало — сам себе путь отрезал. И после всего этого он еще нашел в себе силы кинуться на выручку, на помощь человеку, посрамленному Ордоком, заклеяемому массовым митингом. Борку было неловко перед Энтони Юнгером, и в то же время на душе потеплело. Никогда еще никто со стороны не опекал его из сострадания, поскольку он всегда был самостоятелен и силен. А теперь, насильно затащенный на ринг, он уполз оттуда, поверженный, можно сказать, измордованный на потеху публике и пока закрылся от мира, пытаясь, стиснув зубы, встать на ноги, чтобы снова вступить в бой, теперь уже по своей воле и на свой страх и риск. Оттого-то, понимая все это, Юнгер буквально заклинал в первой строке каждой страницы: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Мистер Борк, я понимаю, почему отключены Ваши домашние телефоны, — писал Юнгер. — Никогда не посмел бы досаждать, но поймите и меня. Если я не смогу сейчас хотя бы по факсу изложить то, что я обязан был бы сказать Вам, стоя перед Вами на коленях, для меня это действительно смерти подобно. После всего, что случилось на предвыборном митинге, я не нахожу себе места, я готов на все, даже на убийство, если бы это имело смысл. Простите меня за столь страшные признания. Но получается, что это я втянул Вас в эту безобразную историю с Ордоком, подставил Вас в качестве базарной мишени для демонстрации меткости этого безнравственного политического стрелка с большой популистской дороги. Не буду плакаться, извините, однако кусаю локти: кому я служил, кому камни таскал, поделом мне за слепоту мою и неисправимую доверчивость! Но не обо мне сейчас речь, простите, ради Бога. Речь о том, как быть дальше. Как быть с тавром Кассандры?! Хочу...»

На этом страница обрывалась, а следующая начиналась с того же заклипания: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Так вот, мистер Борк, как быть дальше?

Позвольте мне, несмотря на мою идиотскую роль в этом деле, высказать кое-какие соображения. Возможно, они окажутся полезными.

Мистер Борк, тяжело говорить, но скажу. Заранее каюсь, что осмеливаюсь предлагать Вам такое. Но мне терять нечего. Я уже перед Вами виновен настолько, что теперь мне все ничем.

Я имею в виду, что Ордока можно обвинить, коли на то пошло, во лжи, поскольку он ссылался на личную с Вами беседу. Никаких свидетелей этой беседы не было и не могло быть. Вы с ним говорили по телефону. А возможно, и не говорили, а если говорили, то о чем-то другом. Это ход в его же, Ордока, стиле. Позором на позор. Разговор не записывался. Это я точно знаю. Ручаюсь. Решайте сами. Если сочтете такой ход возможным, я берусь организовать сенсационное опровержение. Масс-медиа схватят наживку с ходу.

Но есть, конечно, и совсем иной путь борьбы. Если Вы, мистер Борк, убеждены в правоте Филофея и готовы ради истины стоять на своем, я, в свою очередь, готов идти с Вами до конца, хотя моя роль здесь, разумеется, чисто вспомогательная. Я смог бы быть Вашим оруженосцем. А то, что Вам предстоит битва, если Вы решите не уклоняться, — это безусловно.

Положение складывается так, что в данный момент Вы один в поле воин, единственный, возможно, на всей планете человек, открыто принявший сторону космического монаха, защищающий его эсхатологическую концепцию. После того, что произошло на предвыборном митинге, после «единого народного фронта», сплоченно поддержавшего Ордока, те немногие, кто, возможно, и имеет что сказать в защиту открытия Филофея, воздержатся, смолчат. А основная масса...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!

Так вот, мистер Борк, судя по реакции избирателей на митинге, основная масса населения, можно даже утверждать, к сожалению, что, вероятно, практически все население страны настроено против космических экспериментов по выявлению тавра Кассандры. Люди не хотят слышать, не хотят знать о кассандро-эмбрионах, женщины не желают быть контролируемы зондаж-лучами. О событиях на митинге в «Альфа-Бейсбол» передали все информационные агентства. При этом рейтинг Ордока резко подскочил во всех штатах. Сейчас он по горячим следам сделал заявление, что будет неуклонно стоять на защите прав человека, неукоснительно охранять извечную святость женщины-матери и бороться с провокационными происками, как он выразился, филофейцев всех мастей, где бы они ни были — на Земле или в космосе. Вашу фотографию, мистер Борк, в эти часы постоянно демонстрируют на телеэкранах, сопровождая соответствующими комментариями. В Москве обнаружены фотографии Филофея, и они тоже пошли в ход.

Я пишу об этом, предполагая, что Вы не только отключили телефоны, но и выключили ТВ. Вы должны иметь представление о последствиях митинга, о том, как развиваются дальнейшие события. Боюсь, что этот процесс будет набирать силу, и он не подконтролен...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!

Так вот, мистер Борк, этот процесс не подконтролен, и потому Вы должны, мне думается, прежде всего решить для себя — какую позицию, какой путь действий Вы изберете в этих обстоятельствах. Ведь не исключено, что начнутся массовые протесты против того, чему уже дано название, — против «контролирования генофонда». Если вы готовите свою статью для «Трибюн», то продумайте, следует ли Вам появляться в редакции или лучше направить им материал факсом, телексом или через кого-то, потому что у входа в редакцию, как мне передали, уже толпятся пикетчики с плакатами, выкрикивая свои требования и угрозы. Они объявили, что будут вести круглосуточную осаду здания газеты. Полиция в таких случаях не всегда способна сдержать накаленную толпу. Извините, информация более чем неприятная.

И опять повторяю: Вы один в поле воин. Филофей — в космосе, он не доступен противникам, но и лишен возможности активно взаимодействовать с союзниками. Решайте, какой путь Вы избираете.

Вы поняли и поддержали то, чего не понимают или не хотят понимать из сиюминутных соображений другие, кому плевать на будущее, как и подобает временно проживающим на этом свете. Вы один, и это миссия одного. Почему так устроено, что великое свершение — чаще всего миссия одного, не знаю. В любом случае я с Вами, я готов Вам содействовать, готов делать все, что в моих силах, и не потому только, что, как я уже писал, чувствую себя виноватым перед Вами, так как это я подал Ордоку мысль побеседовать об открытии Филофея именно с Вами, а потому, главным образом, что я сам заразился идеями Филофея, его и Вашей озабоченностью будущим человечества. Возможно, до сих пор человек плутал, а теперь настало время сказать себе — или стань лучше, или готовься проследовать в палеонтологические пласты, как вымершие мамонты.

Извините, опять конец листа!»

«Ради Бога, только не отключайте факс. Я еще не все сказал... Мистер Борк, простите, буду ближе к делу. На мой взгляд, завтрашний — нет, он уже наступил, уже сегодняшний — день многое выявит. Уже начался шабаш сенсаций и слухов. Единственное, что может оказаться диссонансом в этой буре, — это Ваше выступление, Ваше виденье, Вапа убежденность и аргументированность суждений. Как Вы решили действовать? Будете ли устраивать пресс-конференцию? Если да, то я готов принять участие в организации, быть у Вас не подхват.

Далее. К Вам в Ньюбери непременно понаедут с утра и, очень возможно, без предупреждения репортеры. Если Вы не хотите с ними встречаться, не забудьте

вывесить где-нибудь на видном месте объявление, что Вы не желаете ни с кем видеться и просите не тревожить Вас.

Я бывал в Ньюбери, на гольф-полях, в пригородных парках. От нас, от Ридинга, где я живу, минут тридцать езды. Если пожелаете, я могу приехать, чтобы обсудить с Вами дела. Сообщаю Вам свои координаты на этот случай.

Мистер Борк, уже четвертый час ночи. А я все пишу и пишу в надежде, что мои факсы будут Вами прочитаны, когда Вы их обнаружите. Мне столько хотелось бы Вам сказать! Ведь события в мире, даже те, о которых повседневно сообщает пресса, свидетельствуют о кризисе цивилизации. В этих условиях само появление новорожденного на свет напоминает выход на минное поле. Но где оно, это минное поле, в каких пределах жизни кроется: в помыслах ли, в действиях людей, в учениях мировых или в практике дня, — указать перстом невозможно.

Вот только что показали по телевидению: в Москве на Красной площади — я так любил там бывать — произошло страшное. Столкнулись два лагеря демонстрантов: сторонников военно-промышленного комплекса и ратующих за конверсию. В результате одна девушка покончила с собой, сгорела у всех на глазах. Невозможно смотреть на эти сцены. Комментаторы сообщают, что взрыв страстей был вызван плакатом, с которым явился на митинг один студент, друг этой девушки, сгоревшей. На том плакате... Я сейчас продолжу... кончается лист».

«Ради Бога не отключайте факс, я должен рассказать о том, что произошло на Красной площади...»

Мистер Борк, дело в том, что надпись на этом плакате гласила: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!» И естественно, такое заявление было встречено бурей негодования именно тех, кого в России называют «оборонщиками», тех, кто оказался задействован государством и обществом, короче говоря, судьбой в военной промышленности, производящей средства уничтожения людей — от свинцовой пули-горошины (таких пулек «оборонщики» гарантируют сотню на каждого человека в мире) до сверхзвуковых самолетов, атомных подлодок, денно и ночно дежурящих в океанских глубинах, будучи готовыми по первому приказу к пуску межконтинентальных ракет. Это деньги и труд, выброшенные на ветер, — так считал и тот здравомыслящий студент. Наш американский ВПК заслуживает такого же отношения. Он тоже кует средства уничтожения себе подобных, тоже оправдывая это оборонными интересами.

Но, с другой стороны, и эти «себе подобные», которых следует по подобной логике убивать, для чего и изготавливается все необходимое оружие, тоже не ангелы, тоже вооружены до зубов и тоже жаждут убивать во имя своей сверхценной идеи (теперь самые действенные кличи — националистические), во имя справедливости и — не в последнюю очередь — во имя своих экономических интересов.

Круг замыкается. Впрочем, он никогда и не размыкался, и никогда не было выхода из него. И как было не вскричать от этого студенту, как было не написать на плакате собственной рукой то, о чем люди думали, быть может, с тех пор, как обрели речь, о чем порывалась душа человеческая сказать во всеуслышание на протяжении всех времен торжества войны и оружия над разумом. Создав водородную бомбу, Сахаров в России понял именно это — и остановился, и пошел наперекор судьбе.

Оружия на земле становится все больше и больше, все и всюду хотят быть вооруженными. И не о том ли сигналил тавро Кассандры на ликах забеременевших женщин, не об этом ли беззвучно вопиют в чревах кассандро-эмбрионы, если на каждого рождающегося в мире человека припасено как минимум по сотне разрывных пуль и если он заранее обречен убивать или быть убитым?! Как же не сказать об этом было тому студенту?! И несчастная девушка, спалившая себя на Красной площади, уж не проснулось ли в ней то, что было не услышано и заглушено в ней в зародыше, отмеченном кассандровым комплексом?! Но кому было дело до ее эсхатологических тревог?

И возникает мысль, пусть идеалистически нелепая: что было бы, если бы человечество развивалось, не изобретая оружия и не зная войн? Был бы человек тем существом, которым он является сейчас, была бы наша цивилизация такой, какова она сейчас, или нечто совершенно иное царило бы на земле, и человек был бы качественно иным? Разве такой путь развития был изначально исключен? А если да, то по какой неизбежной причине, тем более если разум дан человеку свыше, если разум — явление надбиологическое?!

Вот Филофей, удалившись в космос, приоткрыл слегка мировую завесу, но тут же стало ясно, что люди знать не хотят о тайном проклятии.

Мистер Борк, если открытия Филофея не вызовут ничего кроме протеста, я все равно буду в них верить. В них я нахожу объяснение апокалиптических терзаний духа, усугубляемых повсюду бесконечным нравственным развалом душ.

К чему нас создал Бог, так думается поневоле, когда узнаешь, что в Карабахе, на войне, преступно ведущейся многие годы между армянами и азербайджанцами, так называемые полевые командиры торгуют телами убитых. Родные и близкие должны выкупать павшего в бою, чтобы предать его земле. И это превратилось в бизнес! Есть случаи, когда пристреливают своего же солдата в спину, чтобы заработать на его труп. Когда я прочитал об этом в газете, мне стало дурно. Разве могут подобные злодеяния не сказываться на душе и плоти людей, не изменять постепенно наследственные структуры, не отражаться на потомках?!

Вот еще пример невообразимой жестокости. В одном турецком городе был подожжен отель, где проходила конференция литераторов в поддержку Салмана Рушди. Там живо сгорели не только участники конференции, но и обычные постояльцы. Все это сняли телерепортеры: здание в бушующем огне, заживо горящих людей, пожарных, пытающихся что-то сделать, а рядом — ликующую на площади огромную толпу фундаменталистской молодежи. Она славит устроителей пожара, она прыгает, танцует, воздевает кулаки, ликует, получает от этого страшного зрелища прямо-таки эротическое наслаждение. Возбужденные, мстительные лики молодых людей освещены смертным плясом пламени. И идет теле съемка. Но ведь это не игровое кино!

Где мы, что с нами? Не об этом ли мы должны спросить с себя и по поводу заживо сожженных турецких семей в Германии?.. Вы, наверное, читали в газетах?..

Список подобных злодеяний можно продолжать и продолжать, и одно будет стоить другого, при этом ясно видна неуклонная тенденция: злодеяния в самых разных странах становятся все чудовищней. Филофей доказал, что все это накапливается, сказываясь на генах.

Прежде я верил в разум как высшую функцию Вселенной, но разум оказался вечным заложником Зла. И станет ли он когда-либо свободным? Разве тавро Кассандры не вопиет именно об этом, не взывает к нам?!

Простите, мистер Борк, надо срочно сменить закладку в факсе...»

«Мистер Борк, ради Бога не гневайтесь, мои рассуждения слишком длинны и, боюсь, не столь Вам интересны. Но сегодня ночью отворились затворы моей души. Я понимаю, что происходит с Вами. И я опасаясь за Вас и рассчитываю на Ваше мужество.

Думая над создавшейся ситуацией, я прихожу к выводу, что Филофей, находясь на орбите, не может оставаться в стороне от того, что происходит на Земле. Если Вы не против, следовало бы найти способ в срочном порядке связаться с ним; технически это чрезвычайно сложно, но я попытался бы сделать это через своих друзей в телекомпаниях и космических институтах. Как Вы относитесь к этому? Если Вы согласны, дайте мне знать, и я сообщу Вам, насколько реальна подобная попытка.

И наконец, самое, с моей точки зрения, главное. Зачем нужна связь с Филофеем, ведь не для того же, чтобы только увидеть его на экране и поприветствовать? Мне представляется, что он должен ответить, и я не сомневаюсь, что такой ответ у него имеется, — каким путем он выявил тавро Кассандры и каковы доказательства того, что эта мета есть выражение негативного отношения эмбриона к будущей жизни, а не что-либо другое. Из его послания папе римскому это не совсем ясно. Наверное, и Вы обратили внимание на определенную в этом смысле недосказанность. Думаю, что и другие, особенно ученые-биологи, могут поставить перед ним этот вопрос. Так вот, мне представляется важным, чтобы Филофей объяснил то, что осталось неясным, ответил на вопросы.

Предоставьте мне возможность организовать связь с Филофеем. Вы же, не мне Вас учить, срочно готовьте необходимую философскую аргументацию.

Нам придется столкнуться с последствиями того, что учинил в умах улицы Оливер Ордок. Но такова судьба. И мы должны победить. Ради той же улицы! Ваш Энтони Юнгер.

P.S. Если потребуются мои координаты — номера домашнего факса, телефона, адрес, — они на этих листах. Служебные — не нужны, там я больше не появлюсь...»

Было уже полпятого утра. Роберт Борк молча сидел над лежащими на письменном столе факсами. Джесси тоже была здесь, она тоже прочла их.

— Боже мой, что творится! что творится! — повторяла она уже в который раз.

— Ты бы прилегла, — посоветовал ей муж.

— Если ты хочешь остаться один, я сейчас уйду. Но вряд ли я засну. Мне не по себе. Я понимала — все это очень серьезно, но не представляла себе, что все в такой степени осложнится. Не знаю, что и сказать.

— Да, Джесси. Энтони Юнгер прав. Абсолютно прав, — задумчиво отозвался Борк. — Он послан нам самой судьбой. И его подход — это уже подход нового поколения. Иное мировосприятие. И умение действовать. Сразу чувствуется. Сам бы я, кроме статьи — а она получилась огромная, не знаю, на целую полосу, — сам я вряд ли стал бы что-нибудь еще предпринимать. Мы с тобой наглухо закрылись в доме. Но полностью изолироваться от происходящего невозможно. То, что Ордок спровоцировал...

— Лучше сказать — с цепи спустил!

— Да, с цепи спустил. Эта сила, которую он с цепи спустил, — страшная сила. И Ордок сознательно натравливает массы на Филофея и на меня.

— А ты уверен, что один сможешь переубедить стольких, уже настроенных против?

— Я не отступлю. Буду доказывать. Но как обернется, трудно сказать. Открытие феномена кассандро-эмбриона наносит сокрушительный удар по устоявшимся представлениям, по существующему образу жизни, по сложившемуся стереотипу мышления. Признать эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов значит подвергнуть сомнению все от и до, и прежде всего политические, социальные устройства, моральные устои. Ясно, что такая ломка всех стереотипов не устраивает никого, начиная от зачавшей женщины и кончая таким типом, как Ордок. Оттого и сопротивление, переходящее в агрессию.

— Но ведь они видят агрессора в самом Филофее!

— Да, они видят в нем агрессора. Для меня он пророк, для других — сатана. Возникла дилемма: или мы будем жить по-прежнему, в обстановке всеобщего самообмана, жить так, как жили всегда, или сумеем, осмыслив причины увеличения количества кассандро-эмбрионов, предупредить неизбежный апокалиптический обвал. Вот какой выбор стоит перед человечеством.

— Филофей сам пишет, что его открытие столь же неожиданное для людей, как если бы на небе появилось второе солнце. Но ведь это второе солнце может разрушить вековой уклад жизни! К тому же ваши противники обвиняют Филофея и в том, что его эксперименты есть нарушение прав человека. Куда больше?! Что ты на это скажешь?

— Нет, это не нарушение прав человека! На мой взгляд, нет. Я об этом пишу. Можешь прочесть. Знать о тавре Кассандры — наш долг, долг общества и долг личности, прежде всего долг зачавшей женщины, она сама должна быть заинтересована, если на то пошло, проверить, не посылает ли зародыш из ее чрева эсхатологические сигналы. Статистические данные, касающиеся кассандро-эмбрионов, со временем станут одним из самых приоритетных социологических показателей, по которым будут судить о состоянии и развитии общества.

— Я с тобой, Роберт, допустим, согласна. Но если другие не захотят всего этого принимать? Если ты никого не убедишь?

— Многое будет зависеть от обстоятельств, от общей обстановки. Энтони Юнгер совершенно прав, да, надо подключить самого Филофея. Главный его козырь — данные научных наблюдений, с помощью которых был установлен эсхатологический характер реакции кассандро-эмбрионов. Нужно, чтобы он эти данные обнародовал. И все вместе взятое, от биологических факторов до философских выводов из них, нужно публично изложить еще раз, скажем, на пресс-конференции. И важно, чтобы сам Филофей был в прямом эфире! Если Юнгер сумеет осуществить свою идею, будет здорово. Я целиком — за. Сейчас пошлю ему факс, а дальше посмотрим, проживем — увидим...

Они замолчали, оба в халатах, взлохмаченные, осунувшиеся за ночь и как бы не принадлежащие самим себе — впервые им в жизни выпала ночь нескончаемой тревоги, обнажившей за пределами их обычных забот нечто грозное, что надвигалось на них. Так расширяется Вселенная через боль и страдания.

Было уже светло за окнами, наступало утро.

День обещал быть, как и минувший, ясным, по-осеннему хрупким и ярким. Слышались отдаленные голоса птиц — опять собирались спозаранку отлетающие стаи. Роберт Борк представил себе, как они кружат в небе под лесным взгорьем, над гольф-полями и как они тронутся в дальний путь, полетят берегом океана, над бурлящей внизу белой каймой прибоя; хотелось вместе с ними двинуться, улететь отсюда, но предстояло продолжать то, что обернулось вдруг непреложным делом жизни.

О том, что мир не оставил их, не забыл и не собирался забывать, с наступлением утра стало ясно. А началось все с того, что поступил факс от дочери из Чикаго. Эрика писала в недоумении и тревоге: «Всю ночь не могла дозвониться. Ваши телефоны отключены, факс занят. Папа, что происходит? К чему ты все это затеял? Чикаго бурлит. Все против. Мы с Джоном в шоке. Умоляю: остановись. Мама, куда ты смотришь?!»

Джесси, естественно, сильно нервничает:

— Что делать, Роберт? Ты — отец. Дочь разволновалась, а она беременна. Зять тоже не в восторге. Я понимаю Джона: он член директорского совета, ему придется там выбрать линию поведения. Мы не можем не думать об этом.

— Правильно, все правильно, — вынужден был соглашаться Борк. — Но что я могу сказать в данной ситуации? Дело не исчерпывается семейным кругом. Если бы так!.. Успокойся, Джесси. Я напишу Эрике, позвоню, постараюсь объяснить, постараюсь успокоить. А потом молодые тоже ведь должны думать своей головой. Разумеется, для них, особенно для Джона, процветание компании прежде всего. Но жизнь за пределами автокомпании тоже существует, и ее проблемы не менее важны для всех и каждого. Ничего не имею против — хорошая пара, счастливы. Но сама понимаешь, эгоизм, социальный, кстати, должен иметь какие-то пределы.

— Ой, Роберт, тебе бы только лекции читать. Ладно, не забудь, когда освободишься, отправь Эрике факс, — с этими словами Джесси засобиралась, накидывая на плечи шерстяную кофточку. Вяла-таки совету Юнгера, отправилась пораньше вывесить объявление — просьбу к возможным посетителям не беспокоить и свои извинения в этой связи. Она уходила в сопровождении патлатой кошки, которую они дома считали кошко-собакой, поскольку это домашнее животное, будучи кошкой, умело быть, если не совсем, то почти собакой. Так по крайней мере угодно было думать хозяевам.

Когда Джесси уходила, хлопая дверьми, на ходу причесываясь и что-то говоря бегущей рядом кошко-собаке, Роберт Борк сел за факс передать законченную за ночь статью в «Трибюн», чтобы к приходу сотрудников редакции материал лежал у них на столах и с ходу был запущен в работу. То, что статья будет экстренно напечатана, у него не было сомнений; он сделал даже требовательную приписку, что текст может быть напечатан только в том виде, как предлагает автор, что никакие изменения недопустимы. Сомневаться в том, что статью напечатают, не приходилось по той простой причине, что у «Трибюн» иного выхода и не оставалось. Отважившись на публикацию космического послания Филофея, газета не могла поступиться позицией — помимо всего прочего, она должна была сохранить свое лицо. Это был случай в своем роде беспрецедентный, когда газета могла сказать себе только так — быть или не быть...

Но о том, что могло последовать затем, тоже гадать не приходилось. Схватка вокруг газеты, вокруг Филофея и теперь уже вокруг его, Борка, имени обещала быть с первых же утренних часов жестокой и беспощадной. Если называть вещи своими именами, то предстояла борьба именно не на жизнь, а на смерть...

Четко отбивая каждую операцию сигнальным звонком, телефакс глотал предлагаемый ему текст страницу за страницей. И хорошо, что успел пропустить. Минуту спустя Роберт Борк уловил, что на улице происходит что-то неладное: в дом вбежала их кошка, вся такая взъерошенная, точно ей повстречался вдруг во дворе ненавистный ей приبلудный пес, что служило порою причиной долгого ее раздражения. Но вслед за этим Борк увидел через стекло, как нервно бежит по террасе в дом Джесси, сжимая в руках ворох каких-то бумаг и картон. Она ворвалась вне себя, бледная и задыхающаяся. Можно было подумать, что ее душили на улице, и вот она вырвалась из рук.

— Что случилось, что с тобой? — невольно подался к ней муж.

— Роберт! Это страшно, это невероятно! Выхожу, а какие-то негодяи, они там, за углом, поставили машины и сами стоят там... вот смотри, что они понаклеили!

Джесси швырнула на стол вместе с газетами то, что она содрала со стены и принесла с собой с улицы, — хамские, оскорбительные надписи, наспех намалеванные красками. Глянув на них, Борк и сам остолбенел. «Нам стыдно, что Борк живет на нашей улице!» — должно быть, кто-то из соседей писал. И еще: «Женоненавистник, чревокопатель Борк, вон из нашего Ньюбери!», «Феминистки Ньюбери презирают Борка!» Другие еще круче: «Борк — подлец!», «Борк — агент КГБ!», «Борку пулю в лоб!», «Не попадайся мне на углу, старик, придушу!» — Эмбрион по фамилии Кассандровый».

— Стало быть, решили начать с утра пораньше! — пробормотал Борк в замешательстве.

— С утра! Как видишь, с утра! А что будет дальше, Роберт?! Что же будет? Это же ему непостижимо!

Роберт Борк зашагал по комнате, стискивая руки за спиной так, что становилось больно.

— Нам следует быть готовыми ко всему, — жестко сказал он жене, стараясь не сорваться на крик. И это было очень трудно — сдерживаться, когда вскипала кровь. — Раз уж такое началось, надо ждать худшего. Все это могло иметь более цивилизованные формы, если бы не вчерашний митинг. Ордок сдернул узду с событий, черт его подери!

— Если бы ты видел! — кивнула Джесси на улицу. — С каким хамским видом стоят они на углу. Какие-то типы. Покуривают возле своих машин. Я стала сдирать со стены эти гадости, а они мне свистят, хохочут.

— Какие они с виду? Местные?

— Откуда мне знать. В джинсах, в куртках, как обычно. По-моему, среди них и женщины.

— Ну, ясно, — пробормотал Борк, хотя ничего ясного не было.

— В полицию надо обратиться, Роберт. Звони в полицию. Пусть принимают меры.

— Не спеши, успеем позвонить. Надо подождать. Если что, тогда — конечно.

— Да ведь это последняя степень падения! Это за пределами мыслимого! А ты — подождать! — Джесси опустила на стул и снова зарыдала.

— Джесси, милая, дорогая моя! Ну что ты так, ну возьми себя в руки! — склонившись к ней, беспомощно бормотал Борк, а она уже не могла говорить и только всхлипывала:

— Если бы ты знал! Если бы ты знал!

— Я принесу тебе успокоительное. Я сейчас, Джесси, перестань. Я сейчас!

Он бросился к ней в спальню за каплями, наткнулся на дверь, ударился о ее край и в этот момент заметил в углу валявшийся на полу скомканный кусок бумаги. Он понял, что это Джесси швырнула на ходу какой-то из листков. Что же там было такое, что она, даже будучи в полубезумье, откинула его прочь, чтобы муж не видел? Он прочел и понял. Дурно стало. «Борк, подставь задницу Филофею, а то у него бабы-то нет в космосе!» И соответствующий тому рисунок. И подпись: «Привет. Кассандро-эмбрион».

Он не помнил, как вышел во внутренний дворик, в свой каменный сад. И хотя призывал себя не поддаваться моральному террору, настраивал себя на то, что нужно прощать людям, не ведающим, что творят они слепу и по убожеству ума, убеждал себя, что ему надлежит быть выше всей этой низости, легче не становилось. Вот и случилось: там, где посещали его, бывало, высокие думы и виделись внутреннему взору очертания вечности, не поддающиеся объяснению словом, и что пытался он выразить, вычерчивая на песке некие таинственные знаки, над которыми жена посмеивалась, теперь пришлось ему сидеть, по-скотски униженному и оскорбленному. Не ирония ли, не издевка ли это судьбы за элитарность и непростительное для его возраста прекраснодушие? Как малоопытен он оказался, как плохо знал, сколь жесток и мстителен мир. Вот и вкусил похабщины на склоне лет.

Солнце, появившееся над горизонтом, казалось пустым, ненужным. Не хотелось ничего ни видеть, ни слышать.

Он машинально развернул газету, которую почему-то держал в руках, когда выходил из дому. Это была местная ньюберийская газетка, экстренный выпуск. И опять он убедился, что быть ему волком в облаве. На первой полосе под большим аншлагом был помещен отчет с пресс-конференции Оливера Ордока, которую тот провел по завершении предвыборного митинга. Материал был получен от Ассошиэйтед Пресс. Фотография Ордока, и не одна, крупным планом —

Ордок, яростно жестикулирующий на трибуне. И через всю полосу его слова: «Большевицкая чистка генофонда — не пройдет!»

Вот он куда швырнул копьё: поскольку Филофей русский — то, значит, большевик. Абсурдно, но эффектно! Теперь понятно, почему в одном из листовок Борка называли агентом КГБ. Все шло из одного загаженного источника. Ни говорить, ни думать об этом не хотелось. Угнетающая пустынность души.

Он обернулся, когда рядом раздался голос жены. Опухшая от слез, Джесси пыталась взять себя в руки.

— Вот только что срочный факс пришел от Энтони, — сказала она, присаживаясь рядом.

«Мистер Борк, — писал Энтони Юнгер. — Нам надо срочно поговорить по телефону. Пожалуйста, включитесь, отзовитесь. Речь пойдет о космическом телемосте. Если удастся его наладить, мы раскроем людям глаза. Над обсудить, сможем ли мы установить технику у вас дома. Мистер Борк, кругом на нас наступают, но не падайте духом. Я буду звонить через 10 минут. Ваш Энтони Юнгер».

— Это уже дело. Энтони действует! — оживился Борк. — И вообще, надо включить телефоны, Джесси. Пусть звонят, куда мы не денемся от звонков. Не сидеть же, отгородившись от мира!

— Пожалуй, ты прав. И вот еще одно послание следом пришло, — сказала Джесси. Это был факс от ректора университета. Тот писал: «Мистер Борк, в ваших интересах очень прошу, не приезжайте в университет читать лекции».

— Все понятно, — проговорил Борк. — Пошли к телефону.

Звонок Энтони Юнгера был светлым лучом в то страшное утро:

— Мистер Борк, рад вас слышать. Факс хорошо, но слышать голос лучше.

— Ну, еще бы! Конечно! — отозвался Борк как можно более уверенным тоном. — И супруга моя, Джесси, приветствует тебя, Энтони.

— Очень хорошо. Спасибо ей. Думаю, что мы все увидимся сегодня. Очень нужно было бы.

— Слово за тобой, Энтони, предлагай. Твои ночные факсы спасли нас от заточения в башне из слоновой кости. Позволь посмеяться хотя бы над собой. Ну а как дальше? Надеюсь, что есть какие-то перспективы?

— Есть целая программа действий. Но прежде всего я хочу сказать вам, чтобы вы знали, мистер Борк, ваша статья, которую получила редакция, возможно, уже передается в космос Филофею, я это уточню через несколько минут. И делается это не только для того, чтобы познакомиться Филофея с его первым земным, назову Вас так, — партнером по космогенетике. Так вот, возможно, Филофей уже знакомится с вашим текстом. Мы хотим организовать телемост и провести пресс-конференцию, в которой будут участвовать Филофей и вы.

— Энтони, дорогой, это захватывающе по замыслу. Но не представляю, как все это можно устроить. Да еще за такое короткое время.

— Не волнуйтесь, мистер Борк! Я не один. У меня верные друзья, большие связи, «Трибюн» целиком на нашей стороне, и она действует, если хотите, ради своего выживания. Но самое главное — все ретрансляторы телемоста заинтересованы в этой акции как в мировом шоу и, мало того, уже подсчитывают свои неожиданные и немалые прибыли от катающихся на льду. И поэтому работают вовсю.

— То есть? Кто катается на льду?

— Извините. Наверное, дурацкое сравнение. Да, мы на скользком льду. Но не будем сейчас об этом. Извините, я останавливаю себя. Времени в обрез. Я продолжу разговор из машины. Мы едем к вам, в Ньюбери. Нас четверо, я и трое ребят, отличных настройщиков космической связи из НАСА. Итак, нас четверо, на двух машинах. Одна машина — джип-фургон с техническим оборудованием. Все остальное объясню с пути. Мы рассчитываем быть у вас в Ньюбери минут через сорок, а то и раньше. Насколько я разобрался по карте, ваш дом в полумиле от супермаркета «Конферанс», не так ли?

— Да, точно, в трех кварталах.

— О'кей! Стало быть, мы выезжаем. Итак, только не смейтесь, я — начальник штаба операции, Филофей — маршал космоса, а вы...

— Я подполковник при Джесси, — нашелся Борк.

— Одну минутку, Энтони. Я понимаю, времени мало, но ты молодой человек и вообще, так что имей в виду, расходы по космической связи с моим домом я беру на себя.

— Поздно, мистер Борк. Заинтересованные телекомпании все финансируют сами. У них свои виды. Не волнуйтесь. Впрочем, я тоже кое-что могу. Отец мой



был известным адвокатом, так что... Не думайте об этой стороне дела. Думайте о кассандро-эмбрионах, о Филофее.

— Об Ордоке, — добавил Борк.

— В первую очередь. Он тоже разворачивает боевые действия. Об этом — с пути. Да, мистер Борк, извините, но я не рекомендовал бы вам выходить за пределы дома и вашей жене тоже. Даже в супермаркет. Воздержитесь. Не надо сегодня. Мы все привезем с собой. Выезжаем.

Вскоре он позвонил с дороги. И этот небольшой промежуток времени между звонками показался супругам Боркам бесконечным, как после посадки на поезд с вещами, когда все, что было до того, осталось позади, как бы исчезло за горизонтом, а поезд не трогается. Они вдруг поняли, что их жизнь обрела иной темп — жесткий, измеряемый минутами от события до события, и что наступает решающий момент их судьбы. Не какой-то загадочной, неопределенной участи, а той, что складывалась из побуждений и действий вплотную приблизившихся к ним враждебных сил.

— Мы уже выезжаем на автобан, — сообщал Энтони Юнгер. — Движение нормальное, пробок не вижу, должны прибыть вовремя, а пока поговорим о делах.

— Я слушаю, Энтони, мне хотелось бы знать, что происходит. Мы с Джесси несколько самоизолировались, ты знаешь, даже телевизор и радио не включаем.

— Мистер Борк, не буду преуменьшать, положение очень серьезное. Вы должны знать, что везде, во всех странах, картина одинакова — массовое неприятие.

— Мм-да, — пробормотал в трубку Борк. — Энтони, насколько я понимаю, люди не в состоянии воспринять кассандро-эмбрионов как объективно существующую реальность. Да, конечно, это тяжелый психологический удар, возникает необходимость пересмотра всех жизненных основ. Так лучше отвергнуть, лучше затоптать змею сомнения.

— Вот именно, — отозвался Энтони. — Я бы сравнил это с тем, как если бы в конструкции моста, к примеру такого, как в Сан-Франциско над заливом, были обнаружены дефекты, но еще можно было бы ездить. Так зачем об этом думать? Скорей, скорей, побольше перевезти груза, а другие пусть думают потом, как быть с мостом. Но я хотел бы обратить ваше внимание, мистер Борк, пока у нас еще есть немного времени в пути — за рулем один из операторов, и я могу спокойно говорить с вами, — ну так вот, обратить ваше внимание на прелюбопытные вещи, а вы уж делайте выводы. Я перелистал газеты, слушал радио, телевидение и обнаружил две негативно-воинственные тенденции в отношении к открытию Филофея. Очень сильно задеты националистические самонения. В Израиле это воспринято как попытка извести таким образом генофонд израильтян. Брошен клич найти щит против зондаж-лучей, изобрести нейтронизатор филофеевского облучения. В России мощное движение протеста вылилось в демонстрации с требованием немедленно вернуть Филофея из космоса, никакой он, мол, не монах, и, главное, — хватит нам одной перестройки, хватит гайдаровских реформ, не допустим генетической перестройки русского народа. Филофей — это Горбачев в космосе! Он служит Америке! Он хочет поставить Россию на колени! — Вот куда пошли страсти.

— Ну, это совсем печально, очень тяжело слышать, мне просто больно стало. Как же быть? — заволновался Роберт Борк.

— Но вы послушайте дальше. В Китае увидели опасность совсем в другом — в том, что это способ обесценить значимость их демографического превосходства. Там лозунг — не допустим демографической культивации! А в Индии брошен призыв замазывать тавро Кассандры ритуальным пятном.

— Ой-ой-ой, — поражался Борк, что творится, Энтони!

— Но меня больше поражает другое, мистер Борк, вот интересно, что вы скажете на это. В Гамбурге с истеричным протестом выступили проститутки и сутенеры, знаменитые, припортовые. В Сицилии мафиози организовали, можно сказать, всенародный поход по набережной Палермо. В Латинской Америке многочисленные протесты стихийного характера, особенно в районах подпольных наркоплантаций. Даже порноиндустрия на осталась в стороне — тоже протестует. Да, террористические организации, всевозможные революционеры — все яростно против. Будь Филофей в пределах досягаемости, они бы его... Кстати, военные круги в разных странах тоже очень недовольны. И что не совсем понятно — продюсеры кинобоевиков подняли голос.

— Ну, видишь ли, Энтони, — отозвался Роберт Борк, — я склонен полагать, что тут дает себя знать корпоративно-профессиональная стайность. Любая стая хочет жить и умножаться. Я бы так сказал. А тавро Кассандры на их

пути — великая помеха, в перспективе им грозит остаться невостребованными — в обществе ослабеет потребность во многих из этих групп. И вот срабатывает инстинкт самосохранения, стая улавливает неблагоприятную ситуацию. И я их понимаю. Алло, алло, Энтони, что-то плохо стало слышно.

— Я прекрасно слышу вас, продолжайте, это очень интересный подход.

— Так вот. Да, слышимость наладилась. Так вот, я продолжу. Если под влиянием филофеевских открытий изменится менталитет человечества, если род людской будет по-иному смотреть на себя, постоянно прислушиваясь к сигналам эмбрионов, то предрасположенность к негативной самореализации индивида может заметно уменьшиться. И вряд ли кого тогда потянет заниматься сутенерством — в обществе, где не будет на то спроса, как не будет прежнего широкого набора проституток, и не только гамбургских. И мафии — то же самое, бандитизм, преступность — все взаимосвязано. И если в результате превентивных усилий поколений, для которых тавро Кассандры будет не позором, а предупреждением и, главное, — стимулом постоянного самосовершенствования людей, исчезнет генетическая предрасположенность к негативной самореализации индивида, то оправдан и переживаемый кризис. Невольно задаешься вопросом...

— Мистер Борк, не хотели бы вы высказать эти мысли во время космического телемоста?

— А почему бы и нет? Вопрос в другом: захотят ли меня слушать и услышать? Ведь протестующие, которых ты упоминал, боятся пасть в собственных глазах, боятся лишиться стабильности. Ведь в дальнейшем должны произойти коренные изменения в мышлении, которое станет отторгать все порочное, губительное в бытии, то, чего инстинктивно так опасаются кассандро-эмбрионы. Причем преобразование самосознания произойдет не в связи с благими моральными пожеланиями, это будет единственным реальным условием выживания и прогресса. В данный момент все это невозможно даже представить себе.

— Кстати, мистер Борк, уже много информации о протестах различных религиозных общин.

— Это и понятно. Тавро Кассандры по природе своей касается всех и вся в одинаковой степени. Реакция кассандро-эмбриона в этом смысле универсальна. Силам же, эксплуатирующим разделенность человечества на группы, блоки, течения, на своих и чужих и духовно паразитирующим на этой разделенности и противопоставленности, кассандро-эмбрионы совсем ни к чему. Они для них помеха, смута, общая, а не сектантская проблема. Такие силы будут всячески порочить Филофея и его открытие на всех языках и наречиях. Тут для меня ничего удивительного...

— Я с вами и в этом согласен, мистер Борк, мне этот разговор многое еще больше прояснил. Но извините, вынужден прерваться на минутку. Меня срочно по кодовому телефону. Нет, нет, вы не кладите трубку. Я сейчас узнаю, в чем дело, и мы продолжим. (Алло, алло. Какие новости? Да? Вон оно что! Это не совсем хорошо. Есть. Все понятно. Будем действовать.) Мистер Борк, извините, пожалуйста. Как говорится, по имеющимся сведениям, ситуация продолжает усложняться. Я попросил бы вас позвонить в местную полицию, предупредить, что к вашему дому от стоянки у супермаркета направляется сейчас большая группа демонстрантов. Ясное дело, будут протестовать, шуметь под вашими окнами.

— Хорошо, Энтони, я сейчас позвоню в полицию. Жена давно уже предлагала это сделать, да я как-то не торопился. Нам уже с раннего утра клеили на стены разные листки. Джесси сейчас сама пойдет звонить полицейским.

— Да, мистер Борк, эта мера предосторожности будет не лишней. Тем более мне сказали только что, что «Трибюн» с вашей статьей уже выкинута читателям. Экстренный выпуск.

— Вот как?! — нервно воскликнул Роберт Борк. — Стало быть, газетчики времени не теряли.

— Естественно. Вы крупнейший футуролог, и ваше слово сейчас на вес золота. Конечно, вокруг статьи закипят сейчас такие страсти! Это первый пушечный выстрел из осажденной крепости. Но это и единственный выстрел по Ордоку. Не скрою, меня это сильно огорчает. Думаю, что люди, разделяющие вашу позицию, есть и что их немало. Нестандартно мыслящие интеллектуалы не могут не задуматься над феноменом кассандро-эмбрионов. Ведь это поворотный пункт нашего самопознания. Когда такое бывало в истории?! И казалось бы, все, кто ухватывает смысл этого явления, должны бы запеть весенними птицами на ветвях. Но — и я больше чем уверен в этом — к сожалению, подавляющее большинство интеллектуалов не посмеют встать против течения, сшибающего с

ног. И в этом — весь он, элитарный субъект, против толпы — нет, не поднимет голоса, за углом перестойт. А тем временем Ордок бегаёт с факелом, буквально запалил мировой пожар в умах и в душах, успел подчинить себе и поднять плебс. Все вокруг кликом кличут. Всем не терпится действовать, сбиваться в толпы. Если уж проститутки вышли организованно на митинг, то что говорить об остальных?!

— Энтони, извини, я перебыю, хочу сказать к слову, как старший по возрасту. Ты еще совсем молод, и, когда ты говоришь о проститутках, тебе смешновато, я понимаю. А мне это представляется очень печальным. Конечно, они во все времена вели себя соответственно своему занятию, но такого, чтобы проститутки публично выходили ватагой на митинг протеста, такого, прости меня, я не слышал. Несмотря на профессиональный цинизм и самоуверенность, свойственную им, пришлось бедным проституткам и тут ощутить свою зависимость от жизненных обстоятельств. А ведь знак Кассандры — это плач по таким вот загубленным в генетических чашах цветам.

— Их подбили на выступление сутенеры от политики, как подбили они и других. Думаю, что сейчас и сам Ордок не в состоянии контролировать джина, которого он выпустил из бутылки. Зачем далеко ходить за примерами. Вот я смотрю, что происходит на дороге. Смотрю и догадываюсь, что многие машины, обгоняя нас, мчатся именно к вам, в Ньюбери. И почти все в машинах, как и я, кстати, что-то кричат в телефоны. Выражение лиц не обещает ничего хорошего. В каждой машине народу битком. Мне сказали, что собираться они будут на стоянке у супермаркета.

— Ну да, Энтони, там очень удобное место для сборищ такого рода.

— Но если бы только там! Извините, меня опять отвлекают. (Алло, я слушаю, да, я Энтони Юнгер. Слушаю. Ясно. Да, да, говори, я слушаю. Я так и полагаю. Хорошо. Держи меня постоянно в курсе. Понятно. О'кей!) Мистер Борк, вот только что сообщили — в Нью-Йорке на улицах толпы демонстрантов. Особенно большое скопление народа перед зданием ООН. Полиция едва сдерживает. Демонстранты требуют санкции на удаление Филофея из космоса. Это уже международная акция. Что характерно, впереди идут зачавшие женщины, отмеченные в последние дни тавром Кассандры. Они с подкрашенными лбами и с плакатами: «Смотрите, нас клеймили тавром Кассандры. Спасите нас!» И многие мужчины и женщины, в знак солидарности, тоже идут с перечеркнутыми крест-накрест лбами. Вот такая ситуация.

— Да, Энтони, хорошего мало, что и говорить.

— Обсудим при встрече. Скоро будем. Главное, мистер Борк, установить аппаратуру, выйти на связь с Филофеем и тогда вместе подумать.

— Жду, Энтони. Я уже слышу возле дома какие-то голоса. Джесси побежала закрывать гараж. Вижу в окно. Какие-то типы кидают камни в бассейн — хулиганят. Надеюсь, полиция сейчас прибудет. Жду. Да, извини, Энтони, а сколько времени потребуется для налаживания связи с Филофеем?

— Ребята говорят, что-то около часа, ну, может, чуть побольше. Там видно будет. Тогда вы сумеете поговорить с Филофеем, так сказать, с глазу на глаз. Мне сообщили, что он уже получил по факсу отпечаток вашей статьи. Нужно будет договориться о стратегии и тактике, как провести пресс-конференцию. Ну, по приезде еще поговорим. Мы скоро, ждите!

Шум на улице нарастал. В окно было видно, как спешили выходявшие из машин и те, что шли пешком от автостоянки у супермаркета. Собравшиеся стояли у ограды под деревьями, о чем-то оживленно переговариваясь, намалёванные краской плакаты и призывы уже держали на виду. Все — на одну тему, с открытыми угрозами: «Борк — тебе нет пощады!», «Задавим в берлоге демонстра лжеучения!», «Выжечь на лбу профессора тавро Кассандры!», «Кто попирает права человека, тот сам их лишится!», «Мы не обязаны терпеть террориста от науки!», «Борк — подручный сатаны!», «Филофея и Борка — на одну перекладину!» и еще и еще...

И лихорадочно думалось Борку — кто они, эти люди? Почему и зачем они разом явились сюда? Никогда не виделись, не знали, не подозревали о существовании друг друга. И вот пробил час — и сошлись. И теперь они гудят на улице в ожидании какого-то действия — белые, черные, мужчины и женщины, молодые и старые, приехавшие кто с громкоговорителем, кто с фото- и киноаппаратурой, многие с радиотелефонами, по которым они живо переговаривались с кем-то, находившимся в другом месте. И как странно, невероятно было убеждаться в том, что это именно та сила, о которой прежде он судил по историческим исследовани-

ям и теоретическим статьям, которую видел отображенной на живописных полотнах, в театральных постановках и киносюжетах, авторы которых пытались обрисовать толпу и понять, чем объясняется непредсказуемость ее поведения.

И вот они здесь, те, что явились толпой. Они вплотную стоят вдоль ограды, из окон видны их лица. Чего они хотят добиться, чего жаждут? Какого исхода? Их руки незримо обжигает факел — эстафета от Варфоломеевской ночи, их ноги натываются на окровавленные булыжники римских бунтов, над головами — надсадный гул громадного осинового роя, ищущего выхода в излиянии яда. Вина ли их в том, беда ли, или некая чумная сверхсила согнала их сюда в наказание? Как быть, что сказать им, совсем недавно еще потрясавшим на площадях само небо криками восторга и преданности из сотен тысяч глоток при виде неотразимого фюрера, кидавшимся по мановению его руки по колено в крови и на запад, и на восток, и на юг, и на север; что сказать им, совсем недавно еще топтавшим друг друга в смертодавке перед гробом Сталина, чтобы только ухватить краем глаза облик обожаемого до мочеиспускания и тотчас изойти вместе с ним в иные миры, удаляясь в черном полете над континентом расстрелов и казней; что сказать им, вчера еще бежавшим ревущей ночной толпой по тегеранскому летному полю навстречу взлетающему авиалайнеру иранского шахиншаха, спасающегося от расправы и едва успевшего пронестись над головами пытавшихся ухватиться за шасси? Еще долго бежала обезумевшая толпа по взлетному полю, и мигали, удаляясь в выси, огни самолета, и стояли в небе не подвластные людям звезды, и бесновались эти люди, сжигаемые жаждой несостоявшейся мести, взывая к Аллаху вернуть тот самолет немедленно назад...

И вот толпа здесь, на новом перепутье, у ворот его дома...

Он стоял у окна, рядом стояла Джесси. Их разговор чем-то напоминал плавание в безвоздушном пространстве:

— Слушай, Роберт, они не шутят.

— Совсем даже нет.

— Что же делать?

— Думаю, что мне надо появиться, я должен выйти к ним.

— Да ты что, Роберт?! Ты в своем уме?

— Вполне. Они должны понять, что я не прячусь от них. Я хочу, чтобы они знали: бунт не может остановить генетическую деградацию, наоборот, насилие лишь ускорит приближение апокалиптического финала. Я хочу сказать им, что тавро Кассандры — это вызов, брошенный нам судьбой. Каждый сигнал кассандро-эмбриона касается всех нас. И если мы это поймем, то есть выход, есть шанс. Надо оглянуться, чтобы увидеть, что впереди.

— Замечательно, но прежде подумай, Роберт, кому ты все это собираешься объяснить. Это же не университетская лекция. Кто тебя будет слушать? Они не для этого сюда пришли!

— У меня нет другого выхода.

— То есть как? Ты же сам говоришь, что сейчас Энтони наладит связь с космосом, ты увидишь Филофея и сможешь все обсудить с ним, а вечером вы вместе с Филофеем проведете пресс-конференцию, изложите свое понимание проблемы. И люди, я надеюсь, поймут, наконец, что вы им блага желаете, а не зла.

— Пока я тебя слушаю, я соглашаюсь с тобой, Джесси, но только пока слушаю. Ведь эти люди, стоящие тут, не будут ждать пресс-конференции. Им нужна немедленная разрядка, они жаждут действий. Смотри сама, видишь, они все прибывают и прибывают, и чем больше их собирается, тем они становятся агрессивней. Пока не поздно, я должен открыто поговорить с ними.

— Не знаю, Роберт. Ты рискуешь.

— Что значит — рискую? Я должен объяснить им, что я думаю об открытии Филофея.

— Ты уже объяснил это в своей статье.

— Этого мало. Или вообще ничто. Эти люди не читают статей.

— Роберт, смотри, что они делают, — они жгут твои портреты!

— Мои портреты? Я что, политический лидер?

— Смотри! Это увеличенные ксероксы с твоей фотографии.

— Что я могу сказать. Жалко, сжигают бумагу.

— Но где же полиция?

— А причем тут полиция? Полиция прибыла. Вон трое стоят сбоку от въезда. Ты разве не заметила их?

— Всего трое? Что же они молчат?

— А что они могут? Кому-то нравится жесть чьи-то портреты. Вот и все.

— Сколько раз видела подобное по телевизору. И вот в натуре. Как в Индии какой-то. В точности, как там! Ой, поскорее бы уж Энтони приехал! Как ты думаешь, почему их нет?

— Не знаю. В это время пробки бывают. Сама знаешь.

Они замолчали. Не хотелось ни сидеть, ни стоять, ни говорить, ни молчать.

А в это время толпа, загудев, задвигавшись, стала скандировать, как по команде: «Борка к ответу! Борка к ответу!»

Крик нарастал, наливался злобой. Становилось невмоготу. Люди требовали, чтобы Роберт Борк к ним вышел. Откуда-то появилась группа женщин с накрашенными лбами. Они принялись кричать, размахивая свежими номерами «Трибюн»: «Борк подлец! Борку выжесть тавро Кассандры! За тавро Кассандры — бить! Борк — подлец!» Другая группа орала: «Ордок прав! Ордок прав!»

Обстановка накалялась, толпа была фанатично возбуждена. Полицейские, вызывавшие к порядку, оказались совершенно беспомощными. Один из них, с трудом выбравшись из толпы, куда-то звонил из машины, возможно, просил подмоги.

Заполонив собой все окружающее пространство, толпа неотвратно придвигалась к дому. От напора тел ломались скамейки, валились наземь фонари на аллее. И орала глотки, и стоял несусветный вопль.

Увидев, что муж надевает пиджак, Джесси вскричала:

— Куда ты? Не смей!

Но он оттолкнул ее. И с этой секунды мир в его враз потемневших зрачках сместился куда-то за пределы прежнего восприятия. Они встретились с Джесси взглядами: боль с болью. И он сказал как бы откуда-то издалека:

— Не останавливай меня. Я должен испить эту чашу.

Лицо Джесси искривилось в отчаянии:

— Ты идешь на погибель!

— Даже если так, — глухо ответил Борк, — все равно я должен пойти.

Он схватил зачем-то с вешалки шляпу и решительно двинулся к выходу. Вышел, и его обдало накатившимся жаром, волной живого горения бушующей в ожидании его толпы. Воздух дрогнул от взрыва криков при его появлении. Задергались транспаранты и плакаты, каждый норовил сунуть свой плакат ему в лицо. Он стоял у дверей, растерянно улыбаясь из своего далека, глядя на всех и не видя в отдельности никого. Резким жестом надел шляпу и на мгновение стал таким, каким был всегда — седым мосластым стариком, с крупными, подвижными чертами лица, с темными глубинами глаз в морщинистом прищуре, с еще крепкой шеей и крепкими губами. Он был Старой скалой, как называли его однажды франкфуртские журналисты.

В наступившей паузе Борк клокочущим от волнения голосом успел произнести несколько слов:

— Кассандро-эмбрионы — это наша беда и наша вина. И мы должны держать ответ перед ними!

Какая-то женщина кошкой прыгнула к нему.

— А вот это ты видишь?! — ткнула она себе в клейменный лоб. — Ты видишь тавро мое от дьявола из космоса?! Читай вот! Сатана сатане поет! — и принялась яростно хлестать футуролога по лицу газетой с его статьей. Газета разлеталась в клочья, шляпа покатила на землю, и ее тут же растоптали, а женщина продолжала истошно орать, как орала, должно быть, у себя на кухне. — Ты еще у меня попишешь! Я еще и до космоса доберусь! Я еще этого Филофея придушу!

— Бей его! Бей! — запалываясь ее неистовством, вскричали стоящие вокруг. — Тащи его! Тащи сюда! — заорали те, что позади, и двинулись к нему с кулаками. Его потащили десятки рук, и все смешалось. Джесси оказалась в давке, но никто не обращал внимания на ее мольбы и слезы.

Съемочная группа телевизионщиков, пытавшихся заснять эту дикую сцену, тоже была смята, аппарата валилась под ногами. Несколько полицейских, тщетно пытавшихся что-то предпринять, сами оказались щепками в водовороте. А Роберта Борка тащили куда-то, неизвестно куда, но куда-то. Каждый тянул в свою сторону, вцепившись ему в горло, схватив за волосы, раздирая края рта, превращая лицо старика в кровавое месиво. Толпа яростно давила и самую себя, каждый всех, все каждого. И это еще больше разжигало злобу и ненависть. И в том брутальном движении куча беснующихся людей оказалась в каменном саду

футуролога, возле бассейна, и именно здесь, где, бывало, выписывал он на песке некие таинственные знаки, пытаясь проникнуть в сокрытые тайны Мирового духа, именно здесь и произошло неотвратимое. Кто-то, изловчившись, нанес Борку яростный удар по голове железным рифленным прутом, выдернутым из клумбы, где на нем держались вьющиеся стебли. Борк громко вскрикнул и, схватившись за голову, упал навзничь, корчась в судорогах и заливаясь кровью, но его продолжали бить.

В этот момент, однако, ощутилось в толпе какое-то новое движение, какие-то сильные люди начали раскидывать всех в стороны, пробиваясь в Борку. Это действовали подъехавшие, наконец, Энтони Юнгер с помощниками по наладке космической связи, теперь уже никому здесь не нужной. Им удалось быстро пробиться к избиваемому насмерть Борку.

— Кто это сделал?! Кто?! — Энтони Юнгер хватал и расшвыривал всех подряд. — Преступники, вы все преступники!

А над улицей снижался подлетевший полицейский вертолет. Сплошной свист винтов заглушил крики, поднялся сильный ветер. То была сцена, как в немом фильме, — беснующаяся неслышно толпа. Вертолет сел, из него начали выскакивать полицейские с дубинками. И только тогда толпа опамытствовала. Люди стали разбегаться. Многие кинулись в сторону супермаркета, к своим машинам. Многие уже поспешно выруливали и гнали прочь на бешеной скорости. Еще несколько минут — и никого не стало.

Энтони Юнгер с двумя помощниками несли растерзанное тело Роберта Борка, еще один вел под руку спотыкавшуюся, обезумевшую Джесси.

Вместе с полицейскими все они поднялись в вертолет, затем помощники Юнгера спустились обратно, сели в свои машины с оборудованием для космической связи, а вертолет начал набирать высоту. Он взлетел почти вертикально над домом. И все умолкло.

Ни души не осталось вокруг, никого не было возле покинутого дома с побитыми дверями и окнами, с разбросанными скамейками и опрокинутыми фонарями, с истоптанным каменным садом чудаковатого футуролога. То была пустыня после погрома.

Через минуту вертолет уже летел над гольф-полями, где когда-то любил бывать Роберт Борк, совсем еще недавно снились ему эти лужайки света, зелени и простора, и покойный друг Макс Фрайд звал его на лунные гольф-поля.

Вертолет держал курс на городской госпиталь...

Энтони Юнгер склонился над Робертом Борком. Скинутой с себя рубашкой он перевязал ему голову, стараясь остановить кровотечение. Он держал его голову, обернутую рубашкой, на коленях, пытаясь заметить хоть какие-то признаки жизни, все еще надеясь на чудо. В какое-то мгновение лицо футуролога вдруг будто прояснилось, едва заметно дрогнули веки, и Юнгер увидел его взгляд. Их глаза встретились. Возможно, Борк узнал Юнгера. Они увиделись впервые в жизни и тут же расстались. Навсегда, навечно. Голова Роберта Борка откинулась навзничь...

Юнгер зарыдал, Джесси непонимающе смотрела на бездыханного мужа. Полицейские старались выразить соболезнование скорбным покачиванием голов.

Вертолет снижался над госпитальным центром, но было уже поздно...

\* \* \*

В тот час в океане сильно штормило. Метеослужба срочно рассылала по компьютерным каналам предупреждения о большом шторме у побережья Атлантики. Самолеты, летевшие над атлантическим пространством, попадали в сильные болтанки, командиры кораблей то и дело просили пассажиров застегнуть ремни, не вставать с мест и радиовали о сложностях полета своим наземным службам. Стюардессы пытались улыбаться, но это было ни к чему, — Атлантика не шутила...

И только киты — вселенские радары, — как всегда, держали в себе все то, что испытывали, все то, что воспринимали они, эхо Вселенной. И с тем плыли киты журавлиным клином. Океан пытался разбросать их клин, повернуть их вспять. Но они плыли, борясь, погребаемые огромными волнами, вновь всплывая и вновь утопая...

Что за сила питала и гнала их, зачем и куда они плыли?

А на Красной площади в Москве была уже глубокая ночь. И приближался

час совы. Она еще неподвижно дремала на Спасской башне под часами. И ждала, когда наступит время слететь вниз. Тревога терзала ее больше обычного... Что-то происходило в мире. Она это чуяла... Что-то происходило...

## 10

Объявленная в экстренном порядке пресс-конференция «Космос — Земля» состоялась в тот день в назначенный час и транслировалась по всем ведущим каналам.

Но до этого телекомпаниям пришлось пережить «предэфирный ураган». Как только стало известно о гибели футуролога Роберта Борка, со всех концов мира обрушился шквал звонков и запросов, особенно много звонили из национальных компаний, запланировавших ретрансляцию сенсационной пресс-конференции. Все желали немедленно выяснить, каковыми могут оказаться последствия трагедии, удастся ли организовать телемост с Филофеем, кто будет вести с ним диалог и вообще реально ли ждать теперь пресс-конференции.

И вращалась Земля на пути своем неизменном, и приближался тот час... И все ждали...

И наконец на экранах телевизоров появились долгожданные титры. Вслед за этим дикторша объявила, что телевещание считает своим долгом вначале проинформировать о реакции в мире на убийство ученого Роберта Борка и о комментариях средств массовой информации в данной связи.

Нельзя не сказать, что комментарии были весьма тенденциозными. Начались они со стандартных выражений соболезнования и скорби, затем дикторша, едва сдерживая злорадную ухмылку, проскользнувшую во взгляде, продемонстрировала диаграмму — результаты экспресс-опроса по поводу имевшего место «суда Линча» над, как она выразилась, апологетом филофеевского учения о кассандро-эмбрионах Робертом Борком: «Результаты удручающи и в то же время ошеломительны. Судите сами, уважаемые телезрители». Из диаграммы в виде разноцветных, для пушей наглядности, столбцов явствовало, что 83,7 процента опрошенных полностью одобрили расправу над футурологом, причем большинство респондентов этой группы — 76 процентов — заявили, что будучи они на том месте, в Ньюбери, они, несомненно, и сами приняли бы личное участие в расправе над заклятым сообщником космического дьявола; 11 процентов опрошенных осуждали преступные действия дикой толпы, видя в том злоешие симптомы нравственной деградации общества, остальная, незначительная часть респондентов выразила свое полное безразличие к происшедшему.

Затем телезрителям были представлены результаты социологического анализа массовых выступлений того дня. Это был длинный перечень стран, городов, регионов, демографических, социальных и прочих срезов. Из чего опять же явствовало, что практически весь мир, все слои населения выступили в той или иной форме с протестом против того, чтобы космический монах продолжал посылать на землю зондаж-лучи для выявления знака Кассандры. Бросалось при этом в глаза, что определяющую роль в умонастроениях и поведении людей играл фактор национализма.

Но самое страшное, как выяснилось, происходило в тюрьмах. Возможно, это было неосознанным ответом, подспудно вызревающим и разразившимся бунтом тех, кто когда-то был кассандро-эмбрионом, но вынужден был родиться, и вот теперь тайна отвращения их к миру оказалась вдруг обнародованной Филофеем. А иначе чем было объяснить эти дикие сцены, эти битвы с охраной и вспомогательными полицейскими отрядами, когда стороны шли стена на стену — в касках, со щитами и дубинками одни и с голыми руками, но в яростной волчьей злобе другие, когда сшибались они в грохоте погромов и пламени пожаров. И что бы ни было внешней причиной бунтов заключенных в разных странах и разных городах, подоплека таилась в злополучном знаке Кассандры, так болезненно воспринятом отбывающими наказание за преступления.

И еще немало эксцессов того дня преподнесли журналисты, например репортаж из одного из портов, где моряки в знак протеста отказывались выходить в плаванье. Корабли стояли у причалов, как покинутые жителями дома с пустыми окнами:

И все выступавшие требовали одного — сбить ракетой космического провокатора Филофея! Уничтожить орбитальную станцию — источник зондаж-лучей.

Только после оперативного обзора такого рода событий в разных точках планеты на экране наконец появился зал, где должна была начаться пресс-конференция. Сразу бросилось в глаза: народу в зале было битком. Люди стояли у

стен, сидели в проходах на полу. Все взоры были прикованы к сцене, соответствующе оборудованной, — огромный экран, на котором должен был показаться с орбиты Филофей, стоял сбоку сцены, наискось к залу. За столом на сцене располагались, каждый у своей связки микрофонов, двое: Энтони Юнгер и ведущий телепередачи популярный Уолтер Шермет. Все в зале сильно волновались, и это было заметно по застывшим в ожидании лицам, по настороженно светящимся глазам, по вытянутым шеем. У бывалых фоторепортеров, успевавших заснять с ходу самого черта с рогами, чуть ли не дрожали держащие аппаратуру руки, они стояли, как козы, пугливо столпившиеся перед бродом через реку.

Обычно речистый Уолтер Шермет, лысоватый, франтоватый, не совсем удачно пытался улыбаться на профессиональный манер. Его эlegantность и актерская небрежность в этот раз не срабатывали, не вязались с моментом. Энтони Юнгер, напротив, был слишком углублен в себя. Мало кому было дело до того, что он был потрясен горем и лишь усилием воли заставлял себя держаться, так как ему предстояло заменить Роберта Борка, принять участие в диалоге с космическим Филофеем на глазах у миллионов телезрителей. К тому же в тот вечер прилетала из Дублина его невеста Кэтти с матерью, а он из-за пресс-конференции не успевал встретить их в аэропорту, что его очень удручало. Он был напряжен, на скулах проступили желваки. Энтони понимал: судьба кинула его на авансцену событий, чтобы он или устоял, убежденный в правильности выбора Роберта Борка, погибшего на его глазах, или сгинул под свист и камни улицы, под ухмылки и недоуменные пожатия плечами вчерашних приятелей из ордоковской команды, поглядывающих на заведенную ими, беснующуюся толпу, и рассуждающих о том, что вполне может случиться, что Юнгеру придется разделить участь Борка.

Между тем накаленность массы возбужденных людей достигла своего апогея. Все ждали решающего момента — появления в телеэфире Филофея, чтобы, как сказал один из комментаторов, загнать его общей облавой в пожар мировой ненависти. И все шло к этому, и тот момент приближался, с обратным отсчетом секунд, как перед взрывом.

А днем, когда в госпитале было составлено заключение о насильственной смерти Роберта Борка, Джесси сказала, с трудом унимая слезы:

— Энтони, если тебя ждет судьба моего Роберта, мне нечего сказать. Истина была для него превыше всего, за что он и поплатился. Но подумай о себе. Ты молод. Тебе жить да жить. Есть ли смысл вслед за Робертом ставить на карту собственную жизнь?

Тяжко было в ту минуту продолжать разговор, и он ответил коротко:

— Я вас понимаю, Джесси. Но я не хотел бы избежать того, чего не избегал Роберт Борк.

Они стояли в холле госпиталя у большого окна, в стороне от больных и лечащих. Солнечный свет чисто струился в покойное помещение сквозь стекла, небо так же покойно голубело за окном, покойно золотилась неподалеку кленовая листва на ветвях... Стара и убитая горем была вдова футуролога. Чем-то она напоминала побитую бродячую собаку, скулящую в овраге. Джесси не знала, как ей быть. Слезами исходила. И должно быть, чтобы как-то совладать с собой, она бормотала вслух то, о чем думала.

— Роберт всегда говорил, что любовь — это слияние двух рек. Я все смеялась: утонешь в великоречии своем, Боб! И теперь убеждаюсь, вот и нет моей реки. Остановилась, иссякла та река, и я брошена на пустом берегу...

И еще сказала она странную, загадочную фразу:

— О бедные киты, кто о вас вспомнит теперь, когда я буду играть на виолончели...

Эти слова настолько поразили Энтони, что он хотел было даже спросить, что она имеет в виду, но не посмел. От горя, должно быть, говорилось такое.

А потом им пришлось расстаться. Энтони надо было готовиться к телемосту. Времени оставалось в обрез. Джесси оставалась в госпитале в ожидании прибытия из Чикаго дочери и зятя.

С тем они и расстались до завтра. В одном Энтони повезло — ему удалось позвонить из госпиталя в Дублин и поговорить с Кэтти перед самым их выездом. Он волновался, ведь по их приезде предстояло думать о свадьбе.

Вот так все схлестнулось в одночасье. Кто бы мог предполагать. Возможно, только метеориты сталкиваются так, летя навстречу друг другу сквозь Время и Пространство.

И разговор с Кэтти оказался непростым. Кэтти ждала его звонка, и чистый



голос ее возвратил его на мгновение к тому, что было счастьем. Все было для него счастьем в ней — и прикосновение ресниц, и дыхание, и походка, счастьем, не требующим ни доказательств, ни подтверждений.

— Ой, наконец-то, Энтони! — воскликнула Кэтти. — Я так ждала твоего звонка. И ему стало жарко от знакомого придыхания в трубке. — Мы с мамой через четверть часа уже выезжаем. Как ты там, Энтони? Ждешь?

— Извини, Кэтти. Я тоже очень нервничал, боялся, что уже не застану тебя.

— Ну, ничего страшного, совсем скоро увидимся. Просто мне хотелось услышать твой голос.

— Понимаешь, возникла одна проблема. Сейчас нет времени объяснять. Потом я все расскажу. Я хочу, чтобы ты извинилась за меня перед мамой. К сожалению, я не смогу вас встретить в аэропорту. Садитесь на такси и...

— А что такое, Энтони? Случилось что-нибудь серьезное?

— Да. Очень. Это долгий разговор. Постараюсь покороче. Сегодня вечером я должен участвовать в пресс-конференции вместо погибшего футуролога Роберта Борка.

— Как? По радио передали, что его убили возмущенные демонстранты. А ты тут при чем?

— Видишь ли, я был устроителем этого космического телемоста с Филофеем.

— С Филофеем? С тем самым?

— Да. С ним должен был выступать Роберт Борк.

— Ничего не понимаю, Энтони! Ничего!

— Я потом все расскажу. Обстоятельства сложились так, что собеседником Филофея теперь придется быть мне; я потом объясню тебе и маме, но другого выхода нет...

Кэтти понизила голос, и он понял, что она прикрыла ладонью телефонную трубку:

— Хорошо, Энтони. Потом расскажешь. Пока я не буду ничего говорить маме. Она очень взволнована, негодует — какой-то безумец в космосе взбудоражил весь мир. И я не в восторге.

— Я ее понимаю и тебя понимаю, — ответил Энтони. — Но умоляю, сделай так, Кэтти, чтобы она не волновалась понапрасну. А потом я все подробно объясню. Я тебя очень жду, Кэтти. Я тебя люблю. Садитесь в аэропорту на такси и скорей приезжайте. Как только завершится пресс-конференция, я буду звонить, и мы встретимся. Не задерживайтесь, не опоздайте на самолет. Пока, целую.

— Пока, Энтони. Пока... Хочу, чтобы у тебя все было хорошо... Я с тобой.

— И я с тобой. Жду...

Сидя на сцене, Энтони Юнгер подумал о том, что самолет, в котором летела из Ирландии Кэтти с матерью, пожалуй, уже приближается к атлантическому побережью.

А в зале тем временем истекали считанные секунды до начала трансляции космического телемоста. И явится на суд некто Филофей, вовлекший человечество в глобальную смуту. И за все ответит, за все ему отольется.

В который раз в тот день пронзала Энтони Юнгера мгновенная мысль: «А что если вдруг и у нас в семье случится такое несчастье — у Кэтти появится знак Кассандры? Что тогда? Как тогда быть? Ведь никто не составляет исключения, абсолютно никто. Никто не застрахован от того, что в его генотипе таится страх перед жизнью».

При том, что зал напряженно ждал включения космоса, многие вздрогнули от неожиданности, когда прозвучал сигнал и экран засветился. Наступила мертвая тишина. Ведущий заторопился, обращаясь к публике:

— Итак, мы начинаем трансляцию пресс-конференции находящегося на орбитальной станции ученого-биолога, именующего себя космическим монахом Филофеем. Не буду напоминать всем известные факты — чрезвычайного характера обращение Филофея к папе римскому и трагические события, последовавшие вслед за этим. А сейчас прошу внимания...

На экране несколько раз мелькнул размытый контур, заплутавшийся в мерцающей пурге эфира, затем изображение стало четче, и на экране возник лик человека, уже всем известного, но впервые представшего воочию перед взором телезрителей. И тут же, еще не успел никто обмолвиться ни единым словом, заработали разом сорвавшиеся с места фоторепортеры, расхватывая образ Филофея с экрана.

Уолтер Шермет вынужден был запротестовать, загоразживаясь от шквала вспышек:

— Прошу соблюдать порядок. Прекратите слепить нас. Мы начинаем работу.

Когда вспышек поуменьшилось, лик Филофея укрупнился, приблизился из космоса живыми чертами. То был шоковый момент. Так вот он собственной персоной, то ли великий пророк, то ли великий безумец, то ли сатана высшей пробы! Вот он — виновник истерии и несчастий! Вот он, облучающий женщин из космоса зондаж-лучами! Вот он, автор зловещего учения о знаке Кассандры!

На вид Филофею было лет пятьдесят с небольшим. С продолговатым лицом, с русыми волосами, свисавшими до сутулых плеч. И борода рыжеватого оттенка, с проседью. Он смотрел с экрана в зал, в лица присутствующих, как повстречавшийся вдруг на дороге путник, куда-то идущий с котомкой и посохом, приостановившийся уточнить, туда ли он держит путь, куда ему следовало. И вечереет уже, послепет ли? Во взгляде — озабоченное внимание и целеустремленность. Примерно таким и представлял его себе Энтони Юнгер и в душе даже порадовался совпадению. Старинногравюрный, если можно так выразиться, облик космического монаха тем не менее вполне вязался с интерьером орбитальной станции. Держался Филофей уверенно и деловито. Возможно, способствовала этому колоссальная удаленность его от Земли и дело, которому он отдавался в абсолютном единении всецело. Глубокие морщины, тяжелые веки, пристально смотрящие серые глаза таили в себе нечто притягательное и скорбное.

В первые секунды трансляции Энтони Юнгер очень волновался еще и за то, насколько хорошо говорит Филофей по-английски. Ведь нередко человек может грамотно писать на иностранном языке, но не столь же свободно говорить, особенно на публике. Однако с первых же фраз Филофея Энтони успокоился — на английском космический монах российского происхождения говорил вполне нормально, лишь с легким акцентом.

А разговор начался стремительно, как только Уолтер Шермет с наигранной раскованностью и даже жеманством произнес:

— Добрый вечер, брат Филофей! Извините, мы не знаем, так ли следует обращаться к вам?

— Да, так, — отвечал космический монах и добавил: — Всякому, кому угодно будет, я брат.

— А если не всем угодно будет брататься? — сострил Уолтер Шермет.

— Тогда кому как заблагорассудится. Не беда. Но и для тех, кто меня не приемлет, я в душе своей брат.

— Почему вы говорите об этом столь самоуверенно? Не хотите ли тем самым возвыситься над греховным миром нашим?

— Мое призвание — сострадать каждому, как бы ко мне ни относились.

— Допустим. Ну, хорошо. Не будем, однако, начинать нашу встречу с выяснения взаимоотношений в этом плане, — продолжал остроумничать Уолтер Шермет. — Есть вещи куда как серьезней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней, причем находящиеся в прямой связи с вами, брат Филофей, с вашей, так сказать, научной деятельностью на борту орбитальной станции. Поэтому, собственно, мы и собрались на пресс-конференцию. Да, но для начала я представляю вам публику. В зале — цвет журналистики. Идет прямая телетрансляция. Я ведущий, Уолтер Шермет. Рядом со мной — Энтони Юнгер. Он участвует в телемосте вместо футуролога Роберта Борка, погибшего сегодня утром в результате массовых волнений. Извините, приходится называть вещи своими именами: причиной этих трагических событий явились именно вы. Впрочем, Энтони Юнгер сам представится и выскажет свое мнение.

— Спасибо, Уолтер Шермет. Я знаю Энтони Юнгера, — перебил его Филофей, устремляя взгляд в сторону Юнгера. — Я знаю Энтони Юнгера по предвыборному митингу, трансляцию которого видел. Поскольку я нечаянно перебил вас, позвольте мне сказать, я ждал этой минуты, этой встречи, возможности сказать о том, о чем вы уже упомянули, — как достигает меня в космосе пламя пожара, возгоревшегося в умах и душах. Да, огонь тот запалил я сам. Да, это так. Но факел я выносил не для сожжения еретиков на кострах, а, полагал, для просвещения душ людских. Не получилось. Все обернулось тьмой. И боюсь, безнадежно. А я надеялся, быть может, наивно в моем-то возрасте, конечно, наивно, что правда восторжествует. Ошибся. Вместо просветления душ повсюду вызвал лишь хаос и смуту. Все это я вижу на экране своего телевизора. Видел я и то, что произошло сегодня в Ньюбери. Я ожидал телевизионной встречи с Робертом Борком, был предупрежден о ней, горел душой перемолвиться с ним

словом, но увидел дикую расправу с человеком в его собственном доме. Тот самый бунт, о коем русские говорят — бессмысленный и беспощадный. И опять же — по моей вине! Находясь в космосе, я оказался прямой причиной гибели моего же, Богом посланного мне единомышленника. Я на коленях перед вами, люди! Но сейчас мое покаяние ничто. Ничем не вернуть убиенного Роберта Борка, даже ценой собственной жизни, которую я готов немедленно принести в жертву. Если бы...

И вот что я еще хочу сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Возможно, я не успею ответить на все вопросы зала, заранее прошу прощения. Мне уходить, вам жить, а жить — значит, самим находить ответы. Поймите меня и простите, если можете. Единственное, что мне хотелось бы сказать напоследок: не ради громкой славы, не ради амбиций и не для превосходства над себе подобными сделал я общим достоянием свои открытия, которые могли бы оставаться втуне, и мир наш пребывал был в счастливом неведении, как и до этого. Но не для того ли мы сотворены как смысл и содержание вечности, чтобы через постоянно совершенствующееся познание наше открывался нам мир, а иначе к чему быть мирозданию, с какой целью быть вечности, если она будет оставаться невосребованной и не осознанной нами, по слабости и по прихоти нашей уклоняющимися от истины, когда это нам удобно? Не снижаем ли мы статус разумных существ — ведь боги без нас не боги, материя без нас пуста. И если мы утверждаем, что информация — путь прогресса, то не в непрерывающемся ли потоке все новой и новой всеохватывающей информации суть вечности? Бесконечность цивилизации — в бесконечности познания. Но когда мы избегаем познания в угоду себе, то есть вопреки истине, не избегаем ли мы тем самым столь желанной нам вечности?

Я прошу прощения у присутствующих за абстрактные рассуждения по поводу, казалось бы, абсолютно конкретных обстоятельств, но сегодня, когда мы убили Роберта Борка, мы убили с ним часть нашей вечности. Простите меня, я хочу...

— Позвольте, позвольте, брат Филофей! — перебил его с трудом сдерживавший себя Уолтер Шермет. — Рассуждения о высоких материях, разумеется, хороши, философия вечности любопытна. Но ведь вы вмешались в таинство рождения, — я имею в виду ваши космические эксперименты, провоцирующие появление знака Кассандры у зачавших женщин. Вы оказываете недопустимое давление на наше Эго. Вы стремитесь поставить нас под свой космический контроль. А с этим, позвольте вам напомнить, мало кто готов на Земле примириться! Я напоминаю — на Земле, на грешной нашей Земле, и не судите обо всем с космической высоты, где вы не достигаемы для возмущенных людей. Совершенно справедливо возмущены. Извините, что я обнажаю свою позицию. Но в данном случае не до условностей, не до этикета ведущего. И я не могу не выразить протеста против ваших деяний. Кто вам позволил, какая сила толкнула вас, какими бы благими намерениями вы ни руководствовались, ввергать жителей планеты в массовую смуту ради своих научных открытий, а я бы сказал, ради гордыни своей?! Не есть ли это святотатство, особенно если вы монахи, пусть даже самозванный, как утверждают российские иерархи. Не идете ли вы против Божественных установлений?! Сказано в Писании — плодитесь и размножайтесь. И без всяких оговорок. А вы решили подвергнуть ревизии то, что не подлежит контролю кого бы то ни было. Не принесли ли вы таинство рождения в жертву адским силам? На мой взгляд, это именно так! И если мистер Ордок говорил об этом как политик, то я скажу как журналист, дорожащий мнением многомиллионной аудитории.

И тут поднялся шум в зале. Это было странное, диковинное зрелище: журналисты вскакивали с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними не телеизображение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене. А он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранять спокойствие.

Было видно, как лицо его свела судорога боли. И вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем не отличалась от митинга. Каждый дорвавшийся до микрофона лишь называл себя, свою газету, информационное агентство и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий, практика жизни превыше всего! Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть, ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся переполох. Экран пустовал.

— Где вы? Что с вами? — вскричал Уолтер Шермет.

Но вот он снова возник, держа в руках космонавтский скафандр.

Голоса в зале на мгновение стихли. Все были удивлены — к чему это? А Филофей стал молча облачаться в скафандр. Энтони Юнгер воспользовался этой паузой. Он поднялся с места и стал говорить, обращаясь к залу:

— Я прошу присутствующих выслушать меня, поскольку я один из устройств этого телемоста. И у меня в этой связи есть свои обязанности и права. Прежде всего хочу сказать Уолтеру Шермету, что дальнейшее ведение пресс-конференции я просил бы уступить мне. Вы свое сказали, Уолтер Шермет. А то, что происходит в зале, мало чем похоже, к сожалению, на деловую журналистскую встречу. Пресс-конференция предполагает вопросы и ответы. Пока что профессиональных вопросов не последовало. Эмоции затмевают логику. Мне не раз приходилось принимать участие в пресс-конференциях, но такого еще не бывало! Даже когда разразилась недавняя война в Персидском заливе, вопросы были разноречивы и выражали разные позиции. А сейчас каждый пытается прозвучать в унисон, непременно в хоре. И все дружно подписывают один и тот же приговор.

— Позвольте, Энтони Юнгер, — не утерпел Уолтер Шермет, — но почему вы в таком случае пытаетесь навязать аудитории, да что там аудитории — всему миру свои мысли? И почему в то же время лишаете права выразить свою точку зрения других участников встречи?!

— Уважаемый Уолтер Шермет, я понимаю, ситуация такова, что можно в мгновение ока нажить громадный политический капитал, засвидетельствовав по телевизору свою преданность народным массам, выступив защитником общества, не так ли? Но истина от этого не прояснится. Не тот случай. И потому я призываю отрешиться, пока не поздно, от политики, от соблазнов ее, да, отойти, если это нам удастся, от любимой нашей политики в какой бы то ни было ее форме, иначе мы не приблизимся к существу проблемы. Постигание истины требует мужества и реализма.

— А в чем же ваша истина и ваше мужество? — выкрикнул кто-то из зала.

Уолтер Шермет удовлетворенно кивнул головой, вызывающе заулыбался. Зал насторожился, примолк.

— Насчет мужества, — произнес с расстановкой Энтони Юнгер в наступившей тишине, — не мне судить, насколько я обладаю им. Но обратимся к делу. Вот перед нами на экране человек, совершивший великое научное открытие, беспрецедентное в истории, я бы даже так сказал. По душе оно нам или нет — это вопрос другой. Это наука. Брат Филофей — а для меня он отец, отец Филофей, — пытается раскрыть нам глаза на значение проблемы кассандро-эмбрионов для человечества. Еще один наш выдающийся современник, погибший сегодня от рук толпы, футуролог Роберт Борк, расценил открытие Филофея как новый шаг в эволюции человеческого духа. Он выступил в печати. И это явилось его последним словом, его заветом. Я не претендую на собственные оригинальные оценки и выводы, но я хотел бы сказать: мы не должны игнорировать проблему кассандро-эмбрионов, исходя из своих сиюминутных интересов. Вот о чем идет речь. И теперь зададимся вопросом к себе и по понятным причинам к самому отцу Филофею. Как быть отныне человеку перед лицом ставших известными людям кассандро-эмбрионов?

— Мистер Юнгер, — раздался в рядах женский голос. — Простите, не очень ли вы энергичны в постановке вопроса? О каком лице, тем более эмбриональном, может идти речь? Вы желали профессиональных вопросов. Так вот, ответьте для прессы, для миллионов читателей и телезрителей, которых вы продолжаете ввергать в шок и отчаяние, хотелось бы услышать ясно и недвусмысленно, что вас понуждает в конце-то концов, почему вы с Филофеем так стремитесь навязать обществу эту роковую проблему, когда вас об этом никто не просит, ни одна душа?

— Вот именно просит, мадам. И не то что не одна, — просят души, не поддающиеся счету. Голоса зародившихся апеллируют к нам, просят всех нас услышать их и подумать не столько о них, сколько о нас самих; а мы избегаем ответа им и ответа себе, мы малодушничаем, тем более что отмахнуться от этих несчастных эмбрионов очень легко, пусть ценой самообмана, и в этом мы все повинны, включая и нас с вами, мадам, и предшествующие поколения наши. Эти голоса, повторяю, обращенные ко всем нам, нуждаются в том, чтобы их расслышали, распознали, интерпретировали, что и сумел сделать великий Филофей. Я вынужден говорить о его величии в его присутствии, вот он перед нами на экране, но другого выхода у меня нет. Да, он великий. Вот вы настаиваете, чтобы я объяснил, что, как вы выразились, понуждает нас навязывать обществу эту роковую проблему. Разве, скажем, Эйнштейн в принудительном порядке вынужден был открыть теорию относительности? Так же и Филофей — это ученый, это

наука, это призвание, это дар провиденья, это опыты и открытия, это работа ума. Я так понимаю. Такому открытию нельзя сопротивляться, как нельзя сопротивляться выходу солнца из-за горы. Нам, людям, обществу надо определиться — вот о чем речь... Мы должны сказать себе... Человечеству отныне нужна новая стратегия жизни...

В этот момент Уолтер Шермет резко поднял трубку телефона, стоящего на столе перед ним, и коротко бросил кому-то:

— Коммутатор, вы готовы? — и, не кладя трубку, нервно обратился к Энтони Юнгеру: — Вы хотите услышать ответ международной общественности на вашу с Филофеем риторику? Вы хотите убедиться?

— Что вы имеете в виду?

— То, что наша пресс-конференция демонстрируется на площадях городов в разных концах мира. Ведется синхронный перевод. Так давайте сообща все находящиеся здесь посмотрим, что происходит на планете, какова реакция масс на суждения монаха Филофея и его сторонников. Еще раз напоминаю — разные точки мира, разное время суток, разные языки. Итак, внимание! — скомандовал он в телефонную трубку. — Включайте центральный монитор. Итак, дайте нам для начала Тяньаньмэнь, посмотрим, что делается в Пекине, столице самого многонаселенного государства.

На большом экране, засветившемся в центре сцены, возникла многолюдная площадь Тяньаньмэнь с промелькнувшим на фасаде неизменным портретом Мао Цзэдуна с каменным выражением лица, в сером кителе вождя. Страшное столпотворение на площади под каменным взглядом Мао напоминало бушующий людской океан. Китайцы неистовствовали и орали, как на пожаре. Комментатор сообщал, что такое на площади было только в 1989 году, при подавлении студенческих волнений. «Слушайте единый выкрик Тяньаньмэня, — продолжал комментатор. — Цитирую: «Смерть Филофею! Сбить врага социализма ракетой!»

Зал глядел на Филофея, на бледность, проступавшую на его лице, различимую даже с экрана, на застывшего в напряжении у микрофона Энтони Юнгера, на Уолтера Шермета, который давал команды:

— А теперь — Москву, Красную площадь! Внимание!

То же самое происходило и на Красной площади. Предраассветное время. Горели костры. И ревели толпы: «Смерть самозваному Филофею! Сбить провокатора ракетой!» И странно было заметить над этой возбужденной, гомонящей толпой несколько раз промелькнувшую на экране, на что все невольно обратили внимание, ночную птицу, очень похожую на сову. Птица эта, точно она была на невидимой привязи, дергалась, металась в сумраке над мавзолеем, над Кремлевской стеной и снова над толпами орущих людей...

Не теряя темпа, Уолтер Шермет давал новые команды на включение трансляции с других точек земного шара: Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-Жанейро, и везде царил та же стихия, раздавались те же вопли и выкрики, и всюду выносился тот же приговор: «Смерть Филофею!», «Сбить мерзавца ракетой!»

— Достаточно! Я прошу выслушать меня! — раздался с левого экрана голос Филофея.

— Да, мы слушаем вас, брат Филофей, — живо откликнулся, опять же без ужимки и наигранной раскованности, Уолтер Шермет. Лысина его победно блеснула, когда он произнес, приосанившись: — Что вы скажете теперь, увидев демократию в действии?

— То, что собирался сказать и до этого, — ответил Филофей. И ясно стало по выражению его лица, что он на грани, что он на что-то решился. — Я вам признателен, мистер Уолтер Шермет, за то, что вы устроили репортаж с разных концов мира. Сомневаться после этого никак не приходится. Картина абсолютно ясна — я потерпел полный провал. Моей задачей было обратить внимание человечества на возможность избежать катастрофы и, более того, на возможность нового витка в эволюции. Путь один — прислушаться к эсхатологическим сигналам кассандро-эмбрионов и сделать выводы о необходимости совершенствования общества в целом и каждого из нас в частности. И вот результат — из моей попытки ничего не вышло. Отношение современников к моим призывам — в корне отрицательное. Признаю — я потерпел поражение. И нет нужды продолжать дискуссию. Все. Пора подводить черту.

— Брат Филофей, вот теперь вы учитываете объективную обстановку, об этом и идет речь: нужно успокоить людей, успокоить общественность, не так ли? — подсказал Уолтер Шермет.

— Да, получается так, — согласился Филофей. — И поскольку я виноват в

неслыханной смуте, приведшей к гибели Роберта Борка, то мне и ответ держать перед Богом и перед людьми. И вот час тот пробил — час суда за содеянное. И я рад, что в этот роковой для меня час у меня есть возможность быть на глазах у людей и они могут убедиться в искренности моей исповеди.

— Брат Филофей, — встрял опять тот же Уолтер Шермет, понимая, что он на виду у всего мира и за каждое слово ему воздастся сторицей. — Брат Филофей, — повторил он, — мы не требуем лично от вас каких-либо действий. Эмоции масс, конечно, остры, но вы вынудили людей...

— Да, да, я понимаю, — ответил Филофей. — Спасибо на добром слове. Но поступок мой не из числа заурядных недоразумений. И я должен за него отвечать. Я сознавал, что или достигну цели, если мир воспримет мое открытие, мои идеи как новое самопостижение духа, или потерплю сокрушительное поражение и стану жертвой собственного открытия, погибну под его обломками. Иного не дано. Я знал, на что иду. И вот мое заключительное слово. Я далек был от какого-либо умысла причинить людям вред. Но на деле все обернулось по-иному. Замысел обернулся во зло. И все мы сейчас — бессильны перед ним. Однако я не отрекаюсь от самого открытия, от феномена кассандро-эмбрионов, от их эсхатологических предвестий; люди должны знать, что конец света — в непрерывном накоплении зла в нас самих, в наших деяниях и мыслях, и это сказывается на генетическом коде человека, приближая кризис. И будет поздно, когда грянет гром...

Зал зашумел. Раздались возмущенные голоса. Один из присутствующих начал яростно кричать в микрофон:

— Прекратите угрозы! Я требую прекратить немедленно шантаж общества! И я заявляю во всеуслышание — мы имеем дело с демоном, рассчитывающим на космическое диктаторство над человечеством. Да, да, диктаторам прошлого лишь мерещилось такое всеислие, они лишь мечтали о всемирном господстве, тот же Гитлер, тот же Сталин. Те приходили и уходили в потоках крови. А этот рвется к мировому господству через шантаж из космоса. Сейчас он не доступен народному гневу. И, пользуясь этим, помыкает человечеством!

Энтони Юнгер не выдержал и тоже кинулся к микрофону:

— Мистер, я не знаю, кто вы, надо хотя бы представиться залу, прежде чем кричать в микрофон.

— Мое имя самое обычное — Смит, Джон Смит.

— Так вот, Джон Смит! Намеренно или нет, но вы извращаете суть дела. Никто не попирает вашу свободу и права. Вы вправе жить так, как вам заблагорассудится. Но ученый, совершивший открытие, величайшее научное открытие в истории человечества, не может и не должен только ради того, чтобы не лишать вас душевного комфорта, скрывать от общества результаты своих научных исследований. Можно заставить Филофея отречься от истины, от себя, но факт остается фактом — кассандро-эмбрионы существуют. Знак Кассандры отныне будет неизбежным сигналом о таящемся в нас зле. И мы не должны обманывать себя, не должны скрывать от себя реальное положение вещей. Напротив, я считаю, что мы должны — как бы это точнее сформулировать, — вот существует такое понятие в военном деле — вызывать огонь на себя...

— Послушайте! Как вы смеете предлагать подобное — вызывать огонь на себя?! На кого вызывать огонь? Получается — на женщин, — разнесся на весь зал женский вопль. — В вас говорит мужской эгоизм! Кто позволил мужчинам решать за женщин? Проклятый патриархат и здесь дает о себе знать! Я не хочу вызывать огонь на себя! Я не хочу, чтобы у меня на лбу выступил знак Кассандры, это гадость и позор!

— Извините! — раздался с экрана голос Филофея. — Извините, ради Бога, не хотел бы вас перебивать, но не могу не сказать, что знак Кассандры — не порок и не позор. Совсем нет. Я уже объяснял, что это реакция кассандро-эмбриона, предупреждающая нас о зле, накапливаемом в нас из поколения в поколение. Конец света таится в нас самих — вот о чем дает нам знать это тавро. Прошу вас, успокойтесь. И прошу всех, кто в эту минуту внимает мне, позвольте сказать последнее, прощальное слово. Все, что я увидел и услышал за последние сутки, говорит о том, что открытие мое оказалось явно преждевременным, оно оказалось не понятым моими современниками. И поэтому я принял твердое решение исчезнуть, уйти из жизни, уйти с миром и добром, благо, я могу это сделать в космосе, никем не удерживаемый. И в эти последние минуты я хочу повиниться перед всеми, кто меня слышит, видит или узнает обо мне позднее. Я причинил вам страдания, хотя исходил из самых чистых побуждений. И вот мой конец. Я сейчас выйду в открытый космос и на том завершу свой жизненный

путь. Это судьба. Я уже готов к этому шагу, мне остается лишь надеть шлем. Но перед тем, как покинуть свою космическую обитель, куда я стремился, ведомый предначертаниями моего Пушкина: «Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне», — так вот перед этим последним шагом я хочу заверить всех, кто меня видит и слышит, что все оборудование, с помощью которого велось направленное облучение планеты зондаж-лучами, мною уничтожено, ликвидировано. Уничтожены расчеты и разработки, уничтожены все записи, связанные с исследованиями, все, что было связано с открытием феномена тавра Кассандры. Все это исчезает, уходит вместе со мной. Будьте впредь спокойны, всего этого как не было никогда. Возможно, человеческая мысль когда-нибудь вновь обратится к этим явлениям, но это будет уже после нас, это дело будущего. А пока все вернется на круги своя. Никаких следов. Единственное, что может попасться на глаза, если кто-нибудь будет осматривать после меня орбитальную станцию, — это мои записи о своей жизни, мемуары космического монаха о судьбе, о времени, о том, как и почему открылась мне тайна кассандро-эмбрионов. Это единственное, что я оставлю после себя. И если, сын мой Энтони Юнгер, тебе это придется по душе, я с радостью завещаю эти записи тебе.

Дорогой Энтони, прости, что обращаюсь к тебе как к сыну, но это зов души. И я благодарен судьбе, что могу прилюдно так обратиться к тебе. Жизнь моя сложилась так, что я остался бездетным, и вот напоследок, в последние секунды, я буду думать, что у меня есть духовный сын — Энтони Юнгер.

Зал примолк. И снова раздался голос Филофея:

— Простите меня, люди! Всего не скажешь на прощание. Но об одном не могу умолчать уходя. Меня то и дело называли самозванным монахом, самозванным Филофеем. Да, это так. Никто не постригал меня в монашество, никто не нарекал меня Филофеем. Но ведь суть не в церковной процедуре, суть в истовости веры в идею. И я хочу быть в этом правильно понятым.

Час настал. Я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с планетой нашей. Я ее вижу всю целиком на одном из экранов, целиком, плывущую во вселенском пространстве, на другом экране — отдельные укрупненные пейзажи, до мельчайших подробностей: деревья, травы, камни. И вот — что-то странное, что-то не совсем пока понятное, какое-то немислимое зрелище. Вы и сами в этом убедитесь, если технически возможно транслировать изображение с орбитального монитора на земные. Смотрите, смотрите, вот экран рядом со мной, справа от меня. Смотрите, на нем море, это океанское побережье. Атлантическое! Смотрите, какие могучие волны катятся по мелководью на береговой откос, и вы видите, что происходит?! Вы видите китов?! Вот они, их целое стадо! Они выплывают из океана, как горы, и смотрите, о ужас, о наказание небес, киты с разгона выбрасываются на берег! Смотрите, что с ними происходит! Это киты-самоубийцы! Что с ними? Почему они выбрасываются из воды?! Почему они решили покончить с собой?! Что это значит? Что заставляет их так поступать? Что-то неладное, что-то невыносимое гонит их на погибель! Или это совпадение последних помыслов наших? В один день и час! Кажется, я начинаю понимать, начинаю улавливать, что движет китами, обрекающими себя на смерть. Жаль, что не сумею глубже проникнуть в суть этого явления, нет уже времени, чтобы постичь эту потрясающую загадку жизни. Вот так же было и с Робертом Борком. Я начал понимать глубину его мышления, прочтя его статью. Но за написанным тайлось еще что-то, недосказанное. Я ждал, что мы откроемся друг другу, и явится нам новое понимание Духа. Но не успели, не суждено оказалось. Так и с китами. Обладай они речью, сколько бы мы познали... Но мне уже поздно... Мне кажется, я слышу их. Киты зовут меня с собой. И я ухожу с китами... Я тоже кит, убивающий себя, выбрасываясь на берег. И последнее — обращаюсь к Роберту Борку. Я виновен перед тобой, и я иду к тебе вместе с китами... Прощайте...

Все, что последовало затем с неотвратимой наглядностью, подействовало на зрителей ошеломляюще. Филофей уходил из жизни на виду у всего мира, у всех, кто в тот момент находился у телеэкранов. Каждое движение космического монаха подтверждало его решимость. Все понимали — они присутствуют при публичном самоубийстве. И никто не мог ни предотвратить того, что было Филофеем задумано, ни окликнуть его на пороге...

В зале воцарилась напряженнейшая тишина. Никто не шевельнулся, никто не подал голоса. Все взоры были пригвождены к экрану, на котором протекали последние мгновения жизни космического монаха. Энтони Юнгер вдруг понял, что свобода смерти есть исполинская трагедия духа, ничем не компенсируемая, ничем не измеримая. Тем временем Филофей надел на голову громоздкий косми-

ческий шлем. Было видно, как он пристегнул его к вороту комбинезона. И с этой минуты выражение лица его стало неразличимо. Все было готово. Предстояло идти к выходу за борт. Филофей оглянулся, возможно, что-то сказал, но слов уже было не слышно. Прощально махнув рукой, он направился к люку, чтобы выбраться в открытый космос. Створки люка раздвинулись, и Филофей шагнул в пустоту.

Он шагнул в межзвездное пространство, очутившись один на один с бесконечностью, где не было ни верха, ни низа, ни сторон, ни горизонта, ни границ, ни измерений.

Он завис в парении и поплыл в никуда, все дальше и дальше от космического корабля...

Он плыл, зависая в невесомости, и вскоре исчез из поля зрения...

## 11

Киты, выбросившиеся на берег, издыхали на мелководье мучительно и страшно, тараща выпученные глаза. Их туши валялись в разных местах, как обуглившиеся от пожара горы.

И кружила Земля вокруг Солнца...

На другое утро все газеты мира выкрикнули в один голос на первых полосах: «Первый акт самоубийства в космосе!», «Космический монах Филофей освободил человечество от тяжелых испытаний знаком Кассандры!», «Царство ему Небесное!», и еще многое в этом же сенсационном духе пронеслось по газетам, телеэкранам и радиоканалам...

В «Трибюн» было опубликовано несколько экстренных строк от Энтони Юнгера: «Отцы мои, Филофей и Роберт Борк, проложили след, по которому я пойду дальше...»

Но были и злорадно торжествующие выкрики: «Самозваному монаху не требуется Вознесения в Небеси. Он уже в космосе кверху пузом!»

Среди прочих ошеломительных новостей снова, уже в который раз, появилось загадочное сообщение: «На Западном побережье Атлантики большое стадо китов выбросилось из океана на материк. Все животные погибли».

Еще одно сообщение, странное, нелепое, было перепечатано из российских газет: «Минувшей ночью на Красной площади неизвестным лицом была заброшена на мавзолей мертвая птица — сова. Взрывного устройства при ней не обнаружено».

Два дня спустя состоялись похороны Роберта Борка. На кладбище было покойно. Осень. Чистое небо. В минуты прощальной молитвы Энтони Юнгер глянул в высь и подумал о том, что оба они, выбравшие путь истины, заняли предначертанные им места: один — в космических пространствах, в потоках бесконечности, другой — в недрах земли, в сгустке вечности...

И с ними Истина...

## Эпилог

«Время у меня на бикфордовом шнуре. И я спешу набрать на компьютере свое прощальное письмо. И вот поразительно, мне выдалось напоследок: я вижу сейчас, как на Земле световой день сменяется затемнением ночи, чтобы затем смениться заново рожденным днем. Вот оно наглядное течение вечности, вот она зримая нескончаемость Времени. Но для созерцающего с орбиты субъекта настал предел.

В масштабах Вселенной век человека — это век мухи. Но человек одарен мышлением, и это удлиняет его жизнь. Но бывает и наоборот — резко сокращает. Сколько раз я безотчетно наблюдал таинство смены дня и ночи, не предполагая, что сам же и поставлю для себя на этом последнюю точку. Потому что настал мой Судный день, конечный день в моей многогрешной жизни. И Судный день уйдет вместе со мной, как и все, что связано с жизнью любого человека. Я сам определил себе Судный день, и в том моя горькая привилегия и обреченность.

После того, как я допишу эти строки, я выступлю, если удастся, на космической пресс-конференции. А потом я должен буду свести счеты с жизнью, покончить с собой. Таков мой приговор себе. Я разрушил самосознание общества. Я ненавидим миллионами людей. Я повинен в смерти Роберта Борка. Я в тупике. Я должен исчезнуть, перестать существовать. Иного исхода нет.



И хотя говорят, что перед смертью не надышишься, мне требуется досказать, договорить напоследок. Казалось бы, не все ли равно всеми проклятому на Земле, что станется с опостылевшим миром? Казалось бы, трава не расти! Пусть все катится в тартарары! Но я и на пороге уготованной себе смерти не могу скрыть своей тревоги: что станется с людьми, как откликнется завтра в умах и душах людских история с тавром Кассандры? Ведь, что бы то ни было, истина, преданная анафеме, не перестает быть истиной. Сегодня отвергнутая проблема завтра возникнет вновь, и никуда от этого не деться.

Судный день мой настал. Он был неотвратим. Обратного пути мне нет. Я оставляю вам, люди, свою исповедь. Из нее вам откроется, кто я, назвавший себя впоследствии космическим монахом, откуда я родом, как прожил годы жизни, чем занимался, как далось мне роковое открытие тавра Кассандры...

Прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно: Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверно, существует ради Земли, населенной людьми, а иначе к чему все это? Мир надобен человеку — оттого он и есть, чтобы человек его осознал, оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика, какой смысл? Да и сам Бог! Он надобен человеку — оттого он и Бог, оттого он и есть! Но заслуживает ли человек этих мировых начал? Этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной!

Ну, мне пора. Осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство. Далеко от Земли. Очень далеко. И смолкну.

Простите меня.

Филофей».

Письмо Филофея и текст его Исповеди на русском языке были переданы с борта бывшей обители космического монаха в первые же дни после прибытия туда команды астронавтов. В оперативном донесении командира корабля сообщалось, что в памяти персонального компьютера сохранилось оставленное Филофеем завещание, где он, обращаясь к будущему персоналу космической станции, просил передать хранившуюся в компьютере его Исповедь в распоряжение Энтони Юнгера. «Энтони Юнгер вправе поступить с моими записями так, как сочтет нужным».

Текст был озаглавлен: «О пережитом, с тобой и после».

И далее говорилось:

«Никогда не предполагал прежде, что окажусь на орбитальной станции в космосе. Сюда привела меня наука. Но никто не знает, что в космос я отправился не только с научными целями, что я изгнанник, сам себя изгнавший за пределы Земли, сам себя объявивший впоследствии космическим монахом. Наверное, мне можно было бы назваться и «невозвращенцем», как в былые времена называли себя те, кто по политическим или каким-либо другим причинам отказывался вернуться из-за границы на родину, в Советский Союз, и тем самым бросал на виду у всего мира вызов властям великой державы.

Но нет, пожалуй, тут случай другой. Я не изгнанник и не невозвращенец, это трудно объяснимый уход в себя, уход в себя через космос. Интеграция духа с космосом, если на то пошло, хотя это, может быть, звучит и высокопарно. Но пребывание в космосе оказалось логическим завершением всей моей жизни, высшей и конечной точкой моего развития. Должно быть, в этом была своя необходимость, изначальное предопределение, судьба. Трудно поверить, что такое может быть, но чего не бывает на свете...

А зачиналась она, судьба моя, тоже не так, как у всех. Всю жизнь по этой причине старался я не затрагивать эту вечно отодвигаемую мною в тень тайну моего происхождения, точнее, рождения.

Я был подброшен младенцем, закутанным поверх одеяла в мешковину, на крыльцо детского дома. Отсюда моя фамилия — Крыльцов, которую мне придумали в детдоме. Назвали меня Андреем и отчество извлекли отсюда же — Андреевич. Крыльцов Андрей Андреевич. Произошло это печальное событие, как сказали мне, в конце 1942 года, в зимнее снежное раннее утро. Я то утро смутно помню, хотя никто, конечно, в это не поверит. Но что делать, я говорю так, как есть. А помню я жесткий скрип снега под ногами матери. Помню, как она быстро шла тем зимним утром. Помню, как она судорожно прижимала меня к груди, то и дело испуганно вздрагивая, и я слышал сквозь наши тела, как гулко и больно билось ее сердце. Она шумно дышала на ходу и все время что-то приговаривала торопливо, что-то шептала мне, какие-то слова, едва не плача и силясь сдержать

слезы. В тот час, когда она несла меня, чтобы оставить на крыльце детского дома, я видел сквозь щель одеяльца ее лицо, глаза с ресницами, запорошенными снегом, и сверху серое небо, падавшие хлопья снега. Снег кружил. И возможно, она шептала мне: «А ты заплачь, громко заплачь, чтобы тебя быстрее услышали!»

Когда она положила меня на крыльце, я не сразу понял, к чему это. Мне было холодно, я мерз, и я ждал, что она вернется и возьмет меня на руки. Но она стояла в стороне, спрятавшись за кустами в сугробе, и не подходила. И тогда я заплакал, громко заплакал, и потом открылась дверь, кто-то подошел, поднял меня на руки и унес...

А почему я говорю о сугробе, — потому что это единственное, что мне рассказывали потом: мол, обнаружили следы матери в сугробах и больше никогда никаких следов...

Теперь я представляю, каково ей было там стоять, за кустами, и не подходить на зов своего брошенного дитяти... И часто снится мне один и тот же сон — вот иду я по глубоким сугробам, ищу ее следы, а следы уводят в темный лес, и жутко мне, холодно, снегом заносит. И кричу я: «Мама! Мама!» — и просыпаюсь...

Но что заставило мою мать в то страшное утро решиться на такой страшный поступок? Если бы зная! Кто был мой отец? Знала ли это она сама? И много еще подобных вопросов осталось для меня без ответа, загадкой на всю жизнь.

В детдоме никто со мной не заводил разговоров на эту тему, да и сам я не стремился, хотя подчас и хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, но кроме того, что я помнил, как мать несла меня на руках в то снежное зимнее утро, сказать мне было нечего. Да и никто не поверил бы, что я что-то помню.

Была, однако, одна-единственная женщина на свете, которая почему-то склонна была выслушивать меня, не высказывая сомнений, — Валерия Валентиновна, или, как ее звали сослуживцы, Вава. Мы, дети, тоже звали ее Вава, тетя Вава, и в этом было нечто домашнее, родственное. И, конечно, тетя Вава была самой любимой нашей воспитательницей.

Наш детдом находился на окраине города Рузы, рядом с поселком Малеевка. Это примерно в ста километрах от Москвы. Детдом наш № 157 был создан сразу же после отступления немецких войск из Подмосковья как приют для осиротевших детей прифронтовой полосы. Так вот Вава в то время работала по соседству, в Доме творчества композиторов, расположенном в Рузе, в лесопарке. Это был по сути питомник советских композиторов. Здесь, живя на казенном коште, каждый в персональном коттедже, композиторы разных краев и республик сочиняли музыку века — торжественные кантаты и хоралы, прославляющие самого величайшего вождя всех времен и отца народов товарища Сталина... Сюда иногда приезжали высокие партийные деятели на первое прослушивание произведений, посвященных этому человеку, ставшему из сына сапожника повелителем XX века. Иногда здесь устраивались и шефские концерты, куда допускались и мы, детдомовцы. Тетя Вава была администратором Дома творчества, но, впрочем, она и сама была неплохим пианистом. И это привело ее после войны в наш детский дом в качестве музыкального руководителя.

С осени сорок первого и до весны сорок второго в Рузе и ее окрестностях стояли немецкие танковые войска. Я к этим событиям, понятно, никакого отношения не имел, но между временем моего рождения и моей судьбой подкидыша была, видимо, какая-то связь, во всяком случае, я знаю, что тетя Вава над этим задумывалась и в разговорах со мной, уже подростком, бывало, на это намекала. Она сама пережила почти полугодовую немецкую оккупацию в Рузе и многое помнила. Когда мы оставались с ней одни в музыкальной комнате, она учила меня нотной грамоте, но, случалось, разговор наш выходил за пределы музыкальных штудий.

Вава, Вава! Хотел бы я иметь такую мать, незаметно стареющую на глазах, родимую, близкую душу. И вот что интересно, у меня никогда не было рядом матери, а у Вавы не было детей. Трудно сказать, почему так сложилась жизнь этой женщины, что помешало ей иметь ребенка. Не одиночество ли ее было причиной того, что она так прикипела к детям-сиротам?

— Андрюша, — говорила она мне, — ты, конечно, страдаешь оттого, что ты оказался подкидышем. Я тебя понимаю. Как об этом не думать. Но от таких мыслей не становится легче. Попробуй посмотри на себя со стороны. И ты увидишь другое. Если я не ошибаюсь, Бог дал тебе, Андрюша, большие способности. Честное слово! Вспомнишь как-нибудь мои слова. У тебя светлая голова, ты очень одаренный малый. Вот взять даже музыку, из тебя мог бы получиться

хороший музыкант. Но кем быть, это ты уж сам решишь. Музыкаю можешь заниматься для себя, а людям служить иными делами. Вот закончишь школу, пойдешь учиться дальше, сам будешь строить свою жизнь. И все дороги откроются перед тобой, Андрюша, с твоими-то дарованиями. И ничто тебе не помешает. Пусть ничего не известно о твоей матери, но ведь и кто твой отец, — тоже абсолютно не известно, и что именно толкнуло, что принудило твою мать отречься от собственного ребенка и исчезнуть, трудно сказать. Так вот, по-моему, ты не должен ее осуждать. Нет, нельзя ненавидеть мать, даже если она и виновата. Не сердись, если скажу: ты должен быть благодарен ей. Да! Тебе это кажется странным. Но подумай, Андрюша. Это он нее, от родителей твоих у тебя отличные способности, ты их перенял по наследству, получил от матери, от нее и через нее. Никто не знает, чего ей это стоило — бросить тебя. Раз уж она пошла на это, значит, иного выхода у нее не было. Это, наверно, была единственная возможность сохранить тебе жизнь. Почему, я не могу сказать. Не знаю. И никто не знает. Но то, что у матери твоей не было другого выхода, и только так могла она спасти тебя, в этом я убеждена. Да, риск был велик, но, как видишь, ты жив и здоров. Что-что, а детдома в нашей стране — не пустое дело. По себе можешь судить. И опять же от матери, через нее, ты и собою недурен, и ростом не обижен, и телом не слаб. Многое тебе дано от природы, значит, от матери. Мой тебе совет: исходи из того, что другого выхода у твоей матери не было. Вырастешь, еще многое поймешь.

С годами я приходил к выводу, что Вава имела в виду какие-то исключительные обстоятельства, нечто, не подлежащее открытому обсуждению. Трудно сказать, насколько она сама была в своих предположениях уверена. Через несколько лет, когда я учился уже в Москве, в университете, Вава умерла. И осталась со мной на всю жизнь одна нечаянная обмолвка Вавы, версия без каких-либо фактов, ее подтверждающих либо опровергающих.

Я учился уже в девятом классе, когда рядом с нами, в поселке Малеевка, случилось большое несчастье. Женщина и ее дочь семнадцати лет покончили с собой. Мать повесилась, и дочь сделала то же самое вслед за ней. Жили они одиноко. Мать работала уборщицей в композиторском Доме творчества, дочь училась, подрастала, но все знали, что родила эта женщина свою дочь спустя полгода после отступления немецких войск из Подмосковья, и ни для кого не было секретом, что родила она дочку от немецкого солдата, то есть от захватчика, от оккупанта, от фашиста и тому подобное. Соседи не давали ей житья, в школе девочке не было просвета... В тот день, потрясенная трагическим событием, Вава как-то странно обмолвилась, сама, быть может, того не заметив, но я болезненно запомнил ее слова: «Не могу в себя прийти, Наталья, — говорила она одной из воспитательниц. — Какой ужас! Какая лютая смерть! Мать и дочь накладывают на себя руки... До чего можно довести людей! И подумать только, за что?! Да, война войной, у нее свой счет. Воюют, убивают. Но сколько же можно злом исходить, унижать, тыкать в глаза?! Ну, случилось, ну, родила она, бедная, на свое горе от немца. Хлебнула лиха. Но за что же ей так мстить, какая дикость! А девчонка при чем?! В конце концов никто не выбирает себе отца, мать, у каждого — каких Бог послал. За что им не давали житья?! Да неужели лучше было бы, если бы бросила мать своего ребенка под дверь подкидывшем, а сама бы исчезла с глаз долой, чтобы никогда о ней ни слуху ни духу, чтобы умереть заживо, чтобы провалиться, как в могилу, — только чтоб ее ребенок был, как все...»

С тех пор проклянулась во мне мысль, как цыпленок из скорлупы в урочный час: а что, если и мой отец был как раз таким, что матери только и оставалось, что кинуть младенца под дверь и самой бежать поскорее прочь, навсегда, необратимо, навеки...

Я пытался представить себе, вообразить, как и при каких обстоятельствах могло случиться подобное. Всякое думалось, по-всякому гадалось. И было состояние пустоты, оторванности, брошенности. Должно быть, такое состояние испытывает человек, оставшийся за бортом корабля в море... Корабль исчезает, не откликаясь на зов, и никого вокруг, волны, море. И нет берегов... Но кто-то ведь скинул его в это море?! Кто?

Хотелось знать, хотелось ответить себе на этот вопрос, не пойму, для чего требовалось мне это знать, какой смысл был в этом. В самом деле, что бы это мне дало? Ничего. Но ужасно хотелось знать: если отцом моим действительно был немецкий солдат, то что с ним потом случилось? В голову вдруг приходила наив-

нейшая, нелепейшая мысль — а зачем ему надо было стать моим родителем, кто его просил об этом, кто просил его прошагать через всю Европу, чтобы зародить меня и кануть в неизвестность? Да, хочешь знать свое происхождение, хочешь, но не можешь, но продолжаешь думать. Хотелось знать, куда подевалась родившая меня мать. Да, хотелось знать, что постигло того немецкого солдата, отца моего, остался ли он жив или сложил голову; а вдруг он жив, здоров, пребывает где-то в Германии и ведаёт не ведаёт, что есть на свете у него сын, подкинутый в сорок втором году на крыльцо детского дома... Так это я его сын. А ему и дела нет... А вдруг узнает каким-то чудом и заявится?! Скажет, а вот и я, а где мой сын? И что тогда? Как быть дальше? Но к чему все эти фантазии? Даже если все это действительно было так, ему-то, этому немцу, зачем вся эта история, забывая, как плевок, ему-то зачем терзаться?..

Вот такие дикие, несусветные мысли роились во мне. Но о чем бы ни думалось в этой связи, перекрестком судеб людских непременно выступала война. И обнаруживалась трагедия детей, зачатых войной, родители которых сгнули в разверзшейся пропасти жизни. Холодом, отчуждением, отторжением, ненавистью веяло из той пропасти. И возникало в душе моей чувство внутреннего противостояния всему «нормальнорожденному», в отличие от меня, миру, хотелось доказать им, благополучно явившимся на свет, свое бесспорное превосходство, хотелось, чтобы общество увидело во мне необыкновенную личность, увидело во мне гения и вынуждено было признать мою гениальность, хотелось всегда быть готовым на силу ответить силой, на зло ответить злом...

С этим попутным ветром и выходил я в большую жизнь. Я всегда помнил, что я один, сам по себе в этом мире. У меня не было ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни теток, ни племянников, ни двоюродных, ни троюродных — никого. Я был как бы свалившимся с луны. Возможно, это-то и помогло... Да, я сделал блестящую научную карьеру, я всецело посвятил себя науке, что позволило совершить гениальные — не буду скромничать — открытия на избранном мною поприще. Да, это так! Я служил науке, а наука служила мне, моей известности, моим амбициям, моему положению, моему конформизму...

И все это обернулось в итоге той судьбой, что привела меня в космос, на орбитальную станцию, где я самочинно объявил себя космическим монахом. Это стало, как ни парадоксально, моим безысходным апогеем. Не будет мне места на земле, я это понял...

И только здесь, в космосе, я понял, что судьба предоставила мне уникальную возможность открыто описать прожитое и пережитое, приведшее к бегству в космос. И я сказал себе: ты обязан беспретно осознать все, что было, признаться во всем себе и другим. В этом суть исповеди — ни малейшей пощадки себе. Сказать все, до конца.

А ведь начиналась вся эта история, казалось бы, с совсем малого — с семинара в медицинском институте, где я увлекся изучением чуда зачатия и таинства явления человека на свет, возможно, опять же движимый в подсознании комплексом подкидыша, хотя в повседневности я никогда ни с кем не обсуждал эту большую для меня тему и, следует подчеркнуть, в окружении моем тоже никогда не возникало подобных разговоров.

Думаю, что для работающих со мной я был важен прежде всего как научный руководитель, как жесткий шеф, как непререкаемый авторитет, пользующийся неизменной поддержкой верхов. И что греха таить, я не чужд был того, что является, на мой взгляд, треклятой загадкой людского рода, не чужд был тщеславия и властолюбия. Я все время стремился утвердиться в своих и чужих глазах, укрепить свой авторитет. И когда за спиной моей шептались: «Наш гендик», — это вовсе не означало «наш генеральный директор», а имелось в виду — «наш гениальный диктатор». И меня это нисколько не смущало, напротив. Это трудно объяснить, но ненасытная, неутолимая жажда власти — действительно одна из непостижимых загадок человечества, и я тоже жаждал повелевать, требовал дисциплины, требовал беспрекословного подчинения от сотрудников своей «закрытой» лаборатории, а затем, став директором, и института; талант и дисциплина — такова была моя установка при подборе кадров.

И благодаря этому к тому времени, когда я оказался в центре внимания как экспериментатор, как дерзкий зачинатель нового, неожиданного направления в биологии, я был уже величиной не только в науке, но и пользовался авторитетом как организатор, руководитель. Да, моя карьера складывалась весьма удачно,

как потом я понял, не без содействия заинтересованных инстанций, но это разговор особый; я же, вдохновленный успехами, летел над полем науки, подобно шмелю, вырвавшемуся, накопив силы, в яростный полет; я летел от открытия к открытию, оглушая себя гулом не ведомых прежде никому замыслов, готовый потеснить на этой ниве едва ли не самого автора технологии вечности — самого Всевышнего. Ведь я самолично решал, пусть в пределах научных экспериментов, кому родиться на свет Божий, как родиться, от каких родителей, независимо от того, желали ли бы они того или нет, если бы знали, что я могу сотворить из их семени...

Неудивительно, что теперь я говорю себе: отсюда и самомнение твое! Что и говорить, я был поистине оглушен умением управлять зачатием и рождением человека.

Первые мысль о возможности выведения анонимно рождаемых людей путем искусственного оплодотворения возникла по аналогии с искусственным осеменением сельскохозяйственных животных. Там, в зоотехнике, это всегда было актуальной проблемой. Человек изменял породу животных в соответствии со своими хозяйственными интересами.

Как далеко ушла от эстро экспериментальная биология, занявшись проблемами искусственного выведения человека, и не просто в целях научного познания, а с тем, чтобы управлять, а вернее, манипулировать человеческим рождением!..

Да, теперь я пытаюсь осознать, как могло случиться, что я вылетел в самооглушении из темного дупла науки, которой все безразлично, кроме собственной сути, но тогда я не думал, не подозревал, насколько безотчетно предаюсь этим опасным для рода людского занятиям, далеко выходящим за пределы нравственности. Для меня, тогда молодого ученого, существовал единственный критерий — научный приоритет. И ради торжества науки я вторгался туда, куда до меня не отваживался ступить никто из предшественников, в зону, запретную для всех религий; я вызывающе бил ногою в дверь, на пороге которой следовало склониться перед Богом.

Вот куда тебя заносило! И, когда однажды тебя вызвали в партком института и очень уважительно, доброжелательно, и даже подобострастно извиняясь, поставили в известность, что твои труды отныне считаются секретными, что публикации о твоих ценных исследованиях не должны появляться в открытой печати, тем более за рубежом, ты и тогда не придавал этому значения. А ведь это был первый ошуп твоей души. Будущие заказчики формировали из тебя нужного им исполнителя. Для тебя же важно было другое — «делать дело, двигать науку вперед».

Признаться, ты был Мефистофелем биологической преисподней. Холодный ум, аналитическая пронизательность — вот те качества ученого, которые ты ставил превыше всего. Ты не искал оправданий своей роли и не пытался разобрататься — что побуждало тебя прилагать столько неукротимой энергии на этом окаянном пути. Кто же мог знать, что подкидыш желал быть прежде всего непревзойденным никем, гением века?! Занятый всецело научными проблемами, ты незаметно для себя оказался по ту сторону добра и зла, не дал себе труда вникнуть в извечные терзания людей, творцов и пленников своих же заповедей. Ты ими пренебрег, мытарствующими в веках в поисках смысла жизни, тебе было не до того. А высказывание великого философа Лосева, соотечественника твоего, твоего современника, который, размышляя о роли науки в истории человечества, обронил как бы специально для тебя актуальную мысль, ты удосужился отодвинуть от себя подальше. Лосев же, между прочим, писал по поводу нигилизма новоевропейского учения о бесконечном прогрессе общества и культуры, что, согласно европейской парадигме, ни одна эпоха не имеет смысла сама по себе, а лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, и каждая следующая эпоха тоже не имеет смысла сама по себе, а и она тоже — навоз и почва для грядущей эпохи, а равно и всех возможных эпох; цель же постоянно и неизбежно отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена, неизменно оправдывая тем самым провозглашателей всех новых эдемов. Ты истолковал эту глубокую мысль Лосева в соответствии со своим стремлением обеспечить себе вободу рук, переложить собственную ответственность на потомков. Ты убедил себя, что твоя миссия — «двигать науку», совершать открытия, а как быть с их результатами, пусть решают другие. Твое дело — вырастить плод в инкубаторской матке, а что станет с искусственно выведенными людьми, тебя не касается.

В современном обиходе получила распространение блестящая по своему цинизму фраза: «Это ваши проблемы». А ты уже тогда придерживался этого принципа, отвечал своим оппонентам о судьбе искусственно зачатых: пусть это беспокоит их самих, следует оставить им самим их личные проблемы. Рождения, с точки зрения социального положения, в равных с другими условиях, им, искусственно зачатым, предстояло самим думать о себе, как и всем прочим. К науке как таковой все это, считал ты, не имеет прямого отношения. Все, что было за пределами технологии искусственного деторождения, тебя не волновало.

Да, ты был таким. Возможно, в своей научной области ты и в самом деле был гением, способным совершать мировые открытия и прогнозировать дальнейшее развитие науки. Но все твои поступки направлял все тот же подкидывш. Ты не признавался себе в этом, но именно подкидывш, некогда брошенный на крыльце, постоянно порывался доказать миру, что он может невозможное — он может повелевать рождением людей, заранее запрограммированных. Ты вершил эти судьбы в своей лаборатории, ты совершал то, что не осмеливался и не умел никто другой, — ты производил искусственно конструируемых людей по своему умыслу и рабочему графику, ты был одержим, ты упивался своей незримой властью над людьми.

И на всякий случай ты находил себе оправдание в том, что переживал и постигал в геополитических масштабах весь мир — в предощущении апокалипсиса XX века. Ведь никто не останавливал на скаку коня науки перед жуткой бездной термоядерных открытий, никто из ученых, действовавших в той области, не повернул вспять, не наступил себе на горло, чтобы не вторгаться в те смертоносные основы мироздания, обнажение которых несло глобальную угрозу бытию. Наука бесстрастно балансировала между гениальностью открытий и преступностью действий, увенчивая всемирной славой безымянных по стратегическим соображениям, но со временем объявлявшихся отцов атомных бомб, страдавших, чем ближе к концу жизни, тем больше, — как бы не остаться в безвестности. И их наука двигалась. Ведь ученым мужам важно было проникнуть в недра атома, не оглядываясь и невзирая ни на что, важно было поскорее завладеть той дьявольской силой, которая, вопреки физическому ничтожеству человеческих существ, давала им возможность претендовать на вселенское всемогущество. А что касается смертельной опасности, проистекающей из фанатизма этих научных идей, что касается неизбежных последствий открытий ядерщиков, то эти тяготы оставлялись на долю потомков. Это им предстояло маяться за одержимые открытия отцов, это им предстояло думать и решать, как быть, как дальше трансформировать материю для своего потребления. И все пока обходилось... На это ты и уповал...

Да, ты был твердо убежден: ученый не несет ответственности за результаты своих исследований так же, как природа не несет никакой ответственности перед человеком. И ничто не могло тебя смутить, ничто не в силах было пошатнуть твою мессианскую уверенность в собственном предназначении.

Да, ты был восходящей звездой в том зазеркальном, сокрытом от взоров научном мире. И даже после того, как твоя жена Евгения покинула тебя в одночасье и бросилась прочь, как от чумы, укатила считаться по областным театрам, на подмостках которых ей доставались разве что страдальческие старушечьи роли, так быстро она состарилась вдруг после всего, что ей пришлось узнать и пережить с тобой, даже после ее бегства ты не осекся, не содрогнулся, не глянул вокруг себя, не кинулся ей вдогонку, а самое главное, не пытался критически осмыслить то, что оказалось столь ужасным в ее глазах. Евгения не сразу вникла в смысл твоих изысканий, не сразу представила себе, в чем суть твоих экспериментов. Она была далека от научных интересов, жила в иной стихии — стихии искусства, но она была близка тебе, и ты прожил с ней многие годы, она проявляла терпимость к тому, что ты интересовался только работой, и даже к тому, что ты сам постоянно делал ей аборт, о чем впоследствии горько жалел, понимая, что рубил сук своей семейной жизни, вызывая неизбежное возвращение к себе нормальной женщины, все это не остановило тебя, ты не призадумался, не попытался ответить себе — так ли ты уж прав, не считаешь в своем фанатическом увлечении наукой с чувствами и помыслами других, и прежде всего любящей тебя жены. Когда Евгения узнала, чем ты занимаешься, к чему с годами пришел и какие цели преследуешь при этом, она плакала перед тобой на коленях, умоляла бросить все, уехать куда-нибудь подальше от Москвы, куда-нибудь на Дальний Восток, где полно работы в научных центрах, где профессура

высоко читится и не хуже, чем в Москве, оплачивается, где и она сама нашла бы свое место в тамошней театральной среде, умоляла тебя начать новую жизнь, завести, наконец, детей, но ты не поддался на уговоры жены, на тебя не подействовал ее, как ты считал, наивный ужас перед твоими экспериментами, ее сантименты, ты не пожелал расстаться с вверенным тебе делом. И сколько бы ты потом ни сожалел, сколько бы ни каялся, было поздно... Жизнь уходит с кругов на иные круги...

Твое тщеславие не знало уема. Евгения уехала-таки, но тебе казалось — что уж так сокрушаться, найдешь себе другую, вот поосвободишься немного от дел, присмотришься — вокруг столько женщин — и, несомненно, сможешь выбрать себе по вкусу и, самое главное, морально не закомплексованную, без ненужных сомнений в нравственности дела, которым ты занят. И приведешь эту женщину в свой академический особняк на «феодальном» бульваре для избранных, рядом с такими же особняками атомщиков. Но всего этого не произошло, хотя казалось вполне возможным и доступным. И не до того тебе было, потому как надвинулись новые события, они-то и определили всю твою последующую жизнь и все то, что вынудило тебя удалиться в космос, на орбитальную станцию, и объявить себя космическим монахом.

К тому времени ты был достаточно известной личностью в академических кругах и уже пользовался особым вниманием курирующих науку политических органов. Надо быть справедливым, в этом смысле ЦК КПСС оказалась на должном уровне. Насколько это так, ты мог убедиться на собственном опыте не раз и не два. Благодаря покровительству ЦК легко, почти без хлопот и «пробиваний» твоему институту, и прежде всего твоей знаменитой лаборатории, предоставлялись любые фонды и привилегии. О, как быстро привыкает человек к милости верхов, к дворцовой приветливости, к барской отзывчивости. Всегда ли так было в мире и всегда ли так будет, спрашиваешь ты теперь себя. За примером не надо бежать далеко. Президент Академии наук, ведущий атомщик, по телефону и в личных беседах не забывал напомнить: «Андрей Андреевич, ради бога, ни в чем не ограничивайте себя. Работайте уверенно, страна готова обеспечить вашу программу всем необходимым. Все, что потребуется, — импортное оборудование, препараты, жилье для сотрудников, транспорт, короче говоря, все, что потребуется, — просите, не стесняйтесь. Вы делаете архиважную работу...»

Тебе становилось не по себе от таких комплиментов якобы от имени всей страны, простиравшейся на полмира, от этой щедрости; тебя коробило от того, что сугубо научные эксперименты все больше привлекают функционеров, закруживших вдруг, как хищные пернатые, но ты отмалчивался, нет, ты не лебезил в припадке благодарности, но ты и не возражал, и не пытался сказать, что не следует рассматривать тебя как безотказного исполнителя некоего сенсационного проекта, показавшегося столь привлекательным высшему руководству. Да, надо было своевременно остановить себя, надо было, как потом стало ясно, не давать оснований для уверенности в твоей несомненной лояльности... Но ты был то ли слаб, то ли беспринципен, то ли не чужд в душе карьеризма, стремления к липкой близости к власти предрежащим. И не потому ли оказалось само собой разумеющимся, что именно тебе предложили возглавить научную программу, весьма двусмысленную по замыслу. Именовалась она «Эмбриональная регуляция полов», но основной целью ее была разработка метода выведения анонимно рождаемых индивидов.

Такого еще не бывало на свете. И ты оказался причастен к этому, как разбойник, выбегающий наперерез движению естества. Выведение «иксродов», то есть анонимно производимых людей — рождаемых анонимной женщиной от анонимных родителей, — оказалось главной задачей твоей засекреченной лаборатории.

Термин «иксрод» — не твое изобретение, его придумали хваткие на всякого рода аббревиатуры партийные кураторы науки — вскоре стал своеобразным паролем, едва ли не революционным, ибо целью лабораторного выведения иксродов было формирование совершенно нового типа человека, будущего рыцаря идеологии. Иксроды должны были стать беззаветными революционерами XXI века. Именно это имелось в виду. В этом партийной верхушке виделся новый способ оживления и реставрации издыхающей мировой коммунистической идеологии. И, признайся, уху твое вскоре стало привыкать к неологизму «иксрод», а душа — к делу, которым ты занимался, ты сумел-таки уверить себя, что твои эксперименты — это только наука, а что из них следует — не твоя проблема.

Стоп! Не спеши. Здесь надо расставить все точки над «и». Да, понятно, термин «иксрод» предложила инстанция, имея в виду далеко ведущую программу выведения нового типа человека. Но ведь в самом начале, при первом упоминании о стратегических целях программы, ты не возразил, не отказался, не пытался отмежеваться. И тебя мало смущало, что тебя величали новым Дарвином и что эта неслыханная в истории цивилизации программа вытекала из твоих теоретических и практических разработок, из твоих на этот счет прогнозов. И было как бы совершенно естественно, что в ответ на предложение быть научным руководителем программы по выведению иксродов ты не согласился тотчас же, ты обещал подумать, но — не отказался! Да и следовало ли, да и возможно ли было отказываться? Ведь один в поле не воин. К тому времени ты уже был, можно сказать, официально ангажирован в той степени, когда категорическое отрицание чего-либо, исходящего от власти преобладающих, почти исключается.

И это подтвердилось. В тот же день, когда ты в ответ на предложение Президента Академии наук обещал подумать, ты был приглашен на Старую площадь, к члену Политбюро и секретарю ЦК КПСС по идеологическим вопросам и международному коммунистическому движению Конюханову Вадиму Петровичу.

На Старую площадь ты подъезжал почти привычно, не так часто, но все же несколько раз в году ты бывал здесь по разным поводам. И на этот раз ты подкатывал на своей директорской черной «Волге», поглядывая по сторонам на пробегающие машины, на толпы прохожих на московских улицах. Если бы они знали, куда и зачем ты следовал, то ничего дикого не было бы в том, если бы они перегородили улицу живой цепью и разбили бы вдребезги твою машину, и забили бы тебя камнями, Бог простил бы им эту лютость.

Как всегда, послеполуденная Москва была переполнена людьми, особенно в центре города. Сознали они или нет, но, пожалуй, все проблемы бытия воплощались для них в тот час в поисках чего-то, в неисчислимых замыслах что-то достать, обрести и нескончаемых действиях в этой связи. Но абсолютно никому из них ни на секунду не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то неподалеку задумал некое дело как совокупный вызов Природе, Истории, Богу, людям, всем, вместе взятым, после чего мир станет иным, как бы заново пересмотренным. А тот человек, который потенциально мог осуществить этот замысел, между прочим, катил мимо них в роскошном автомобиле, и никто из них в тот час, естественно, не догадывался, что этот человек работает на то, чтобы настало время, когда архаизмом станут понятия семьи, родословной, генетической преемственности поколений, что любой может в результате оказаться началом и концом — без малейшего представления о тех, от кого он произошел и кого он породил. Эти функции взамен семьи надлежало нести Государству-Отцу...

Ну нет, конечно, то была не твоя личная глобальная программа. Идеологическое озарение посетило не тебя, а других, пусть даже так, но именно ты послужил тому, твоя наука послужила, твои эксперименты натолкнули черные силы тоталитарного государства на идею использовать их в своих целях. Об этом ты говоришь теперь, после всего, что произошло. Но и тогда ты смутно догадывался о том, какие практические выводы можно сделать из твоих открытий, однако считал, что тебя это непосредственно не касается, и старался не думать об этом впрямую, не рефлексировать. Оказалось, однако, что существует грандиозный замысел, что это далеко не утопия, что то, чем ты занимаешься, уже не только научные игры поощряемого властями экспериментатора. Ты понял это по прибытии в ЦК.

В этот раз у входа в проходной тебя встретил секретарь Конюханова и повез персональным лифтом, минуя все контрольные посты, на седьмой этаж. Конюханов уже ждал тебя. Он сам открыл двери и пригласил тебя в кабинет.

— Андрей Андреевич, рад вас видеть! — живо поблескивая взором через очки, приветствовал он тебя. Ничего наигранного в его радушии не было. — Заходите. Не так уж часто мы с вами видимся. Так давайте уж поговорим немного, отведем душу. Жду вас, для этого отложил сегодня нашу повседневную текучку, будь она неладна. Да, вы правы, надо бы почаще общаться, Андрей Андреевич. Но на все требуется время, время, время! Заходите! — И предупредил секретаря: — Никаких звонков. Меня — нет.

Следовало понимать, что данной их встрече придавалось какое-то исключительное значение. В общем, так оно и оказалось.

Конюханов умел вести себя, умел располагать к себе собеседника. Был учтив, вдумчиво слушал, продуманно говорил. Корректно был одет: строгий кос-



тлю, галстук под цвет, хорошая обувь. Должно быть, не передал, не перепивал, держал себя в форме. Необыкновенно прозрачные очки очень подходили к его продолговатому аскетичному лицу. «Приклеить бы козлиную бородку, можно самого Дзержинского играть!» — почему-то подумалось тебе.

Мнение об этом секретаре ЦК бытовало вовсе не дурное, напротив, многие хорошо отзывались о нем как о широко мыслящем человеке. Среди членов Политбюро он был одним из самых молодых, ему было под пятьдесят, и считался наиболее работоспособным. Карьеру делал на дипломатическом поприще, весьма продуманно и целеустремленно — в странах, для нас политически особо приоритетных: был советником, а затем послом в Северной Корее, Вьетнаме, на Кубе и в Китае, заслуги его были высоко оценены, и вот оттуда, с той горячей линии, его и выдвинули, причем, по общему мнению, вполне заслуженно и справедливо. А дальше, буквально перед самым отбытием на международный Олимп, — Постоянным Представителем в ООН, Конюханов вдруг был передвинут в партийные органы, в их высший эшелон, и с тех пор ведал всей идеологической и внешнеполитической работой в сфере международных коммунистических движений.

Вот то, что ты знал о Конюханове, и вот представился случай, когда ты увидел его в несколько ином ракурсе.

После общих фраз он заметил для начала разговора:

— Андрей Андреевич, начну издалека. Понимаете ли, если я скажу, что история человечества свершается в одночасье, в то мгновение, когда, допустим, кому-то пришла в голову некая молниеносная мысль, как говорят в таких случаях, в одно прекрасное мгновение, пожалуй, это будет чересчур. Известное дело — в жизни все до поры до времени развивается эволюционно. Но иногда вдруг возникает, так сказать, революционная ситуация, возникает коллизия, когда некая мысль, некая идея действительно способна враз перевернуть мир. И сейчас как раз такой момент. Только ради бога, не подумайте, что источник этой идеи — моя скромная персона. Я всего лишь попутная птица.

— В таком случае я какая птица? — не удержался ты, пытаюсь понять, к чему ведет собеседник.

— Немножко терпения. Это всего лишь присказка. А иначе не подойти к существу дела. Так вот, продолжу присказку. То, что я имею в виду, — исторический шаг, носящий революционный характер. В нем искорка от Французской, пламя от нашей, Октябрьской, так я полагаю. Это результат абсолютной свободы мышления, полного разрыва со стереотипами, но это именно то, что имел в виду еще Платон, — воздействие идеи на материю и преобразование материи в социально-политический идеал. Я понимаю, Андрей Андреевич, вы сейчас, пожалуй, в полном недоумении, к чему я все это, что за лекция? Но извините, вопрос имеет к вам, к вашей науке прямое отношение. Да, да! Не удивляйтесь!

Ты сидел с ним за большим столом, предназначенным для групповых совещаний. Секретарша принесла чай в тонких стаканках, вставленных в причудливо-узорчатые подстаканники. Ты понимал, что приглашен сюда по очень важному делу, по особо важному, иначе зачем все это, зачем столь пространное вступление к разговору. И ты пытался уловить, в чем Центральный Комитет партии увидел практический смысл твоих более чем специфических научных экспериментов. И постепенно картина вырисовывалась, поражая тебя масштабом, настораживая и в то же время захватывая своей дерзостью.

— Ну так вот, Андрей Андреевич, к чему, собственно, веду я наш разговор, — продолжил Конюханов. Он задумчиво придавил окурочек в хрустальной пепельнице и вскинул голову. — Пожалуй, я излишне усложняю, — усмехнулся он. — Привык к разного рода преамбулам. А мы с вами люди свои, Андрей Андреевич. Свои. И потому буду предельно откровенным и, насколько удастся, кратким. Вот это для меня тяжеловато. Но... Первое, что во главе угла, — партия верит вам, Андрей Андреевич. Верит. И задача, которую выдвигает перед нами история, — наша общая. Да, понимаю, наука и политика — вещи разные, но классовый подход неизбежен во всем и всюду. На том мы, марксисты-ленинцы, стоим, и в этом, бесспорно, наше историческое преимущество. Вот в данном случае ваши открытия, открытия, если можно так выразиться, рукотворной биологии, — ведь это далеко идущее вторжение в природу человека, собственно, это реконструкция человеческой личности — ее происхождения, места и роли в обществе, а в дальнейшем и возможность реконструкции всего человечества по матрице искусственно рождаемых. Как говорится, лиха беда начало. Вон куда поехала телега XX века!

Не мне вам объяснять, но в этом смысле я вполне согласен с оценкой нашего Отдела науки — такого не было со времен творения. В вашем лице наука достигла прямо-таки невиданного могущества. Как говорится — честь вам и слава! Неуловимая стихия зачатия и рождения становится управляемым делом. Вот и возникла мысль: а что если попытаться внедрить это в массовом порядке? Это же революция, которой пока нет названия, настоящая революция в воспроизводстве человека как вида! А раз так, раз этот процесс управляем и контролируем и представляет собой новый фактор общественной жизни, новый рычаг истории, то, согласитесь, — это уже дело политики. И здесь мы с вами встречаемся, Андрей Андреевич, уже как партнеры. Мы исходим из того, что партия не должна оставаться в стороне, эдаким любопытствующим наблюдателем, а напротив, не упуская времени, должна стать во главе этого процесса, направить его в соответствующее русло в целях и интересах нашего общества, нашей идеологии. Извините ради бога, Андрей Андреевич, я неисправимо многословен. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вы все понимаете загодя, вы — гениальный человек. И вот что я еще добавлю. Нам нельзя забывать, чего бы это ни касалось — от открытий в космосе до открытий в экспериментальной биологии, — нам нельзя забывать нашей конечной цели, нашей всемирно-исторической роли. Вот что главное. К сожалению, определенные ревизионистские настроения бытуют даже у нас в ЦК, аппаратных кругах. Мне от вас нечего скрывать, мы — свои. Некоторые товарищи хотят легко и удобно жить при социализме в отдельно взятой стране, забывая, что мы должны думать о трудящихся всех стран! В соревновании с капитализмом мы должны победить. И пусть лозунг мировой революции сейчас впрямую не провозглашается, коммунизм победит на планете! Это — наша цель, и приближать ее мы должны всеми возможными путями, всеми средствами. В том числе и используя новейшие достижения науки. Поглощенный своими научными экспериментами, вы вряд ли подозреваете, Андрей Андреевич, что ваши уникальные достижения в экспериментальной биологии предвещают нечто глобальное в масштабах человеческого бытия. Да, да! Я это всерьез. На первый взгляд, это трудно себе представить — ведь началом всему выступает всего-навсего лабораторно зачатый эмбрион, плод, возникший, так сказать, в пробирке. Но все дело в том, что рождающийся в результате этого человек — назовем его иксрод — личность анонимная, это ничейный, искусственно выведенный субъект, я так понимаю. Почему я пытаюсь объяснить хорошо вам известное? Дело в том, что для вас это предмет захватывающих лабораторных экспериментов, а для нас иксрод — новый тип человека. И, по нашим прогнозам, именно иксроду предстоит перевернуть старый мир во избавление от него трудящихся классов! Вот в этом вся соль. Именно он, иксрод, может стать со временем главной действующей фигурой в историческом процессе!

Я говорю об этом, может показаться, со слишком большим энтузиазмом. Не без того. И есть почему. Ведь феномен иксродов удивительно многообещающ в политическом плане. Это будет именно та пробивная сила, которая, в отличие от нас, без оглядки, без страха и сомнений будет бороться за победу коммунизма во всем мире. Семья и прочие родственные отношения как архаичные институты старого мира насилия будут сброшены на свалку истории именно иксродами. Иксроды как носители небывалой свободы личности и духа будут прокладывать путь к новой эре человечества, давно предвиденной нашим революционным учением. Иксрод в перспективе не только ликвидатор старого, отжившего, но и создатель нового мира. Не сомневаюсь, великие люди, гении в иксродовой среде будут появляться гораздо чаще, чем в обычной, архаичной. Сами понимаете — тут полная свобода от семейных и прочих рутинных уз и забот. Дети производятся искусственно, обезличенно и соответственно воспитываются. Кстати сказать, некоторые товарищи в Отделе предлагают называть анонимно рожденных «сбакитами» — так называют кусок ценной породы неизвестного происхождения, но мне не кажется, «иксрод» — лучше, точнее.

Пока мы, лишь теоретизируем, лишь рассуждаем на интересующую нас тему, прогнозируем, что несет с собой это неслыханное явление новочеловека, но прогнозировать необходимо. Нельзя сидеть сложа руки, когда современная цивилизация гонит одну за другой новые волны и событий, и проблем. История нам этого бы не простила. И я хочу сказать в этой связи, что будущее во многом будет зависеть оттого, кто сумеет захватить приоритет в глобальной борьбе миров. Победителем станет тот, кто широко раскроет двери в обществе новолюдям — иксродам, явное преимущество которых в том, что эти анонимно рожденные

существа будут абсолютно свободными от семьи, от всевозможных родственных и клановых уз, от патриархальных и прочих связей, что повлечет за собой избавление от векового груза устаревшей этики. В политическом аспекте — это неосценимый выигрыш. Иксроды станут эталоном коллективизма и интернационализма. Они станут ударной силой коммунистического интернационала, и именно они нанесут Западу решающий политический удар!

Все это, как вы сами понимаете, в перспективе, однако общая концепция должна быть проработана и должна быть задействована. И партия глубоко заинтересована в том, чтобы такой ученый, как вы, Андрей Андреевич, разделял нашу позицию по данному вопросу. Вот в чем, собственно, смысл нашей встречи. И я полагаю, что мы находим общий язык. Ведь на практике от вас, Андрей Андреевич, зависит главное, вы — творец технологии производства иксродов. А мы уж постольку-поскольку: идеология — это ветер в паруса, мощный ветер движения, но не паруса... Не так ли? Кстати, и компетентные органы проявляют большой интерес к вашей работе, у них есть на этот счет конкретные предложения.

Разговор еще продолжался. Ошеломленный услышанным из уст самого секретаря ЦК, я пытался скрыть в себе то, что терзало и мучило меня в тот час. Я не привожу здесь своих замечаний и реплик по ходу беседы, они не столь существенны в том смысле, что не содержали в себе чего-либо отличного от позиции ЦК или, допустим, оспаривающего мнение Конюханова, в лучшем случае мои высказывания можно было бы принять за осторожные сомнения собеседника.

В чем же дело, почему я теперь вспоминаю об этой беседе с ужасом?! И теперь, уже в космосе, задним числом восклицаю: что затевалось-то, что задумывалось вокруг иксродов, к чему изготовлялись?! Пытаясь объективно воспроизвести ту памятную встречу, я излагаю все, как было, и в отношении себя, как я выглядел в тот час. Мое поведение, разумеется, не делает мне чести. Но тогда, на Старой площади, вряд ли я мог повести себя иначе, — это не в оправдание, я не герой и не хочу им быть, но честно скажу, вряд ли я мог повести себя иначе, не рискуя в перспективе тем, чтобы быть ущемленным, постепенно отстраненным от разработки своей главной темы, которую захватят мои же сотрудники, верные оруженосцы партии, — таких примеров в Академии наук было сколько угодно. Утрата руководящего положения и влияния часто оборачивалась катастрофой и пострашней, чем потеря положения в науке. Да, во мне говорил классический конформист, прислужник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в подавляющем своем большинстве, что бы она сейчас ни заявляла о себе постфактум.

И еще один момент, индивидуальный, личный, но не менее существенный, мешал мне в том случае... Понимаю, что и это не оправдание, и все-таки... Как поджелудочная железа, постоянно выбрасывающая в организм ферменты, меня все время подгоняла и помыкала мной болезненная мысль о том, что думает попутно Конюханов о моем собственном анонимном происхождении. Эта мысль не давала мне нормально чувствовать себя. Понимал ли он это или нет, или, увлеченный своими умозаключениями и идеями, начисто забыл, выпустил из вида, кто я, что я по происхождению, или, напротив, умышленно эксплуатировал этот факт моей биографии — биографии подкидыша, обнаруженного когда-то в мешковине на крыльце рузского детдома. Ведь фактически я и был иксродом, пусть и естественно рожденным, но именно таким, без рода, без племени, негнибаемым, невозмутимым, если не сказать — бессердечным в своих поступках, прослышшим жестким специалистом своего дела, человеком, не распылявшим своих способностей и времени ни на что другое, кроме целенаправленной деятельности. Судя по всему, партийных идеологов именно это и устраивало, именно такими им хотелось видеть настоящих иксродов. Я бы подобием иксрода по воле судьбы. Хоть и не говорилось об этом в открытую, но я невольно представлял в качестве живого примера, в некотором роде прообразом... Я понимал это... Возможно, этим и объясняются странные ощущения, владевшие мной в тот день в одном из главных кабинетов на Старой площади.

Я чувствовал себя неуверенно — зыбко, смутно, переменчиво: душа терзалась в калкане. Получалось, что в стенах этого кабинета возникал как бы заговор с моим участием. Где проходит граница между научными опытами и преступлением, кто бы мог указать ту зыбкую между?! В душу вкрадывались сомнения: а если это заговор против вековых устоев человечества, пострадавших в долгой цепи поколений, человечества, живущего пусть и страшной и нелепой жизнью, но неизменно, из рода в род, жаждающего совершенства, надеящегося на чудо в достижении утопических идей, исходя из чаяний предков, неизменно веривших

в то, что, если им не удавалось, то дети, внуки обретут искомое счастье... Иксродам предстояло остановить движение того исторического колеса, положить конец Отцовству, Материнству, положить конец всему, что являлось продолжением опыта поколений для всех и для каждого на белом свете... Ситуация, не предвиденная в веках и немислимая: вторично, вслед за Адамом и Евой, изгонялись из мира Отец и Мать, причем негласно, без раскатов громоподобного гнева с небесных высот, без проклятий, запечатлевшихся на все времена, изгонялись весьма прозаично — через исключение родительских обязанностей, изгонялись коварно и исподволь — через манипуляции зародышами, изгонялись при этом в никуда... И во всей этой истории я невольно фигурировал в тоге главного действующего лица, гонителя и незримого палача Отцовства и Материнства...

Но в то же самое время я понимал, сколь возрастает моя роль, мое значение, сколь важным становится мое место под солнцем конъюнктуры. Во мне нуждались сильные мира сего как в исполнителе грандиозной акции.

Я сполна пожинал жатву подкидыша. Возможно, это было предназначено самой судьбой, как по некоему дьявольски задуманному сценарию, — меня как бы умышленно подталкивали отомстить миру именно таким невероятным образом, — я, иксрод по рождению, был призван выводить племя анонимно рождаемых иксродов по разработанной мною технологии. И кому-то очень на руку оказалось такое стечение обстоятельств — очень своевременно, очень кстати под вернулся я на этом повороте истории...

Прощаясь у дверей, Конюханов сказал:

— Андрей Андреевич, не знаю, как вы, а я получил огромное удовлетворение от нашей встречи...

Я ответил ему примерно такой же любезностью. И тогда он неожиданно продолжил разговор.

— Понимаете ли, Андрей Андреевич, я хочу вам объяснить один момент. К вам будут обращаться товарищи из органов, они по части... — он не досказал и продолжил: — У них будут свои предложения, с тем чтобы содействовать вашей задаче. Ну это, конечно, вопросы технического, организационного порядка, можете не беспокоиться. У них, кстати, как всегда, все продумано и рассчитано, и в данном случае, я бы сказал, тоже со знанием дела...

Честно говоря, такое сообщение меня несколько обеспокоило:

— Вадим Петрович, — обратился я к Конюханову. — Коли вы уж упомянули об этом, за что я вам признателен, то не лучше ли мне услышать от вас лично, в чем будет выражаться содействие упомянутых товарищей. Ну, чтобы быть готовым к соответствующим контактам.

— Пожалуйста, — понимающе улыбнулся Конюханов. — С готовностью, Андрей Андреевич, с вами поделюсь, и это будет правильно, согласен. Информация у меня от нашего Отдела. А остальное узнаете непосредственно в процессе работы.

То, что довелось услышать дальше, действительно, с точки зрения чисто делового подхода, оказалось весьма и весьма рациональным. Товарищи знали, чего хотели, и все продумали и предусмотрели.

Я размышлял об этом уже в машине. Снова глядя на многолюдные московские улицы, я вспоминал подробности беседы с Конюхановым, потрясенный тем, как внезапно мои лабораторные занятия переросли в крупную, строго засекреченную программу государственной значимости.

По проекту компетентных органов выведение иксродов предполагалось производить в два этапа. Первый — эмбрионально-инкубационный — возлагался целиком и полностью на мой институт, под мою личную ответственность, для чего я получал соответствующие права и средства. Самое сложное на этом этапе было связано с имплантацией лабораторно зачатого анонимного зародыша в чрево инкубы, женщины, предоставляющей свой организм для вынашивания подсаженного эмбриона, то есть для обычной девятимесячной беременности. После родов начинался второй этап, условно — молочно-грудной. Эта часть программы нас уже не касалась, вращиванием и дальнейшим воспитанием иксродов должны были заниматься специальные интернаты. Примерно такой в общих чертах представлялась компорганам «индустрия» иксродов.

Проблемы? Как и везде, здесь возникали свои проблемы. Наиболее уязвимыми в этой технологии оказались, как ни парадоксально, не трансплантация зародыша в трубу женщины-донора, не выращивание там плода, а чисто субъективные факторы морально-этического порядка, связанные с психологией этих женщин, которых предлагалось именовать инкубами. Искусственно зача-

тый в лаборатории иксрод генетически не имел к инкубе никакого отношения. Стоит ли говорить, что далеко не каждая женщина, отнюдь не каждая, согласилась бы на такой «прокат», на «арендное» употребление своего материнского лона, на фиктивное материнство. Вокруг этой проблемы запросто мог возникнуть общественный скандал. И что тогда? Какой шум поднялся бы за границей, докатился бы до ООН и прочих гуманитарных организаций, так и ждущих какого-либо громкого дела!.. И вот тут надо отдать должное прозорливости и находчивости нашего всеведающего «трехбуквенника» — КГБ. Когда провожавший меня к дверям Конюханов излагал организационные идеи компорганов, я понял, как птица, оказавшаяся в пещере, откуда выход только один, я понял, что наша лаборатория, наш институт и я сам давно находились под бдящим оком компетентных органов — настолько точно была схвачена суть проблемы. Работники КГБ предлагали свою методику и содействие в решении задачи. Предлагалось следующее: инкубы будут секретно вербоваться из числа женщины, осужденных и отбывающих сроки наказания. А таких в стране всегда было предостаточно. Десятки и сотни тысяч зечек, осужденных по всевозможным статьям за всевозможные преступления, находились в многочисленных женских колониях и на поселениях. Выбор инкуб из числа зечек мог быть в этом смысле почти неограниченным. Требовалось мое согласие. Я обещал подумать.

Позднее я познакомился с деталями компоргановских предложений и опять же был поражен знанием дела и точностью в проведении намеченных задач. В инкубы должны были вербоваться зечки из осужденных на долгие сроки от 10 до 25 лет лишения свободы. После соответствующего медицинского обследования зечке предлагалось роль инкубы на следующих условиях: а) рождение одного иксрода уменьшало срок заключения наполовину, рождение второго иксрода давало право на полное освобождение; б) зекинкуба обязана была вскармливать иксродмладенца грудью до трехмесячного возраста, а затем должна была безоговорочно передать его на государственное воспитание; в) по завершении постродового периода зекинкубу переводили в лагерь или на поселение в особо удаленных районах; г) зекинкуба давала подписку о неразглашении сведений о ее роли, местопребывании, составе обслуживающего персонала; при нарушении условий подписки зекинкуба подлежала вторичному осуждению.

Вот так в общих контурах выглядел компоргановский проект вербовки зекинкуб. Я долго думал. Не скажу, что я был в восторге от этого проекта, но другого выхода я не видел. И я дал согласие.

Был у меня разговор с одним из работников компорганов. Приехал он в институт для беседы. Довольно умный человек. Когда я высказал сомнение в моральности вербовки инкуб из числа осужденных, он ответил, что пока другого варианта нет, а со временем в использовании заключенных отпадет необходимость — услуги инкуб будут оплачиваться, как, скажем, оплачиваются услуги проституток. И возможно, инкубаторское вынашивание анонимно рождаемых детей для определенного круга женщин станет профессией, причем довольно доходной.

Разговор наш был абсолютно прямым, откровенным, без всяких условностей. Он утверждал, что наступят времена, когда инкубаторство не только станет легальным, но, более того, этот тип деторождения окажется наиболее предпочтительным. И тогда понятия «Мать», «Отец» вообще уйдут в область преданий или будут иметь чисто условное значение.

Таким образом, замысел компорганов все больше обнажался в своей подспудной части и далеко идущих намерениях — шаг за шагом приоткрывалась особая их заинтересованность в контроле над выведением нового типа бескорневого человека. Предполагалось со временем поставить это дело на широкую ногу. Предусматривалось постепенно все шире внедрять анонимные роды анонимных детей профессиональными роженицами, организовано воспитывать иксродов в интернатах с тем, чтобы освобожденное от необходимости деторождения население могло всецело посвятить себя производительному труду, другим актуальными задачам, и прежде всего, конечно, делу неотвратимой мировой революции, — от этой цели коммунисты отступать не собирались. Иксроды поставят в мировой истории точку, и пойдет новый счет летоисчисления...

Он не выбирал выражений, мой собеседник, куратор: «Иксроды поставят точку, окончательную, давно необходимую. Вся эта шумиха, борьба за мир во всем мире и прочие красоты — сентиментальная болтовня. И если решающее слово за атомным ударом, то его произведет как раз иксрод. Ему терять нечего, его ничто ни с

кем не связывает, он обезличен, его Родина — Система, давшая ему жизнь в пробирке. И рука его не дрогнет, когда надо будет нажать кнопку. Все дело в том — кто первый, кем возвращенный иксрод первым нанесет ядерный удар!»

Небольшой санаторий в подмосковных лесах, прежде принадлежавший профсоюзам, вскоре был передан нам как научно-исследовательская база. С полгода ушло на реконструкцию и оборудование кабинетов, палат, помещений для охраны и прочих служб.

Я не спешил особо. Но настала пора действовать. Сразу скажу, шел я на это с нелегкой душой и, возможно, поэтому подчеркнуто не интересовался личностями кандидаток в инкубы сверх того, что сообщалось о них в сопроводительных документах. Держал себя с ними строго официально, разговаривал сухо, лаконично. Привозили их в клинику поодиночке, каждую в назначенный час в закрытой машине, одетую в гражданское платье, и все они были для меня на одно лицо — объекты предстоящей имплантации иксэмбриона. Обращался я к ним обезличенно — женщина: «Здравствуйте, женщина. Как вы себя чувствуете, женщина? Осторожно, женщина, я вас должен осмотреть, не двигайтесь». Только так. Соответственно и ко мне было установлено обращение — профессор. Ничего постороннего, ничего лишнего, все инкубы были важны лишь как полученные напрокат утробы. Ни одну из них я не запомнил в лицо, так как для дела это не требовалось.

И только одна оказалась исключением из правил... Но об этом позже... Вот об этом попозже бы...

Вот и пришел ты к Берегу, а дальше другая Река...

Ты маешься, ищешь любой повод, только бы отодвинуть мысли об этом, воспоминания об этом. Ну и что же? Разве не убеждаешься ты всякий раз в пеллести, химерности попытки убежать от себя? Умереть можно, но уйти от себя нельзя. В этом смысле человек, будучи смертным, вечен.

О Боже, что ты пытаешься объяснить необъяснимое, что ты кидаешься в бездну своей души, чтобы рассказать о том, что не подвластно слову, по крайней мере твоему слову?!

А ведь ты считал себя исключительно сильной личностью, и было бы странно, если бы ты не совладал с собой, когда это требовалось из соображений высшей целесообразности. Но в этот раз ты не смог преодолеть себя... А ведь ничто не предвещало того, с чем ты столкнулся, как комета, налетевшая на другую комету. Ведь все шло своим чередом.

Случилось это весной следующего года, когда первой группе зекинуб уже были имплантированы эмбрионы и она находилась под соответствующим медицинским наблюдением.

Эту женщину доставили в тот день на обследование, как привозили обычно и других, в сопровождении «фельдшера» — так на старомодный лад называли мы охрану инкуб. Когда ассистент и медсестра привели ее ко мне в кабинет, я бегло просматривал данные ее предварительных обследований. Все было в норме — общефизические показатели, гинекология, только это меня и интересовало — пригодность пациентки для вынашивания имплантированного плода, все остальное было делом спецслужб, то были их заботы. В этом смысле работа была поставлена четко, если не сказать безукоризненно, никаких проблем не возникло. Да и с чего им было возникать. Ведь в зонах и тюрьмах отбор кандидаток в инкубы производили квалифицированные сотрудники, тщательно изучавшие зечек на предмет их целевой пригодности; сами зечки, давшие согласие на вынашивание плода, были больше всех заинтересованы, чтобы только не случилось чего, чтобы не упустить такую невероятную возможность сокращения срока наказания: выносить и родив младенца, избавиться от многих лет заключения! Да такое никому и во сне не снилось! Понятно, что появлялись они у нас в клинике, трепеща от страха и надежд, умоляя небеса, чтобы ничто не помешало тому, что забрезжило на их страшном пути. Могло ведь случиться — возьмут да забракуют на последнем этапе клинической экспертизы: не годна, мол, в инкубы. Естественно, женщины волновались.

Новую зечку, препровожденную в кабинет, оставили сидеть на стуле возле двери. Коротко ответив на ее односложное «Здравствуйте», я снова глянул на ее досье — на персональный номер заключенной и индекс места заключения, глянул еще раз на фамилию, которую тут же забыл, кажется, Лопатина. Фамилии обычно не запоминаются — они или очень сложные, или очень простые. Но вот имя пациентки показалось мне странным — Руна, что за имя, что-то в нем

руническое, уемкнулся я и поднял голову. Первое, что бросилось в глаза, — то, что женщина была в очках. Стало быть, появилась среди инкуб и такая — в очках. У нее было интеллигентное лицо, и мне подумалось, что нелегко ей, должно быть, приходится в зоне, там, известное дело, мат-перемат, драки, таскание за волосы и прочее... А собой совсем не дурна, на воле наверняка была еще лучше, была, наверное, красавицей. Но вот смотрит как-то не так, как следовало бы в ее положении, — никакой повинной улыбочки, предупредительности во взгляде. Карие глаза за стеклами очков выражали лишь сдерживаемое любопытство. Можно было представить, что на воле она следила за собой, подводила брови, подкрашивала ресницы, преображалась перед зеркалом... Но это на вид и к слову, а ведь на ее счету какое-то серьезное преступление, недаром ведь осуждена на десять лет, недаром зечка... И теперь вот решила родить иксрода, чтобы скосить срок.

— Ну так вот что, женщина, — сказал я. — Контрольные анализы полагаются сделать еще раз, повторно. Тогда станет ясно, как дальше.

Она молчала.

— Какие-нибудь жалобы есть?

— Что вы имеете в виду? — сказала она.

— Состояние здоровья. Ничего другого.

— Нет, пока нет.

— Необходимо строго следовать предписаниям подготовительного периода. Об этом тебе расскажут. Если все будет в порядке, имплантацию произведут в начале следующей недели, во вторник или среду, не раньше. Так что придется подождать.

— А я и не спешу. Меня все это вообще не волнует.

Ее дерзкий ответ удивил меня. Такого здесь еще не бывало. Разглядывая очкастую повнимательней, я встал из-за стола и подошел к ней. Она тоже встала. И я строго сказал, чтобы ей неповадно было говорить со мной в такой манере:

— Если не к спеху, и тем более если тебя это вообще не волнует, то стоило ли огород городить? Ты с каким намерением сюда отправилась, ты знала, куда и зачем следуешь?

— Знала. Разумеется, знала.

— Ну и что? Я тебя спрашиваю, женщина. Зачем ты сюда ехала?

— Зачем? А затем, чтобы увидеть вас, профессор, и убедиться, что все это вовсе не детские байки!

— Только и всего?

— Поверьте — только и всего. Чтобы увидеть вас и сказать вам всю правду в глаза.

— Вон как?! — невольно вырвалось у меня. И я сказал коротко и жестко: — Ты письменное согласие давала?

— Да, давала.

— Ты понимаешь, что твое поведение будет расценено как нарушение подписки и ты схлопочешь новый срок?

— Понимаю.

— В этом есть острая необходимость?

— Есть острая необходимость в этом разговоре. Это необходимо для вас.

— Для меня? А мы что, решаем с тобой какие-то проблемы?

— Решаем. Будут ли люди размножаться, как велено природой и Богом, или по наущению дьявола, это проблема?

Я замолчал, точно наскочил внезапно на стену. Потом сказал, едва сдерживая бешенство:

— Для этого у меня есть собственная голова на плечах, мадам. Придется нам расстаться. Жаль, что ты не сократишь себе срок, а, напротив, удлинишь его. Тут уж пеняй на себя.

— То, что я должна была сказать, я сказала.

— Не слишком ли много ты берешь на себя? Не подводит ли тебя чувство меры?

— Я зечка, Андрей Андреевич, — она неожиданно назвала меня по имени-отчеству, и то, что слышишь механически сотни раз в день, в ее устах прозвучало странно. — Я зечка и только, — повторила она. — И я знала, на что иду. И добила своего. Я считала это своим долгом. И выполнила его, как могла. Может быть, этот разговор что-то пробудит в вас, заставит задуматься. Вот все.

— Ты мне здесь мораль не читай! — рассвирепел я, все лучше понимая, что

произошел неожиданный, но когда-то неизбежный в работе с инкубами сбой. — На твоё место найдутся десятки желающих!

— Вот это самое страшное, — проговорила она. — И это на вашей совести. Целиком и полностью на вашей совести.

— Совесть совести рознь! — отрезал я.

— А такое я впервые слышу.

— Оставим философский диспут тем, у кого на это есть время. Тебя не для того сюда доставили. Отправляйся назад. Нам с тобой говорить не о чем.

Я нажал кнопку вызова. За ней пришли.

— Прощайте, — сказала она, уходя.

Я ничего не ответил.

Дверь захлопнулась. Я вернулся за письменный стол. Начались другие дела, другие заботы.

Но этот досадный случай не выходил из головы. Надо было дать указание, чтобы «правдоискательницу» отправили восвояси, туда, откуда она прибыла, в зону, кажется, под Костромой, и пусть там мнит о себе, что угодно. Но отложил на потом. Вспоминал эту зечку среди дел, звонков, разговоров, никак не мог заставить себя забыть, но никому, ни единому из сослуживцев, даже тем, с кем был относительно близок, — никому не рассказал о том, что вывело меня из равновесия и продолжало саднить душу.

Странное, очень странное у меня было состояние, сам себя не узнавал. Решил зачем-то получить, поподробней познакомиться с её делом. Откуда такая? Кто она вообще? За что сидит? По какой статье? Психически ненормальных в зонах, вроде бы, не должны были содержать. Но что же это за необузданная женщина? Каким ветром отчаяния пригнало её, какими мыслями и словами была она начинена, и что могла ещё наговорить, дай ей волю, чтобы побольше ударить по моей совести, чтобы муторно мне стало, чтобы пополз, волоча кровавый след мухи.

Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть, однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе её покупают и продают, как старье на базаре. Да и вообще, что есть банальнее на свете, нежели понятие совести? И эта зечка явилась тут Америку открывать! Уж ей ли пристало говорить о совести — преступнице, уголовнице осужденной?!

Но думая так, я сам себя начинал ненавидеть. Что ты оправдываешься, перед кем и за что?! Слаб оказался. И что ты все думаешь о ней?..

Я заново раскрыл её дело. Лопатина Руна Федуловна, осуждена по статье 158-й, за хранение и распространение антисоветских материалов... А, ну тогда ясно, разве не видно было сразу по полету, что за птица?! Как же, как же, таким всегда неймется, всегда им надо выступить с протестом, чтобы заявить о себе, и в этот раз нашла, выходит, где высунуться... Не замужем, разведена. Кто же станет жить с такой стервой. Ничего удивительного.

Потом меня отвлекли другие дела, и я задержался после работы, чтобы не брать с собой бумаг, подлежащих хранению только в служебных сейфах. Дочитал, все прочел, что касалось Руны Лопатиной. Ну и что мне подумалось в итоге? В общем-то, конечно, женщина своеобразная, с определенным взглядом на жизнь; как правило, такие личности появляются во все времена в радикальных кругах, в оппозиции, духовной, политической, правительственной. Среди них есть всякие. И такие, что мнят себя мессиями и ради идеи готовы принести в жертву всех, кто последует за ними... Но при чем тут Руна? Судя по всему, она идеалист-одиночка. А впрочем, кто её знает. Как я могу судить, увидев её один раз, услышав от неё всего несколько слов. Да, конечно, человек она нелегкой, куда как нелегкой судьбы, учительствовала, потом занималась кинодокументалистикой — писала документальные киносценарии о советской школе, а школьные проблемы всегда у нас были социально острыми.

Вспомнилась мне тут вдруг незабвенная Вава, Валерия Валентиновна, знала бы она, чем занимается ныне её гениальный ученик! Но это были попутные мысли. А что касается Руны, то она, судя по всему, попала под суд из-за своего брата Лопатина Игоря Федуловича. Он-то как раз был профессиональным киношником, окончил знаменитый ВГИК, и, по всей вероятности, не без его влияния и помощи Руна и занялась школьными киносюжетами. Как отмечалось в следующих материалах, бывшая учительница Руна Лопатина, подвизавшаяся в любительской секции при киностудии имени Горького, способствовала распространению сомнительных в идейном смысле умонастроений среди любителей



кино. Были свидетели, утверждавшие, что она, Руна, выступала за тенденциозное направление в искусстве, за документальные сюжеты, негативно представляющие советских людей и их быт. То было прелюдией к обвинению.

Главным обвиняемым по делу проходил ее брат, Игорь Лопатин, он обвинялся в том, что «будучи штатным кинооператором, использовал государственную аппаратуру и средства для уголовно наказуемой деятельности — снимал клеветнические, искажающие советскую действительность, порочащие советский общественный и государственный строй документальные ленты, с тем чтобы дезинформировать таким образом западную общественность». Причем подчеркивалось, что «подсудимый занимался этим преступным делом не бескорыстно, а продавал порочащие советское государство киноматериалы на Запад за валюту. Именно там, за рубежом, где эти материалы демонстрировались в кинотеатрах и по телевизионным каналам, наши спецслужбы выявили происхождение этих кинолент».

Как говорят в таких случаях, какие знакомые арии, какие знакомые истории, и кто знает, так это все или не так, но, как бы то ни было, в результате Руна Лопатина была обвинена в уголовном деянии. Она обвинялась в прямом пособничестве брату — он передавал ей «несанкционированно отснятые» ленты, а она их хранила у близкой подруги. Эти связи были отслежены. Кто-то навел-таки на след. Игорь был арестован, а когда Руна кинулась на квартиру к подруге предупредить, здесь ее уже поджидали сотрудники надлежащих служб. Так что взята она была с поличным. А дальше происходит неожиданное — в ходе процесса Руна предпринимает отчаянную попытку как-то облегчить участь брата. Она берет на себя основную вину, заявив, что это была ее идея — снять сцены жизни и быта советских людей, что это она давала брату указания, что снимать и как снимать, что она сама, лично передавала отснятые пленки иностранным корреспондентам за валюту, что, по сути дела, младший ее брат был лишь исполнителем ее замыслов.

Вот такая история. И еще одна любопытная деталь: на суде Руну обвинили в интимной связи с американским журналистом, который, вернувшись к себе в Америку, написал якобы статью, где «высоко отзывался о своей любовнице, а к советскому обществу проявил, напротив, исключительно враждебное отношение», это была якобы месть за арестованную к тому времени преступницу. Руна же отрицала, что была любовницей американского журналиста, утверждая, что просто занималась с ним русским языком... В общем, не разбери-поймешь. Кто их знает, что там было, но как бы то ни было, все это окончилось для этой Руны весьма плачевно...

В тот день я уезжал с работы поздно. Были и рабочие дела, и странное желание получше познакомиться с прошлым Руны Лопатиной тоже изрядно меня подзадержало.

Привычно кивнув охране у ворот, я выехал аллеей на Успенское шоссе уже в сумерках. Включился в поток машин, спешивших в Москву.

Красивые здесь места и зимой, когда леса и пригорки в белых снегах, как во сне, и летом, когда зеленое цветение достигает своего апогея, когда за лесом вдруг выгланет на несколько секунд неожиданное видение — сияющий изгиб Москвы-реки. Восхитительная магия воды, неба, леса; я всегда старался не пропустить этого мгновения, чтобы глянуть через стекло и умчаться дальше, сохраняя пред взором оставшееся позади.

Останавливаясь на этих деталях не случайно. Сколько раз, бесчисленное число раз пронеслся я по этим местам в ту и другую сторону, но откуда было знать, что жизнь моя кровным образом окажется связана с этими придорожными пространствами?.. И настанет такое время, когда я не найду в себе сил ездить этим путем, буду ездить в обход...

А в тот раз, приближаясь к Москве, я думал о том, надо ли было давать указание, чтобы эту строптивую кандидатку в инкубы Руну Лопатину вновь привезли на следующий день в клинику. Да, я дал такое указание. Зачем я это сделал? И что я ей скажу? Разве не ясно, что, когда она давала согласие стать инкубой, цель ее была совсем иной, возможно, она, эта Руна, все-таки чокнутая, а возможно, в ней говорит магия надуманной праведности, исключительной совестливости и прочих не от мира сего добродетелей. Что с ней канителиться?! Да ее надо гнать в шею куда подальше, пусть погибает у себя в зоне. Нашла кого совестить, а сама-то она кто?! «А ты сам? А ты?! — тут же говорил я себе. — Нашел себе мишень! Осужденная, бесправная зечка, и ты с ней копыя скрещиваешь! Хорош, нечего сказать, хорош!»

Раза два тормоза чуть не сорвал на поворотах, колеса заскрипели так, что

прохожие кинулись по сторонам, — задумался за рулем, не мог отогнать назойливо преследовавшие мысли. А ведь видел я эту Руну всего один раз, с чего же меня так проняло? Я припоминал, как поднялся из-за стола и подошел к ней, как она тоже встала со стула. И вот она стоит передо мной — зечка, в одежде, в которую ее специально обрядили для доставки в загородную клинику пред очи профессора, — в черт его знает где сшитой серой кофе, мешковатой, длинной юбке, в грубых башмаках. Когда-то, когда вещи служили ее красоте и вкусу, она была хороша. Я думал о ее глазах, встревоженно, решительно и мужественно глядевших на меня. Ведь глаза — их называют зеркалом души, но это неверно, — глаза и есть сама душа, ее живое выражение. По-мальчишески угловатые, хрупкие плечи ее невольно ежились, а гибкие, тонкие руки она держала, скрестив. А ей бы распрямиться, а ей бы быть непринужденной, а ей бы улыбаться, ей бы идти по улице среди пестрой толпы. Не для диссидентства она предназначалась и вообще не для этой эпохи. Ей бы наряды прошлого века! Можно представить, как бы она выглядела... В то же время какую чушь порола! Остановить науку с помощью совести?! Вот ведь всегда так, всюду человек суется со своей совестью; что бы ни было, что бы ни произошло, дай ему ответ — по совести это или не по совести! И каждый на свой лад держит ту совесть за пазухой. И каждый кичится ею. И каждый заявляет о ней от имени Бога!.. Но на одной совести далеко не уедешь. Мало кто способен восстать против Бога с его совестью, которой он всех нас наделил и обуздал, мало кто способен попереть его прочь с дороги, когда надо брать в свои руки то, что всегда было его монополией, как его монополия власть над рождением. Хватит ему монополии на смерть, уж этого у него никто не отнимет! А что касается рождения, тут я с ним конкурирую, и мне не до совести... Понимает ли это Руна, нет, пожалуй, ей этого не понять. Оттого и явилась героиней, кричащей о совести... Ей бы подумать о себе, куда и как ей теперь...

В ту ночь в своем академическом особняке, одном из тех, что были дарованы еще Сталиным своей команде атомных бомбовиков, от пирога которых достался и мне солидный кусок, я не находил себе места. Толстые стены, громадные окна, высоченные потолки. Но к чему я здесь? И вообще, к чему я, зачем живу? Снова заговорил во мне в ту ночь подкидыш. Я лишний, я сам иксрод, я «черная дыра» в людском роду. Кому от меня стало счастливее на свете, кто горячо возблагодарил жизнь, встретив меня, какая женщина? Евгения, бежавшая без оглядки? Что познала она, чудесная актриса, живя со мной? Холодный ум, бесчувственность, жестокость, аборт, собственноручно делаемые мужем? Да и те женщины, что мимолетно встречались на пути, вряд ли вспоминали потом об этих эфемерных встречах как о нечаянной вспышке счастья. Все, что было связано со мной, обнажалось пустынностью, безрадостностью...

Отсюда мысли мои незаметно вновь кочевали к ней, к сегодняшней этой зечке, к Руне, женщине с именем из рунических времен. Но почему я думаю о ней? И что с ней в этот час? Страдает, наверное. Быть может, расчесала сейчас волосы, распустила их, чтобы был им отдых от темных мыслей, гнетущих ее, теснящихся в голове. А на воле, наверное, причесывалась по-иному, волосы у нее были пышные и волнистые, и тогда не приходилось стискивать их в узел на затылке, как предписано в зонах. Вздумав «раскрыть глаза» профессору, поставила себя в еще худшее положение, осложнила себе жизнь. Неужели она была к этому готова? И что она думает о сегодняшней нашей встрече? Быть может, она в чем-то и права, но ведь одной совестью, одними благими намерениями мир не насытишь, не ублажишь, не изменишь звериной сущности человека, алчущего все большего места под солнцем; при таких аппетитах скоро солнца не хватит на всех, но еще страшнее, что он, человек, все больше и ненасытнее страдает господства над себе подобными. Потому и нужны новочеловеки — иксроды... А она хочет встать на их пути, преградить им доступ к жизни, к власти, к войне. Понять можно, но нет такой силы, чтобы одолеть неодолимое...

Очень часто вопрошал я впоследствии почти бессмысленно: почему в тот вечер я оказался полностью предоставленным самому себе? Почему не было никаких собраний, заседаний, встреч и прочей светской и политической толкотни, от которой в другие дни житья нет...

Я терзался той ночью и все никак не мог успокоиться. Смутила меня эта зечка Руна, застигла врасплох — ведь никто из окружающих в нашем деле не сомневался, или мне так казалось?..

Но ведь и себя она не пожалела, демонстративно жертвовала собой! Как можно!?

Зачем она принуждает меня выступать в неблагоприятной роли гонителя и прокурора? Неужели действительно только ради того, чтобы кинуть в лицо мне обвинение, она решила лишиться себя воли еще на долгие годы?! Хотя понять ее можно — это единственное, что могла она предпринять, задавшись целью высказать свою позицию, свою правду. Она не имеет возможности выразить это открыто, публично — ни на улице, ни на собрании, ни тем более зарубежным корреспондентам. Она замурована в зоне... И теперь ей грозит новое наказание... Хорошо, что никто не знает о том, что произошло между нами, хорошо, что я не обмолвился никому ни единым словом, хорошо, что дал указание, чтобы ее вызвали повторно. Да, завтра, к двум часам дня она будет доставлена. Еще не все потеряно, еще не все мосты сожжены. Может быть, удастся уберечь ее от нового суда...

Я все больше поддавался этой мысли, все больше нарастало во мне желание оградить ее, избавить от кары, и в этом стремлении своим я находил нечто, впервые познаваемое моей душой, я открывал себя, сам себя не узнавая. Что же произошло со мной? Движимый стремлением понять и защитить женщину, я постепенно приходил к выводу, что если Руна Лопатина предьявила мне счет, обрекая этим себя на мученичество, то не есть ли это веление свыше, не есть ли это самозащита Всемилоствого?.. Раньше я не мог понять, что такое Всемилоствость, в чем, собственно, она заключается и проявляется, и только теперь вдруг почувствовал: если я тот, кто в угаре самодовольства, манипулируя зародышами, отпихивает самого Бога, то не является ли зечка Руна как бы посланницей, выразительницей Его Великодушия и Снисхождения?.. Нет ли в этом пробы на Добро во мне?!

От мыслей таких мне становилось и горько, и сладко. Я испытывал прилив благодарности к ней, к этой зечке, заставившей меня очнуться, усомниться в себе, ощутить свое высокомерие и надменность. Я почувствовал, что хочу предстать перед ней иным. Как жаль, что невозможно было тотчас позвонить Руне, в особый изолятор, где ее временно содержали. Как много я сказал бы ей, как много хотелось услышать в ответ. Если бы было можно сесть за руль и среди ночи помчаться в тот изолятор, отыскать ее и вступить в разговор! Но это тоже оставалось лишь мечтой. Единственное, что я мог, — это ожидать завтрашней встречи; воображение мое рисовало, какой будет она, эта встреча. Когда Руну приведут в кабинет и оставят для беседы, я подойду к ней и поздороваюсь за руку. «Извините, пожалуйста, Руна, нам необходимо вернуться к нашему разговору. Я готов выслушать ваши соображения со всей серьезностью, просил бы и вас об этом. Выслушайте и мои доводы». — «Прекрасно! — ответит она и чистосердечно признается: — А я думала, профессор, что больше никогда уже не увижу вас. Я ожидала, что утром меня вернут на круги своя, погонят, как проклятую, назад в мою зону, учинят надо мной новый суд и погонят дальше, в Сибирь или на Алтай, но вдруг приходит дежурный надзиратель и сообщает, что меня вновь вызывают к профессору Крыльцову Андрею Андреевичу. И вот тут я...»

«О Боже праведный! Какие глупости ты насылаешь на меня? — шептал я в отчаянии. — Какое ребячество, останови меня, я в детство попал!»

Да, разумеется, от великого до смешного лишь один шаг; но, пусть я смешон, я с легкой душой готов был к тому, чтобы все было именно так, как мне грезилось той ночью. Пусть было бы так, какое счастье даже само ожидание желанной нелепости!

И за всеми этими порывами, вдруг обьявившими душу мою, возникало, как черная туча на горизонте, самое тяжкое для меня сомнение — действительно, имел ли я моральное право производить иксродов во чревах инкуб? Какие высшие цели могли оправдать мои действия? Не стану кривить душой, сомнения такого рода всегда таились во мне, но ни я и никто из моих коллег никогда не высказывали их. Достижения науки возвышали нас не только в собственных глазах, но и в глазах общества. Однако за примерами того, насколько несовместимы порой наука и совесть, как взаимосвязаны зачастую наука и преступления, в XX веке далеко ходить не надо.

И вот настал момент, когда заговорила совесть моя, которую разбудила тюремная узница. Признать античеловечность производства анонимных детей от анонимных родителей, выведения их с помощью инкуб — вот на что побудила меня Руна.

Что привело ее ко мне, что связало нас до смертного порога, пусть знает судьба... Не мне судить...

В ту ночь наступил перелом. Я готов был просить прощения у женщины, поразившей меня невиданной самоотверженностью, немислимым поступком. Я

готов был склониться перед ней на колени, чтобы отринуть зло, несомое мной роду человеческому. И если бы она приняла мою любовь и могла бы ответить взаимностью, то я просил бы ее руки... Да, да!

Я не представлял себе, каким образом могло бы это произойти, ведь она осуждена на многие годы, но если бы она сказала «да», то я пошел бы даже на то, чтобы бежать вместе с ней куда угодно — в лес, в горы, за моря, куда угодно, только бы быть вместе... И начать новую жизнь, пусть скитальческую, для меня это было бы искуплением моего зловещего прошлого...

И, раз подумав об этом, я уже не мог остановить себя. Мое воображение не знало пределов. Я совершал революцию в себе, беспощадную, безоглядную. И предавался мечтам. Моя новая жизнь должна была начаться с завтрашнего дня, с того часа, когда Руну приведут ко мне и мы останемся наедине. Я попытаюсь объяснить ей, что произошло во мне, рассказать о том катарсисе, который я пережил, заверить ее, что готов на все. Только бы она сказала «да», только бы она увидела во мне того, кого она может полюбить. Только бы она убедилась в моей искренности, только бы поверила, что нам необходимо быть вместе...

Было уже далеко за полночь, когда я уснул на диване беспокойным, чутким сном. И на рассвете слышал грозу, разразившуюся в небе. Громыхало над крышей, за окнами лил мощный дождь. Не открывая глаз, я видел, что происходит в природе, точно я сам творил ту грозу, я видел, как полыхали молнии в полнеба, я видел, как гнулись ветви деревьев под шквалом дождевых потоков, я видел, как стая птиц испуганно металась в грозном пространстве, ища себе прибежище...

И сам я летел в том грозном пространстве. Я вылетел в окно через форточку, вознеся над крышами, над улицами и парком. Летел вслепую и наугад среди молний и облаков, — ведь где-то на земле была тюрьма, где слышала грозу и она, женщина, отказавшаяся быть инкубой... «Руна! Руна! — кричал я. — Это я! Я ищу тебя!» О чем она думала в тот грозовой час, когда я кричал ей с небес?..

На другой день мне стоило немалых усилий держать себя в руках, делать вид, что я работаю, чтобы все службы нашей клиники, как всегда, четко функционировали. И все шло обычным порядком. И никто из коллег, никто из персонала не заметил, что я уже не тот...

Я ждал своего часа. Время шло мучительно медленно.

Я был у всех на виду, я, как всегда, исполнял свои обязанности. Но это был уже не я...

Время тянулось мучительно долго...

Назначенный час приближался. Я ждал Руну с минуты на минуту... Вот, вот... Но ее все не привозили.

Прошло еще четверть часа. Но — нет. Я дал задание позвонить и выяснить, когда выехала машина... Секретарь дозвонилась, ей сказали, что машина выехала, как положено, вовремя.

Я начинал беспокоиться. Что могло случиться? А вдруг авария по дороге?

Стрелки часов приближаются к трем. Когда же? Я звоню сам. Мне отвечают, что с машиной что-то случилось. В это время вбегает секретарша. На ней нет лица.

— Что случилось? — кричу я.

— Пациентка погибла!

— Как погибла? Какая пациентка?

— Та, что мы ждем. Только что позвонили с дороги.

— Авария?..

— Нет, не авария. Она бежала...

— Бежала?.. И что?..

— Ее убили.

— Не понимаю!..

— Сказали, что сейчас подъедут и расскажут...

Да, соответственно указанию, данному мною накануне, заключенную Лопатину Р.Ф. за № А-6-87 повезли на машине, с тем чтобы доставить ее в клинику в назначенное время.

В пути, уже за городом, на том участке дороги, где она проходит через лес близ берега Москвы-реки, зечка стала жаловаться, что ее сильно тошнит, что она не может ехать дальше, стала просить и настаивать, чтобы машину остановили и дали ей возможность выйти, у нее начинается рвота...

Пришлось остановиться. Зечка вышла, сделала несколько шагов от дороги и вдруг бросилась бежать, скрываясь в зарослях леса. Сопровождающая охранница кинулась ее догонять. Она приказывала ей остановиться. Но та продолжала бежать. Охранница кричала ей вслед, что будет стрелять. Для предупреждения

выстрелила два раза в воздух. И все же пыталась догнать, чтобы схватить живьем. И тут впереди возник берег изгибающейся Москвы-реки, и зечка с ходу кинулась с берега в воду. Охраннице ничего не оставалось, как стрелять. Зечка погибла. Тело ее удалось вытащить из воды...

Тысячу раз впоследствии спрашивал я себя — зачем она так поступила? Зачем? Почему? Что это? Результат безысходности? Страха? Отвращения? Ненависти? Или это было формой протеста?

Никто не ответит... Ушла, как пришла... Она оказалась первой жертвой наших экспериментов.

До позднего вечера я не выходил из кабинета. Сидел, закрывшись. И никто не мог представить себе, что творилось со мной. О, если бы она не помешала таким страшным образом тому, на что я был готов! Какое горе, что она погибла, какое горе, что она ушла, так и не узнав, что я хотел сказать ей о том, что правда на ее стороне, что достижения науки преходящи, на какие бы головокружительные высоты она ни поднималась, прогресс науки нескончаем, но он ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо с Духом, заключающим в себе смысл и развитие Вечности...

Я рыдал, сидя у себя в кабинете. Рыдал по женщине, которую видел только однажды... Я понимал, что без нее я несчастен не всю оставшуюся жизнь...

Вечером выехал на шоссе, но, приблизившись к тому месту, где все это произошло, к изгибу Москвы-реки за лесом, остановился и повернул назад. Это было место ее гибели, через эту рощу она бежала и кинулась в реку... Уехал обходным путем...

И если есть тому мера, дома почувствовал, познал сполна всю меру безысходности. Это ли не было наказанием моим?! Я кричал, я рыдал во весь голос в ночном доме... Ее нет. И она никогда не узнает, что я хотел сказать ей, в чем хотел исповедаться. Она до последнего момента думала обо мне как о выродке, использовавшем свои научные открытия для выведения иксродов... Не помогло и виски, хотя я пил и пил прямо из горлышка. Хотелось услышать музыку, которая, казалось, помогла бы, но не было такой музыки...

Эту музыку, возможно, всегда дремавшую во мне, я услышал случайно, годы спустя. Плыл на пароходе по Японскому морю. Вечером дело было. Темные контуры островов, застывших под звездным небом, выступали из моря в разных местах загадочными телами, сгустком Времени и Материи. Тишина стояла, прохлада, чуть слышные, невидимые всплески волн... Нас было несколько человек, советских ученых, прибывших на конференцию в Нагою. Мои коллеги и переводчики остались в баре. А я ходил по палубе, все не мог наглядеться на острова, таинственные и безлюдные. Береговые огни были очень далеки, едва заметны. К ним мы держали курс. На пароходе непрерывно гремела рок-музыка, приглашающая дергаться и прыгать. А тут вдруг рок смолк. И послышалось задушевное пение. Это была японская энка — лирика, тоска по любимой, заклинание и непонимание, ожидание и прощание... И я подумал, что Она где-то рядом, возможно, вон там, на том островке, и что она слышит это пение и знает, что я думаю о ней...

И я понял, что мне надо удалиться подальше от всего и всех...

В годы перестройки удалось положить конец выведению иксродов. Был у Горбачева. И через полгода отправился в космос, на орбитальную станцию. Здесь я стал космическим монахом Филофеем. Со стороны может показаться чудачеством. Но для меня это отнюдь не чудачество...

Мое прошлое не дает мне покоя, преследует меня. И, как кость в горле, стоит неразрешимый вопрос — что станет с иксродами, с теми, что успели родиться и теперь подрастают?.. Покуда их происхождение остается тайной, об этом не знает никто. Вернее, знают немногие — мои бывшие коллеги. Можно представить, что они думают обо мне: вероотступник, кинулся в космос, сбежал... Но их отношение меня не трогает, вовсе не это меня гложет. Никто не знает, как я проклиная себя, как называю себя жалким мазохистом, сукиным сыном! Мне бы сейчас быть на Земле и поглядеть в глаза тем малышам, что родились в результате опытов нашей лаборатории!.. Зачем я пишу об этом? Да потому, что то, что мы сделали, — непоправимо. Что станет с этими людьми, казенными от рождения? А ведь завтра они поймут, кто они такие. Чем они оглазят общество? Не возникнет ли у иксродов со временем неодолимого желания — отомстить человечеству, покончить со всем светом к чертям собачьим?! И

то, что я здесь, в космосе, а они, иксроды, там подрастают, — это чудовищно. Другого слова не найдешь. Я мог бы сказать себе, что никогда не брал на себя ответственности за их будущее, а лишь решал научные проблемы их рождения. Но разве это оправдание?! Где им искать виновных, тех, что натворили дел, а потом, когда все опрокинулось и пошло другими кругами, — разбежались. Даже КГБ сгинул. А может, и не сгинул... Но черт с ним...»

На этом Исповедь Филофея обрывалась.

Текст Исповеди, эту последнюю весть от Филофея, Энтони Юнгер получил в начале зимы.

Необыкновенная история, никому бы и в голову не пришло, горестно думал он в то зимнее утро, сидя за рулем и глядя на белые хлопья снега, кружащиеся за стеклами машины. Он был под впечатлением прочитанных ночью исповедальных записей Филофея.

Странно, думалось ему, никто так не умирал. И летает сейчас Филофей где-то над миром космической мумией, единственный в своем роде самоубийца за пределами планеты. Умиротворился-таки в безмолвии. И вот он снова напоминает о себе...

И впрямь можно подумать — какой-то высший замысел был в том, чтобы его судьба послужила уроком. Да. Но какой ценой?!

Но цена на таком пути всегда велика. Был ведь однажды великий Урок на все времена. Цена была — Голгофа. У каждого своя цена. Этот заплатил свою цену в космосе.

Неужто и в космосе слышится ему хруст снега под ногами его матери, несущей его к детдомовскому крыльцу? Неужто и в космосе слышится ему, как гулко бьется сердце матери, несущей его в последний раз, прижимая к груди?..

---

Ольга Постникова

## ОТ СТЕПНОГО ЧАБРЕЦА

\* \* \*

Этой-то ночью длиннющею  
Что я не сплю, что я слушаю,  
Что за печаль,  
Что же мне жаль  
Злую золовку непьющую...

Ты и лицом как нездешняя,  
Ты не смотри как безгрешная,  
Ты не гляди,

Ты не суди,  
Злая золовка бездетная.

В эту дождину холодную,  
В эту грозу многоводную  
Дождь не мочи,  
Град не сечи  
Злую золовку бесплодную.

\* \* \*

В белой бабкиной хате жила, —  
Хохлацкая бедность бела,  
Да под старость осталась одна,  
А русская бедность черна.  
Питай меня кротостью зерен,  
Доордынская гордость отцов,  
Держи меня, твердость и зелень,  
Мурава поливных изразцов...

Ты верти меня до синяков,  
Упрямяство степных гончаров,  
Выручай, черно-красная кровь  
Цветков по краям рушников...  
Согрей меня в гуте гудящей,  
Отожженная звень хрусталей...  
О, родина, в яме смердящей  
Цветеньем шипшины облей!

## Налог с души

*Памяти деда*

Я тебя помяну не в церковной тиши, —  
Под бузиновым цветом в садовой  
глуши:  
Как трясли пенсионные наши гроши,  
Брали мясом по кругу с души.

Серебристый твой тополь застыл,  
Он без ветра и зелен, и темен,  
А под ветром он бел, задирает  
листья,  
Как дивчина в предсвадебной томи.

Пал-полег очерет, белой мазанки нет,  
Провалилися черные крыши церквей.  
Мы казацких кровей! Даже белых  
кролей  
Сколько лет не родилось на свет...

Набивал ты лемешкой мешки,  
Крохалей распугав на болоте,  
Отчего же налога с дочерней тоски  
Чернобривцами вы не берете?

Мы на уличных высадках зеленчаком  
Драли жесткие яблоки ночью тайком.  
Грудь от кашля болит, без горилки  
горит,  
Взвар солодки от плача кипит.

Старой песней возьмите налог,  
Ирным корнем, пустырником  
сердным,  
Тем славянским терпением,  
чем вымерял Бог  
Нашу жизнь в этом мире победном.

\* \* \*

Я змеинные выползки в ступке толкла,  
А волос твоих прядь я на свечке сожгла,  
И вином залила, и до дна испила,  
Но тебя позабыть не смогла.

Сколько боли доставил колдовке дурной,  
Столько будет награды в любви другой,  
Сколько слез пролила из бесцветных очей,  
Столько знать тебе сладких ночей.

Чтобы столько ты жил, сколько помнишь меня,  
Чтобы радость была до последнего дня,  
Чтоб всегда над собою ты небо видал,  
Грех унынья тебя не снедал!

\* \* \*

А тебя сгубить — да нет ружья,  
А тебя забыть — да нету снадобья,  
А уснуть не усну, нету сна у меня,  
А уйду — не умрешь, полно бабья.

Сколь за счастье пито питья,  
А счастливого нету житья,  
А молчанье твое — хуже битья.  
Хоть убей меня — все равно твоя!

### Колыбельная

О, прости, что родился, когда  
на земле  
Вместо хлеба — запасы огня,  
Но не стань оттого и несчастней,  
и злей,  
Что родиться пришлось у меня.  
О, засни, привыкай засыпать без меня,  
Научись выживать без меня!

Я слезами ожгу, я твержу без конца:  
Вновь на ложь повышение цен.  
Эти тонкие синие веки отца  
Сохрани на бескровном лице!

Сохрани навсегда беззащитность  
птенца,  
Научись выживать без отца!  
Неужели, как я, будешь в страхе  
не спать,  
Убиваться без ночи и дня?  
Нерадивую няньку, счастливую мать,  
Что похожа лицом на меня,  
Ты потом в каждой женщине станешь  
искать,  
Но живучесть такую же, как у меня,  
О, не перенимай у меня!

### Парсуна «Царь Федор Иоанович»

Не грозные крылья, не жезл под  
рукой, —  
Иссохшие пальцы да ворот горбом...  
Какой же завидный безвольный покой  
В зальсынах царских над охряным  
лбом...

В смиренных твоих раствориться  
зрачках,

В бессильных твоих заблудиться речах!  
Молитвою вторить по целым ночам:  
«Отмщенья не нужно! Отрада — печаль».

Вражда и забота не будут гнести.  
В безумье уйти, чтобы душу спасти...  
Чудные, блажные, святые Руси!  
Юродство-блаженство, от злобы спаси!



\* \* \*

*Памяти отца*

Гла́зы-гла́зы мои любимые,  
Гла́зы добрые, голубиные!  
Пряди белые отвела от глаз,  
Поцелуями я закрыла вас.

Без отца мои глаза, они серые,  
От степного чабреца они серые,  
Они серые, несмелые,  
Близорукие, омертвелые.

Не носила черный свитер, —  
Пришлось надеть,  
Не глядите, гла́зы, спите, —  
Страшно глядеть!

Только в отчестве моем  
Нам и быть вдвоем.

**Отречение***Снобам*

Не выскочить из своего сословья,  
Не вынянчить, когда не мечен кровью,  
Не выклянчить услужливой любовью  
Породу, и удачу, и красу.

И все интеллигентами глядят,  
Поскольку всё по прописи едят.

А притязанья ваши надоели!  
Дворяне погибали на дуэли,  
А прочих всех чахотка доняла,  
Работушка до гроба довела.

Так пойте угол свой провинциальный,  
Голодный, выдвигенческий, скандальный,  
Такой родной, такой сентиментальный,  
Куда вы не вернетесь ни за что.

С некормленным, немытым  
разночинством  
Еще мы не успели разлучиться,  
Еще мы не сумели разучиться  
Мещанской оголтелости лица.

Из швейной мастерской любая баба,  
Заступница помоешных ворон,  
Огрушая от вечных макарон,  
Мне чести больше вашего дала бы.

Не дано нам выйти из крестьянства,  
Парного, земляного постоянства.

Мне лучше быть из плебса или сброда,  
Исчадием пропойного народа,  
Где мат площадный — главная свобода,  
Чем ваше чистоплюйство разделить.

1982

\* \* \*

Этот мир истирается в пыль  
Станками, шагами, ласканьем не в меру,  
В два-три кадра сводя огромную быль,  
Целую жизнь, целую эру, целую веру.

Энтропия проклятая, все усредняя и смешивая,  
Из любимого образа губы крадет насмешливые.

О, судьба моя, огалтовочный барабан, эксцентрик, «пьяная бочка»,  
Обтесала до гладкости ты меня, зализала.  
Я уже обломалась до последнего уголочка.  
Всё забылось и счистилось, что я любила и знала.

Вышло — кругло, без граней, обсосанный леденец,  
Не лучистый кристалл, а сиротский овальный обмылок.  
До твердейшей моей сердцевины дошло наконец,  
Но корунду сродни та страдба — о бессильном, о милом,  
Самом-самом родном, сероглазом, кто ночью безлунною  
Побежит на мой голос разбитой дорогой валуною.

\* \* \*

Вышли толстые тетки читать о любви —  
В самовязанных кофтах, в сапожках суконных  
И любовей — несчастных, святых, незаконных —  
Начитали-наплакали сверх головы.

Вышли старые тетки, и было до слез  
Это жалостно видеть, но радостно слышать,  
Будто в доме культуры не битум на крыше,  
А сплетение благоухающих лоз.

Голосам их одышка мешала звучать,  
Были грифелем правлены кроткие брови.  
Что же юность не хочет писать о любви?  
Нет несчастной любви, о счастливой молчат.

Только мы, перестарки, пришли рассказать,  
Как заходится сердце под мартом под синим,  
Точно моешь окно и вода с керосином  
Просветляет жилья золотые глаза.

\* \* \*

*Посвящается русским поэтам*

Вновь август резвится лузгой среди проток,  
Челнами скорлупок теснится  
И мнет мой пустырный, мой горький цветок,  
Цикорий в блакитных ресницах.

И даже пугает Москва в этот год  
Особым обильем рябины.  
Какое несчастье снова грядет,  
О, дерево бедной Марины?

Но всё сотворенное жаждет до слез  
Ласкаться, пылать, осыпаться —  
Стручками акаций и связками лоз,  
И строчек, и ассоциаций...

И донник, железных дорог чистота,  
Мечта пересыльных вагонов, —  
Как всех материнских прошений тщета  
В глухом дерматине законов.

Но пижма — что горсть золоченых гвоздей!  
Как степь, отпевает отчизна  
Над полною наволокою идей  
Всю заумь и блеск футуризма.

А тополь с листвою жестяною сух,  
Полсотни перин раздраконив,  
Чтоб мне нелюбимый Чухонцевым пух  
Ростком пропорол подоконник.

---

## РАССКАЗЫ

### СОКРАЩЕНИЕ

**Р**абота у Тулишина была хорошая. Тяжеловатая, конечно, в физическом смысле, если без привычки, зато простая. И платили за нее до самого последнего времени хорошо и достаточно, чтобы жить. Потому что Тулишин принадлежал к представителям рабочего класса, или, как при бывшем социализме говорили, носил высокое звание рабочего. Он в детстве и в юношестве окончил с грехом восемь классов средней школы за десять лет и прямо оттуда, со школьной, значит, скамьи, на завод поступил, став человеком труда и полноправным членом общества. И двадцать один год у него на этом заводе — как рукой сняло. У одного станка простоял неотлучно. Ну, или не у одного, а у двух. Так как раз его станок заменяли на новый, аналогичной марки и конструкции. 2С1 70 он назывался. Сверлильный. И вот на нем Тулишин работал, являясь передовиком. Правда, он только по самой работе как таковой мог им, передовиком, считаться, а в быту и в моральном облике — нет. В быту он вел себя, как подавляющее большинство народа себя вело: и тягу к алкогольным спиртным напиткам имел с полочки, сопровождавшуюся невыходами на работу без уважительных причин, и политически был пассивным и неустойчивым, и газет даже не читал, кроме, конечно, программы телепередач на сегодня. Но к труду своему Тулишин относился честно и откровенно, вкалывая, как папа Карло, за что неоднократно отмечался поощрительными грамотами с вручением денежных премий и орденом «Знак почета» — в 1988 году.

А работа Тулишина состояла в следующих действиях: из стопки брал он деталь под названием «подкладка», вес шестнадцать кг, вставлял ее в кондуктор, нажимал кнопку «пуск» и ждал двадцать секунд — пока шесть отверстий станок в подкладке просверлит и, в исходное положение поднявшись, выключится. После чего просверленную подкладку Тулишин вынимал и клал в другую стопку. И так до семисот раз в смену двадцать один год подряд без существенных перерывов. Потому что Тулишина в армию и то не забирали служить. Ввиду хронического заболевания. Нет, он здоровый был, конечно, Тулишин, — в целом. А ушами страдал с первых дней. Он и в школе из-за них, из-за ушей своих несчастных, так долго обучался, и завершилась эта длительная его история болезни тем, что ему дырки в голове долбили и гной из ушей выпускали. И он глухим, благодаря проделанной над ним операции стал, как дерево. Слышал, если кричали ему в ухо, а если пользовались нормальным человеческим голосом, — ни черта не слышал. И врач по уху, горлу и носу на военной медкомиссии ему уровень слуха проверил всесторонне, на дырки в районе ушей поглядел и написал заключение, что не пригоден он, Тулишин, никуда и для вооруженных сил интереса собой не представляет. А слух у Тулишина с течением лет понемногу выправился кое-как, хотя, конечно, в полной мере не восстановился и, бывало, ухудшался до нулевой отметки, но потом всегда появлялся опять. И, значит, вышло, что Тулишин родину вокруг пальца обвел, оставшись вместо исполнения почетного долга на своем рабочем месте, подкладки сверлить для нужд страны. А там, впоследствии, он в брак вступил со своей женой и, родив двойню с первой же попытки, больше призыву не подвергался как отец двоих детей. И сверление подкладок стало таким образом основной его специальностью и делом в жизни. А никакой другой профессией

он не овладел. Не было у него такой надобности и необходимости. Его и эта, имеющаяся профессия по всем статьям и параграфам удовлетворяла. И по зарплате, и по всему.

А теперь, значит, уволили его в связи с сокращением штатов, так как две, считай, рабочие смены из трех уволили. То есть не как раньше — когда уборщица могла под сокращение попасть или из конторы инженер какой-нибудь необязательный и второстепенный. В этот раз директор на собрании трудового коллектива громогласно заявил вслух, что, вследствие проведенных реформ, продукцию, их заводом выпускаемую, никто не покупает даже и задаром, поэтому зарплату платить нечем, и надо, говорит, вынужденно сокращать производство. Ну и людей, сообразно этому, тоже надо, говорит, сокращать.

И Тулишин спросил на том памятном собрании у директора с места: — А что ж, — спросил, — нам теперь делать и куда идти?

А директор ему сказал:

— Тулишин, — он как кадрового и заслуженного рабочего знал Тулишина по фамилии, — вы же, — говорит, — рабочий человек!

— Да, — говорит Тулишин, — рабочий.

— Вот и я говорю, — сказал директор.

А жена Тулишина, про это все узнав, сказала:

— Ну и пошли они, — сказала, — глубоко. Найдешь себе другую работу.

— Какую? — спросил у нее Тулишин. — И где?

А она сказала:

— Ну, я не знаю. — И: — Работают же, — сказала, — где-то люди.

А Тулишин на это подумал, что, конечно, хорошо тебе и легко говорить, тебя с работы не сокращали — и обиделся на жену, и рассердился, хотя и не показал этого внешне никак.

А тут еще дочки откуда-то влетели, обе вздрюченные.

— Дайте денег, — кричат и прически перед зеркалом сочиняют на скорую руку, толкаясь боками.

А Тулишин говорит:

— Я вам, — говорит, — сейчас дам, телки.

А дочки:

— Не дашь и не надо. — И: — Мы, — говорят, — и сами в состоянии заработать. Не хуже других.

И Тулишин их шуганул от зеркала, крикнув:

— Лучше б к школе готовились, книжки повторяли.

А они сказали:

— Чего?! — и ушли шпаться, дверью хлопнув ему назло что есть мочи, а вернулись после полуночи.

Следующее утро встретило Тулишина прохладой, и он в первый миг, как на улицу вышел и окунулся в свежий зябкий воздух, мурашками покрылся и гусиной кожей, особенно руки. А потом пошел в интенсивном темпе — и ничего, согрелся. А в троллейбусе, где сверх всякой нормы было набито всевозможного люду, и вообще жарко ему сделалось в его шведке. И он потел и думал, что вот все эти люди едут, наверно, на работу, а он — нет. Он не на работу едет, хотя тоже в район заводов и фабрик, в промышленную то есть зону города. Потому что предприятий различных промышленных было в этой зоне на все случаи жизни, и он рассчитывал там устроиться куда-нибудь и определиться. И его волновало, конечно, то обстоятельство, что он никогда еще самостоятельно не поступал на работу. Тогда, двадцать один год назад, его мать родная за руку, можно сказать, на завод привела, работая на нем крановщицей, и сама устроила. Но он говорил себе, что это ничего и: «Приду, — говорил, — в отдел кадров и как-то устроюсь».

И стал Тулишин заходить в эти отделы. В один зашел, после — во

второй и в третий. И везде говорил он, повторяя, как дрессированный попугай:

— Вам сверловщики нужны?

А ему говорили:

— Нет, своих девать некуда.

А на фабрике по производству пищевых концентратов ему сказали:

— Ты чего, в своем уме? — И: — Какие, — сказали, — в наш век могут быть сверловщики?

И получив этот окончательный ответ в виде вопроса, Тулишин сделал для себя вывод, что ходить так бесполезно и смысла не имеет. Если б, думал он, у меня было несколько специальностей на руках или, допустим, знакомство было весомое где-либо, тогда другой вопрос. А так — бесполезно и, как говорится, голый номер.

Но знакомство у него откуда могло взяться? Он, кроме тех, с кем вместе в цехе работал, и не знал никого толком. А они такие же были, как и он сам, и тоже сейчас, наверно, что-нибудь себе искали — какое-то место в жизни. И жена у Тулишина на почте работала рядовым почтальоном и, значит, тоже помочь ему в данном случае ничем подходящим не могла.

Правда вот, ходя безрезультатно по промышленной зоне, вспомнил Тулишин, что будто бы существует такая специальная организация, где людей на работу трудоустраивают. Где-то он про нее слышал краем уха. Когда еще рабочих рук народному хозяйству и проминдустрии всегда не хватало и везде они требовались. Кто-то у них в цех, что ли, так попал, по направлению от этой организации. И он спросил в отделе кадров пищевой фабрики про нее и где такая находится.

А они говорят:

— Бюро по трудоустройству тебе надо?

— Ага, — Тулишин говорит, — скорей всего.

И они дали ему точный и подробный почтовый адрес и, как ехать туда городским и общественным транспортом, разъяснили, а он сказал им спасибо и отправился в указанном направлении незамедлительно.

И вот идет Тулишин по родному, можно сказать, городу, из которого уходит на глазах месяц август, и кажется Тулишину, что уходит он навсегда. Такое, значит, сложилось у него внутреннее состояние. Наверно, тоска в нем засела, а может быть, не тоска, а страх. Не перед чем-то страх и не страх чего-то определенного, а страх в общем понимании, не выразимый то есть словами. «Наверно, это от неуверенности в завтрашнем дне, — думал Тулишин, — и оттого, что уволили меня, как собаку, не посмотрев и не приняв во внимание ни двадцать один год безаветного труда, ни заслуги».

А вокруг него на улицах города протекали какие-то обыкновенные неважные события жизни. И много людей в этот дневной час не работало, а ходило без видимого дела в разные стороны и посещало все попадающиеся на пути магазины, что-то из них вынося и утаскивая в свои жилища, а другие сидели на ребристых скамейках бульваров и скверов и под тряпичными зонтами уличных забегаловок, никуда не спеша и выпивая прохладительные и иные напитки, а также легко закусывая. И Тулишину непонятно было насчет всех этих праздных людей, и он спрашивал у себя мысленно: «Неужели, — спрашивал, — все они нигде не работают?» Или, может, думал, они во второй и в ночной сменах с выходящим по скользящему графику? Или же в отпусках в очередных поголовно и поэтому слоняются, имея пустое свободное время, по городу и заполняют его улицы среди белого рабочего дня.

Но, с другой стороны, и работающих или, это вернее сказать, на работе находящихся людей здесь было более чем предостаточно. Тех, которые продавали что-нибудь. То есть чего только они не продавали. Были бы деньги покупать. Хотя денег у Тулишина как раз и не было, что

в его обстоятельствах неудивительно. У него, и когда работал он сверловщиком, не бывало таких сумм денег, чтоб с уличных лотков и в киосках коммерческого толка покупки делать, — такие они выставляли искусственные и страшные для простого человека цены. А сейчас, конечно, нечего и мечтать. Да он, Тулишин, и не мечтал ни о чем таком и на их товары не первой необходимости не зарился. Все эти шоколадки и жевательные резиновые изделия, а с ними заодно и ликеры с шампанскими винами, были далеки, и душа его к ним не стремилась. Водки бы он, понятно, сейчас выпил, это да, водки ему хотелось остро. Только теперь и с получки невозможно было ему выпить, как привык он, потому что никаких получек никто ему больше не выплачивал и выплачивать пока что не собирался, а последние свои деньги — расчетные и выходное пособие по увольнению — отдал Тулишин жене без изъятия.

А что касается так работать, как они, продавцы эти и торговцы работали, то Тулишин не хотел быть на их месте. Не любил он их, купи-продай всяческих, спекулянтов, и относился к ним с неуважением, говоря, что сажать надо всю эту сволочь беспощадно, а главарей расстреливать. Но если б он и захотел, вопреки себе, вступить в их торговые ряды, не взял бы его туда никто и не допустил по той простой причине, что туда своих людей берут, проверенных, а не с улицы первых встречных. Ну, или опять же за деньги. Желающих-то навалом — стоять целыми днями на свежем воздухе и, ничего по сути не делая, деньги принимать и к тому ж мухлевать и обсчитывать покупателей, и завывать на свое усмотрение истинную цену товаров.

А бюро это, по трудоустройству временно не работающих граждан, находилось вблизи от центра города, и рукой, как говорится, до него можно было подать, доехав сначала трамваем или троллейбусом до остановки Центральная. А оттуда пешком пройти на своих двоих по проспекту имени кого-то нового с неизвестной фамилией — Тулишин и не знал, кто это такой, и никогда про него ничего не слышал. А прежде, конечно, этот главный магистральный проспект города назывался имени Ильича. И вот у Госбанка надо было свернуть на улицу Ленина, которая так и осталась улицей Ленина, и по ней идти до конца. Потом — по Гвардейскому тупику метров сорок, и в доме номер одиннадцать, вход со двора, должно было находиться это общегородское бюро.

Ну вот, Тулишин дошел и доехал, как было ему объяснено, до Центральной и вышел на проспект этого... ну, в общем, на проспект имени Ильича по-старому и пошел в сторону Госбанка. Пошел, не торопясь, а медленно и нехотя, как будто бы не по важному личному делу шел, а на прогулку в свободное от работы время. Потому что он заранее предвидел и не ожидал положительного решения своего насущного вопроса, и оттягивал, значит, это на более поздний срок. Он даже походил взад-вперед по проспекту и потоптался на месте, разглядывая от нечего делать витрины киосков и книжные лотки, и людей. И зачем-то, неизвестно зачем, к старику подошел, который стоял себе, облокотившись на цементный коколь углового здания, у самого людного и оживленного перекрестка. Подошел и сказал:

— Здравствуйте, дедушка.

— Здравствуйте, — сказал старик.

И больше ничего не сказал, ни слова. И головы в сторону Тулишина не обратил. А стоял живым изваянием, опираясь худыми руками на высокую, не по его росту, палку с набалдашником, и смотрел поверх своих рук перед собой.

Как люди идут, смотрел, мимо него, обгоняя друг друга в толпе и лавируя, и сталкиваясь с идущими встречно.

Как трамваи проползают по бульвару, пыля и скрежеща колесами, будто зубами.

Как автомашины останавливаются послушно, завидев красный сиг-

нал светофора, и как срываются и прут сломя голову наперегонки, когда красный свет сменяется на зеленый.

И сразу, на первый взгляд, можно было подумать, что старик этот просит милостыню у прохожих, побирается. Тулишин так и подумал и, поздоровавшись, собрался было уже сказать старику, что дал бы ему денег без сожаления, если б сам их имел, и что он, Тулишин, человек не жадный, а оказавшийся волей злой судьбы без средств к существованию и определенных занятий. И хорошо, что ничего этого не сказал Тулишин старику, так как никакой фуражки или кепки на асфальте у ног его не лежало и руки он на палке сложил обе, и, выходит, совсем не побирался и ничего не просил, а стоял по своему собственному желанию. Возможно, что скучно ему было сидеть одному дома и он вышел поглядеть и полюбоваться на людей нынешнего нового поколения, на своих, проще говоря, потомков.

Вход в бюро, куда шел Тулишин и, в конце концов, пришел, как и сказали ему, был со двора, и дом этот, №11, был невзрачной приземистой постройкой, и его видно с улицы не было ни с какого боку. И Тулишин ожидал застать тут очередь не короче, чем за хлебом, потому что столько же людей уволено с их только одного предприятия, а тут не было никого. Он один на весь двор.

И в кабинете одна всего-навсего девка, раскрашенная в разные цвета, сидела, из-под ногтей что-то выковыривая, и видно было, что она чем-то недовольна, может, личной жизнью своей несостоявшейся, или работой, или чем-либо еще подобным. И она вытянула подбородок заостренной формы и сказала, им, подбородком, указывая:

— Вон, — сказала, — перечень вакансий по предприятиям города на первое число сего месяца.

Тулишин проследил за ее подбородком — лежит на краю стола книга, самодельно веревкой спитая и толщиной с красный кирпич, открыл ее, а девка говорит:

— Не здесь. Там. В коридоре смотрите. А то, — говорит, — если все здесь будут, я за день с ума от вас сойду.

И Тулишин вынес эту разлохмаченную громоздкую книгу в полутемный коридор, открыл ее опять и к глазам поднес, чтоб прочитать в ней написанное. И на самой первой странице прочитал, что куда-то требуется главный бухгалтер с опытом работы, а куда-то начальник по снабжению и программист, и токарь-универсал, и еще кто-то, кем Тулишин не являлся и работать никак не мог. И на второй странице никому не нужны были сверловщики, и на третьей, и на четвертой — тоже не нужны. И он закрыл книгу, подумав, что ему здесь читать на два года вперед хватит с его скоростью чтения и, постучав негромко в дверь, переступил порог кабинета и вернул книгу на ее место. А девка говорит:

— Выбрали?

— Нет, — Тулишин ей отвечает, — не выбрал.

А она:

— А вы, — говорит, — кто по профессии?

— Сверловщик, — Тулишин говорит. — Кавалер ордена «Знак почета».

— А кроме этого, — девка спрашивает, — кто?

И Тулишин, постояв перед ней, сидящей, как на выставке, и помолчав, сказал:

— А кроме этого — никто.

И он не увидел, как девка дернула плечом и хмыкнула, потому что после своих слов захлопнул за собой дверь ее кабинета.

И когда шел обратно, из бюро, и глядел на встречаемых мужчин и женщин, создавалось у Тулишина мнение и впечатление, что у всех у них все хорошо и в полном порядке, буквально у всех поименно, а у него одного, единственного в городе, все плохо и безнадежно, так как профес-

сия сверловщика на сегодняшний день не в моде и не пользуется спросом. Ему и старик, который продолжал стоять на своем посту и смотреть то ли перед собой, то ли вдаль, показался веселым и жизнерадостным, и беззаботным.

Хотя встретился Тулишину по дороге и один совсем невеселый человек — женщина. Она на скамейке бульварной сидела, заслонив лицо ладонями. И Тулишин подумал, что у нее, видимо, тоже несчастье в жизни приключилось, и, может быть, ее так же, как и его, несправедливо уволили с работы. И Тулишин подошел к скамейке, где сидела она, и сказал с целью проявить сочувствие родственной душе по несчастью:

— У вас случилось что-нибудь? — сказал.

А она сидит, его присутствие и слова игнорируя и, похоже, плачет себе в ладони беззвучно.

Тулишин тронул ее за плечо и говорит:

— Может, вас, — говорит, — с работы уволили по сокращению штатов и производства? Так сейчас многих увольняют.

А она отняла руки от лица и сказала в оскорбительном тоне сквозь слезы:

— Иди отсюда, дурак. — И сказала: — Чего пристал?

И пришлось Тулишину оставить ее на скамейке саму с собой и уйти. К остановке троллейбуса. Чтобы домой ехать. Все равно куда больше он идти не хотел, да и некуда ему было больше идти.

А дома не нашел Тулишин ни жены, ни дочек. Жена не пришла еще, видно, с работы, а дочки где могли быть, он никогда не знал. И Тулишин дождался прихода жены, сидя в кухне, и она, конечно, первым делом спросила:

— На работу устроился?

— Нет, — сказал ей Тулишин, — не устроился.

— А есть хочешь? — спросила жена, как всегда она спрашивала, придя с работы.

А Тулишин смолчал, потому что считал себя теперь нахлебником и иждивенцем на ее шее.

И жена приготовила поесть, и они поели.

— Ты почему ешь мало? — говорила жена. — А?

— Не хочу больше, — говорил Тулишин. — Наелся.

Потом, после еды, все было привычно — как вчера примерно и позавчера, и как в большинстве их совместных дней. Телевизор в основном смотрели допоздна при обоюдном молчании. И жена лишь изредка проносила обычное свое:

— Где ж это чертовки наши?

А Тулишин говорил:

— Шляются.

И дочек не было еще долго, и жена сказала: ладно, куда они денутся, и хватит, сказала, их ждать, завтра вставать чуть свет.

— Да, — согласился и поддержал жену Тулишин, хотя ему-то можно было и не вставать. И он сидел перед голубым экраном и следил, кося, весь напрягшись, как жена разбирает и стелет постель, и думал, и не знал — как же сейчас ему это... с женой? Раз ничего он больше не зарабатывает и в дом не привносит. И: «Будет она со мной, — думал, — по ночам, несмотря ни на что, или откажется?»

И еще думал Тулишин, что темнеть стало ощутимо раньше, чем совсем недавно темнело, и что день как-то очень быстро и стремительно сходит теперь на нет, так быстро и стремительно, как не бывало этого никогда во все предыдущие годы.



## ЮБИЛЕЙ

Дома своих дней рождения Шура не отмечал никогда. То есть давно он не отмечал своих дней рождения. Много лет. И даже не лет, а десятилетий. Ни его дней они дома не отмечали, ни жены. Потому что жил Шура без останков, не задерживаясь на каких-либо общепринятых памятных датах вроде Нового года или тех же дней своего рождения на свет. А жена его по этому поводу говорила:

— Тоже мне, — говорила, — праздник со слезами на глазах, — и никаких торжественных обедов и ужинов не устраивала, считая, что жить, не замечая течения времени сквозь пальцы, проще и спокойнее для здоровья.

В общем, не принято было в их семье праздновать и отмечать всякие личные исторические даты, и Шура не всегда вспоминал о них или вспоминал потом и, как говорится, постфактум. Но сегодня, двадцать восьмого апреля текущего года, у Шуры был юбилейный день, круглая дата. Или, как он про себя определил, — полукруглая. Потому что, думал он, круглая — это сто лет, а пятьдесят, значит, — полукруглая. И он вспомнил об этой своей дате месяца еще за четыре до ее наступления и помнил все время, пока этот его знаменательный день не настал. А когда он, день то есть, настал, Шура пришел на работу в новом костюме. Он этот костюм купил полтора года назад, еще до всех повышений цен или, может, после первых самых повышений. Им на предприятие завезли партию этих костюмов совместного местно-германского производства. По бартеру взяли и завезли. Они — предприятие — швейной фабрике мясо продали, свинину парную в тушах из собственного подсобного хозяйства, а фабрика предприятию костюмы поставила, пошитые своими силами по немецким образцам и моделям. И продавали эти костюмы работникам предприятия по 410 рублей. И Шура купил себе один такой костюм. Хотя и не собирался его покупать, думал, зачем мне костюм и куда в нем ходить? И, кроме всего, не любил он покупать на предприятии продаваемые вещи, потому что все их покупали, кому доставалось, и ходили потом одинаковые и по общей форме одетые, как тридцать три богатыря. А Шура, он почему-то не любил одинаковости. У него с молодого возраста пунктик такой был, после армии. И когда все люди носили широкие брюки в соответствии с требованиями моды, он ходил в узких, старомодных, и наоборот. И он говорил — не люблю я, когда не поймешь, кто где, и не отличишь, и ходил на работу, в чем придется, белой, можно сказать, вороной.

Но в тот раз ему позвонили из цеха и сказали — слушай, хочешь костюм, а то у нас он на всех мал? Да, а Шура, он был сорок четвертого размера человек и первого роста, то есть 163 см. И он сходил в цех, раз уж предложили ему персонально, и купил этот костюм, тем более у него костюма не было и деньги тогда дали — годовую премию за экспорт продукции, 504 рубля. А так бы он ввек его не взял, этот костюм, если б не в цехе. В заводоуправлении все выделенные костюмы размели — и маленьких размеров, и больших, и всяких, и он бы со своим характером, лишенным бойцовских качеств, к ним и не подступился. А в цехе, значит, взял свободно. И вот сегодня он в этом новом костюме пришел на работу, впервые его надев. Хотел Шура и рубашку белую под костюм надеть, но постеснялся на работу в белой рубашке идти, как на праздник, и надел всегдашний свой свитер тонкий, полушерстяной, полусинтетический. И он пришел на работу без чего-то восемь, сел за свой стол и сидит — как обычно с утра. У него работа такая была — сиди и жди. Пока вызовут. Потому что он инженером работал в отделе механика, и, когда ломалось что-нибудь из оборудования и устранить поломку цеховые ремонтники не в состоянии бывали по недостатку квалификации и опыта, его, Шуру, по телефону звали, и он шел в цех, и находил причину

аварии, и говорил, как ее устранить. А в перерывах между вызовами сидел без работы. По штату он, конечно, не должен был так сидеть, а должен был что-нибудь чертить, числясь конструктором первой категории. Но он не чертил ничего, и его не заставляли, потому что, когда надо было гидравлическую какую-либо систему сложную отремонтировать и наладить или разобраться и поставить правильный диагноз, почему то или иное технологическое оборудование работает отказывается в заданном режиме, всегда его вызывали, Шуру, и он это делал в короткие сроки и без особого напряжения сил, хорошо все это умея и зная свое дело до мелких нюансов. И его таких способности и качеств начальству хватало за глаза, и оно понимало, что больше от Шуры ничего требовать не надо. И так во время его отпусков, если случалось что-нибудь сложное, без него было тяжело обойтись, и его привозили из дому на летучке, чтоб он выполнил свою работу. Хорошо еще, что он в отпусках всегда дома находился, а не уезжал на какие-нибудь курорты Крыма.

И Шура приезжал на машине-летучке, делал, что нужно и что от него требовалось, и его снова увозили, доставляя домой в кабине. А потом, при возможности, предоставляли отгул. И Шура чувствовал себя в таких случаях полезным человеком, незаменимым в деле производства стрелочной продукции для нужд железных дорог страны, а также и ближнего зарубежья. Правда, жена Шуры этими вызовами недовольна бывала, говорила:

— Ты им что, нанялся или как — работать задаром?

А Шура говорил:

— Я не задаром. Мне отгул потом предоставят по первому требованию, оплачиваемый.

А жена говорила:

— Отгул. И откуда, — говорила, — такие, как ты, берутся и чем делают? Отгул.

Вообще жена у Шуры была женщина невнятная и противоречивая, и понять ее психологию и направленность чувств было не всегда легко. Потому что она, допустим, говорила Шуре — посмотри на себя в зеркало, на кого ты похож? И с тобой, говорила, на люди выйти стыдно, при том, что никуда они не выходили последние двадцать лет, ни на какие люди. А стоило Шуре костюм себе на премиальные деньги купить, начала она противоположное говорить — что денег и без того не хватает, а он, видишь ли, покупки себе делает по полтыщи ценой.

Но Шура таким разговорам жены особо пристального внимания не уделял и с ее непредсказуемым поведением в быту мирился — чтоб не расстраивать себя попусту и нервы в покое содержать.

И вот встал он сегодня, когда жена дверью хлопнула, — у нее на час раньше работа начиналась, с семи, и она соответственно уходила в шесть пятнадцать. А Шуре хлопнувшая входная дверь будильником служила. И Шура встал, разбуженный хлопнувшей дверью, умылся, побрился, чаю выпил и решил, что сегодня не помешает надеть новый костюм, который он ни разу еще на себя не надевал и никуда в нем не выходил из дома. Во-первых, потому что куда б это он пошел в новом костюме и с какой стати, а во-вторых, потому что брюки у костюма у этого чуть длинноваты были — на один сантиметр примерно. И теперь Шура ремень в них вдел и затянул его повыше талии. А рукава пиджака нормальную длину имели, так как руки у Шуры были не совсем пропорциональные его приземистому сложению и свисали ниже, чем у людей с обыкновенной стандартной фигурой.

И значит, пришел Шура в новом костюме на работу, сел за стол свой у окна в углу и сидит, ждет звонков. А звонков нету пока, и он сидит без работы. Слушает, как сотрудники его и сослуживцы разговаривают, делая друг с другом семейными впечатлениями и новостями, а также и новостями политической обстановки в стране. Шура, кстати, он газет не

читал и не выписывал и по телевизору мало что смотрел, не имея к этому пристрастия и духовной потребности. Книги свои, механические, читал — «Гидропривод» там или «Металлорежущее оборудование». А газет не читал. Он на работу приходил и там все узнавал из разговоров — и про сессии, и про погоду, и про смены власти. И городские, местного масштаба новости тут он, Шура, узнавал, в отделе, так как многие его товарищи по работе выписывали газету «Вечерний город», в которой всегда сообщалось об отключении воды и света и об изменении цен на билеты в транспорте, и о других жизненных проблемах города, горожан и городского коммунального хозяйства.

И сидит так Шура в костюме за своим рабочим столом, слушает, о чем вокруг идет речь и на какую тему, а сам произвольно думает, что раньше у них традиция существовала в трудовом коллективе — поздравлять всех и каждого с днем рождения. У начальника тогда список лежал под стеклом с датами, и каждому в его день дарили цветы и открытку поздравительную. По рублю сбрасывались или по три и дарили в дружественной неофициальной обстановке, и всем отделом обедали с вином, и отпускали виновника после обеда домой. Негласно. И Шуру, конечно, тоже поздравляли и отпускали, как всех, хоть он и не считал нужным отмечать свои дни рождения дома, в кругу семьи. Но это неписаное правило давно уже отменилось. Сначала из-за антиалкогольного постановления правительства, а потом из-за цен, растущих со скоростью геометрической прогрессии, и прочего хаоса переходного периода жизни. И начальник отдела у них теперь другой, новой формации, и сохранил ли он под стеклом тот список, неизвестно, да и устарел он, список, потому что кадровых работников, таких, как Шура, ветеранов, не осталось, считай, никого, ушли по причине невысоких должностных окладов в коммерческие новообразования и в другие, более ягодные места. А вновь поступившие, конечно, ни о каких прежних традициях не знали и не могли знать. Леша Корзун, он мог знать и помнить, он с Шурой лет десять, а то и пятнадцать трудился бок о бок и плечом к плечу за соседним столом, но он тоже не помнил ничего и только сказал Шуре:

— Чего это ты в костюме, как здрасте?

А Шура ему сказал:

— А в чем я должен быть?

И Леша сменил тему, начав жаловаться Шуре, что работа ему осточертела и делать он ничего не хочет за такие деньги, а где и как заработать другие, он не знает, и, кроме того, сказал, хочется мне все больше и больше напиться или удариться.

И Шура выслушал его жалобы, как всегда их выслушивал, и сказал, что первое Лешино желание легко можно претворить в жизнь даже и сейчас, невзирая на катастрофическое падение жизненного уровня, а второе, сказал, тоже можно, но спешить с этим не надо и некуда, тем паче, что и так все там в конце концов будем и окажемся, без спешки.

Короче, посидел Шура час в отделе, на своем месте, поскучал, а после встал и пошел за шкафы с техдокументацией, где он переодевался в спецодежду перед своими выходами в цеха завода. Шкафы умышленно так были составлены, чтоб они закуток собой образовывали и чтоб там можно было переодеваться не на глазах у всех. И Шура снял с себя свой новый нарядный костюм и повесил его на плечики, а на себя надел рабочую одежду из чертовой, как говорили когда-то, кожи, она, его эта одежда, вся была покрыта мелкими и средней величины пятнами гидравлических масел, припудренных пылью, и пузырилась на локтях и коленях и вообще давно требовала замены на новую. И, переодевшись, Шура вышел из закутка в таком, рабочем, виде, а кто-то говорит:

— Ты куда собрался? Тебе ж вроде не звонили.

А Шура говорит:

— Надо мне. Там, проверить одну вещь. В механосборочном.

И он ушел из отдела на территорию завода, не имея никакой неотложной работы и определенной цели. Но ему хотелось уйти из отдела, где все были озабочены и увлечены какими-то своими делами и безрадостными заботами дня, и каждый сам собой. А на заводе Шуру все знали, и он пользовался там, в цехах, заслуженным уважением за то, что умел найти и определить любую причину и поломку и ее отремонтировать. Когда никто уже не мог и не знал, что надо делать и как, — он знал. И его звали в таких безвыходных ситуациях на выручку, и он исправлял положение. Поэтому он и имел авторитет среди рабочих и мастеров в цехах и на участках. Вот и подумал Шура, что пойду, пройду по цехам завода, чтоб не сидеть в отделе. И он прошел по мягкой от пыли дороге, обогнув гору металлолома перед пихтовым двором, и углубился в обширное заводское пространство. И все встречаемые им люди говорили Шуру «здравствуйте», потому что многие и чуть ли не все здесь были знакомы с ним лично. А он, Шура, отвечал на приветствия, кивая головой и приподнимая правую руку. И так, кивая и отвечая на встречные приветствия, дошел он до кузнечного цеха и остановился, войдя, у прессы. А постояв и понаблюдав за его медленной поступательной работой, Шура перешел к группе молотов, стучащих вразброд и не в такт, а уже от молотов пошел в мастерскую и застал там всю ремонтную бригаду, собиравшуюся попить на досуге чаю во главе со своим механиком. И механик рассказывал воспоминания из детства — как его бабушка в деревне ругала при нем, мальце, своих младших незамужних дочерей за то, что они хотели носить лифчики, говоря, что у них молока не будет, и Шура сказал всем «привет», и они ему сказали «привет» и сказали:

— Хочешь чаю? Зачифирить.

А Шура сказал, что уже пил сегодня чай, и тогда механик закончил автобиографический рассказ про бабушку тем, что он прочел в газете об одном профессоре из Франции или даже из Дании, научно доказывающем то, что бабушка его деревенская сорок пять лет назад знала и понимала, а Шуру механик сказал, что все у них сегодня крутится, как часы, просто удивительно, и ты, сказал, Шура, можешь курить и отдыхать в рабочее время. А Шура сказал механику — отдохнешь тут, и не у вас, сказал, так у другого кого случится какая-нибудь поломка, и много я, сказал, с вами, чертями, за пятьдесят лет жизни отдыхал. И в общем он пошел из кузнечного цеха в сборочный, а путь туда лежал через заготовку, заготовительный то есть цех, в котором ремонтники как раз занимались заменой зубчатых колес сразу на трех станках. Простую работу они выполняли, каждодневную, но механик цеха стоял и контролировал их действия и подгонял их, чтоб быстрее поворачивались, и давал советы и указания, не нужные никому. И он протянул Шуру руку, не повернувшись к нему лицом и продолжая кричать подчиненным сквозь шум производства, что так вы вал не вынете и что надо крышку всю целиком снимать, а потом уже вал. А ремонтники выполняли, конечно, его команды и указаниям его следовали, но неохотно и лениво, огрызаясь и говоря, что он сильно быстрый и грамотный и, если он все знает, то пускай сам и делает, а командами разбрасываться все умеют, для этого ума много не надо. И они сказали, увидев Шуру, что вот еще один командир пришел и что вечно у них на одного раба три прораба. Незаслуженно это они сказали про Шуру, в сердцах, так как командиром он не был никогда в жизни и никогда его не тянуло в командиры и руководители выбиться. Но возражений рабочим Шура не высказал, а у механика он спросил для проформы, как работают пресс-ножницы, те, что они вчера ремонтировали, а механик сказал — работают. И Шура постоял еще возле него, не зная, как уйти и что при этом сказать, будучи ненужным здесь сейчас для таких односложных работ, и он ушел, не сказав ничего, а просто повернулся на девяносто градусов и пошел по южному пролету вдоль работающих сверлильных, фрезерных и строгальных стан-

ков специального назначения. И вышел Шура из полумрака и шума цеха на свет и в тишину заводского двора, тишину, конечно, относительную, потому что и краны мостовые на эстакадах работали, грохоча колесами на стыках и взвывая двигателями подъема и передвижения, и автомашины грузовые проезжали то и дело по центральной заводской магистрали, и тепловоз гонял из цеха в цех вагоны и платформы, груженные и порожние. И все это создавало какой-то шум, но шум другой, менее плотный и разбавленный открытым пространством, и этот шум после жесткого шума цеха казался почти что тишиной. И Шура постоял между цехами, под солнцем и ветром, подышал и поразмышлял — не вернуться ли ему, и решил не возвращаться, а сходить все-таки и в сборку, и в механоштамповку и, может быть, в конце зайти в ремонтно-механический. И он продолжил свое бесцельное движение по заводу, и опять все с ним здоровались, и кое с кем Шура останавливался на два слова и разговаривал не о чем-то, а так. Как дела, спрашивал, и как жизнь. И у него это же спрашивали, а он говорил — какие там дела, и разве, говорил, это жизнь, это горе луковое, а не жизнь, достойная звания человека с большой прописной буквы. И слава Богу, говорил, что здоровье еще есть, несмотря на пожилой возраст пятьдесят лет.

И Шура добрался так, не спеша и ничего не делая по своей профессии, до ремонтного цеха, где вообще все без исключения его знали по работе с хорошей стороны, сталкиваясь с ним каждый день по разнообразным производственным причинам. И костюм ему в этом именно цехе продали полтора года назад как своему человеку. И он пришел перед перерывом получасовым на обед, у них в цехе перерыв рано начинался по расписанию, в десять тридцать утра, а когда Шура дошел до них через весь завод, примерно десять пятнадцать было на часах, и все в цехе уже не работали, а готовились к принятию пищи. Руки мыли — сначала керосином, чтоб солидол и масла смыть, а потом — под краном водой с хозяйственным мылом и щелоком. А некоторые стояли и курили или что-нибудь говорили друг другу. И у Шуры все спрашивали — чего это он не вовремя пришел, на перерыв, а Шура говорил, что зашел по пути, был тут, поблизости, и зашел, на них на всех посмотреть и полюбоваться, так как давно их не видел, а они говорили, что вчера же виделись, забыл он, что ли, а Шура говорил — забыл, и с памятью у меня, говорил, нелады, годы как-никак, полтинник, на что слесарь по фамилии Ремез сказал Шуре — полтинник это еще юношеский возраст для мужчины, и я, сказал, в полтинник по девкам ходил, пользуясь у них популярностью и любовью. И все посмеялись, услышав хвастливые слова пожилого пенсионера Ремеза, и пошли в столовую, а Шура пошел с ними, потому что к столовой надо было идти туда же, куда и к заводууправлению. И он проводил рабочих ремонтно-механического цеха до поворота, и они свернули, приглашая и Шуру поесть за компанию лишней раз, а Шура сказал, что у него обед в двенадцать ноль ноль, и есть ему еще рано и не положено, и не привык он так рано обедать. В отделе же Шура досидел до двенадцати и обедать все равно не пошел, а вскипятил и выпил чаю тут, на месте. Не было у него что-то аппетита сегодня для того, чтоб обедать идти, и он сидел в отделе, пил чай и листал документацию на вновь смонтированный пресс усилием десять тысяч тонн, и слушал радио — концерт современной музыки. И во время этого концерта ему позвонила жена и предупредила, что остается дежурить вместо одной медсестры их отделения, у которой сегодня неотложное событие в жизни — свадьба родной дочери.

— Так что ты меня, — сказала жена, — не жди после работы и поешь там чего-нибудь, в холодильнике.

И Шура доработал день до конца, вернее, не доработал, а досидел без работы — бывали у него такие вот пустые дни, редко, но бывали, и он переоделся в костюм и в полпятого ушел с работы домой, где тоже ничего

не делал, только выпил в костюме вина виноградного, изготовленного им прошлой осенью лично из винограда «Лидия». Прошлой осенью этого винограда много очень в их местах уродилось, и продавали его на всех углах совсем дешево по сравнению с другими фруктами и с винами фабричного изготовления. И Шура купил прямо на остановке троллейбуса десять килограммов этого дешевого винограда и поставил бутылку домашнего сухого вина, без сахара. И значит, выпил Шура два стакана этого прошлогоднего сухого вина, не сразу выпил, а в течение вечера, потом он снял с себя костюм, лег и, почитав перед сном книгу «Узлы и детали машин», уснул. А утром Шура опять на работу пошел, потому что был тем утром четверг. И этот четверг оказался у Шуры загруженным до последней крайности, и все в этот четверг рушилось, и разваливалось, и выходило из строя, и Шуру дергали то в один цех, то в другой, и он ходил по вызовам и выполнял свои обязанности, а в начале пятого вернулся к себе в отдел и вымыл руки специальной пастой «Ралли», и переоделся в чистую одежду, а грязную, спецовку, оставил на вешалке висеть, за шкапами. Но до времени окончания рабочего дня оставались еще какие-то считанные минуты, и Шура сел за свой стол, а Леша Корзун тоже сидел и ждал, изнывая, наступления половины пятого. И Шура обернулся к нему и говорит:

— А у меня, — говорит, — день рождения вчера был, пятьдесят лет.

А Леша говорит:

— Поздравляю.

— С чем, — Шура у него спрашивает, — тут поздравлять?

А Леша говорит:

— Как с чем? Пятьдесят — это ж, — говорит, — расцвет сил, и вся жизнь еще впереди.

А Шура сказал:

— Ага. Впереди. — И еще сказал: — Живи — не хочу.

1993

## СЫН

Мамонов хотел мальчика. А у него было уже две девочки. Жена ему говорила:

— Да какая тебе разница — мальчики, девочки? Бездетность не высчитывают — и слава Богу.

А он отвечал:

— Хочу, — и жизни жене не давал.

— Может, это, ты больная, — говорил, — где-нибудь по женским болезням, может, это, тебе подлечиться надо, чтоб мальчик получился? Так ты — давай, не стесняйся.

А жена ему отвечала:

— Это тебе надо подлечиться, у тебя в голове детали не все.

Но от Мамонова так просто никто еще не отделялся. Пришлось жене забеременеть. Она, правда, страшно не хотела, говорила, что и этих-то по-человечески не прокормить, не одеть, а оглянуться не успеешь — замуж надо будет обеих выдавать. А Мамонов ее успокаивал:

— Это ж последний раз. Теперь уже сто процентов мальчик будет.

Он даже — для полной чтоб гарантии — к бабке сходил. Бабка пошептала и подтвердила, что да, на этот раз не сомневайтесь. И стал Мамонов ждать. Ждал, ждал, ждал, ждал — семи месяцев еле дождался. Дождался и говорит жене:

— А давай я тебя, это вот, в роддом отвезу. На всякий случай. Вдруг, — говорит, — это, мальчик семимесячным родится.

— А иди ты, — жена ему отвечает, — в пень.

А он говорит:

— А что? Семимесячные, они, это вот, знаешь, какие умные потом становятся. Гении почти все, поголовно. Про это и в газете писали.

Конечно, жена ни в какой роддом не поехала, и мальчик у Мамонова родился, как у всех нормальных людей — когда девять месяцев прошло. Как забрали жену в роддом, через день мальчик и родился. Мамонов позвонил туда в обеденный перерыв с работы — из кабинета начальника цеха, — а ему говорят:

— Мамонов? Подождите, сейчас проверим.

Он подождал возле трубки, они проверили и говорят:

— Мамонов, вы слушаете? У вас мальчик — три пятьсот.

Мамонов в цех вернулся и говорит бригаде:

— Можете меня поздравить. Мальчик, три пятьсот.

— Поздравляем, — бригада говорит. — С тебя, — говорит, — пущь.

Мамонов в раздевалку поднялся — у него там в заднем кармане штанов было застегнуто — и принес двадцать пять рублей одной бумажкой. Ребята две банки нашли, смотались к тете Фене — это рядом, через дырку в заборе три минуты, — в гастроном тоже заскочили за хлебом и консервами, принесли, в красном уголке сели и еще раз Мамонова поздравили — теперь уже по-настоящему, от имени коллектива. Старший мастер зашел, тоже руку Мамонову пожал.

— Пускай, — сказал, — растет большой. За это выпьем. И за мир! — выпил и Мамонову разрешил завтра на работу не выходить — под свою личную ответственность, — чтоб порадовался он, значит, денек. Мамонов спасибо ему сказал, смену доработал и пошел в роддом — жену проведать. По телефону. Там, в роддоме, есть такой специальный телефон с трубкой на длинном проводе. Ее прямо из окна спускают на улицу, и можно разговаривать. Вот Мамонов с женой и поговорил по этому телефону. Жена сказала ему, что мальчик у них родился, три пятьсот, а Мамонов сказал, что он и без нее это знает, потому что в обеденный перерыв звонил — из кабинета начальника цеха. Потом они по телефону попрощались, и жена яблок ему заказала и соку, какой будет. Мамонов сказал, что — хорошо, принесет, и домой пошел. По пути еще в автоматы заглянул, пива выпить — дочек Мамонов позавчера к матери отправил, спешить, значит, было ему некуда, ну, он и заглянул.

А назавтра Мамонов на базар сходил, купил яблок, соку — тоже яблочного — в бутылках и понес в роддом. Жене. Идет, а в спорттоварах самокаты продают. Все берут. И Мамонов решил взять. Вырастет мальчик — будет на самокате гонять. А чего?

Это Мамонов так думал, когда самокат покупал. И еще думал собаку ему завести — овчарку или бульдога какого-нибудь. Мальчишки собак любят.

Так он, с самокатом, и в роддом пришел, чтоб жена из окна на его покупку посмотрела.

А потом жену из роддома выписали. Мамонов букет купил, дочек с собой взял — как раз полное такси получилось. Приехали домой, стали жить. Она на работу ходит, дочки — в детский сад. Одна — в младшую группу, одна — в среднюю, а жена с сыном дома сидит, в декрете. Придет Мамонов с работы, жена ему поесть даст, он поест и к мальчику подходит — посмотреть. Погремушек ему натаскал всяких, зверей резиновых. Стоит Мамонов возле кровати, а жена рассказывает, что аппетит был сегодня хороший и сон тоже хороший, крепкий.

Потом Мамонов взял на работе отгул, и они в ЗАГС районный съездили, записали мальчика на имя Денис. Жена заодно хотела его покрестить, но Мамонов сказал, что — потом, не горит, и поехали они домой. Снова такси наняли и поехали.

Отпраздновали регистрацию и опять жить стали.

Жили, жили, мальчик уже и стоять научился, и говорить что-то по-своему. Ходить, правда, ленился. Мамонов его поставит, а он идти не хочет, садится. Зато не болел совсем. Один раз только температура неожиданно подскочила. До сорока градусов подскочила, и судороги по телу пошли временами. Врачиху участковую вызвали, она порошки прописала и уколы. Сказала — пройдет. И дня через два температура точно — прошла. Уколы, видать, помогли. А вот ручки у Дениски как-то внутрь скрючились. И ножки тоже — внутрь. Жена взяла его и отнесла в поликлинику. В поликлинике доктора Дениску посмотрели и сказали, что все это очень похоже на детский церебральный паралич. Сказали: — «Мы вас, конечно, обследуем основательно, но вообще — очень похоже».

Вернулся Мамонов с работы, жена сидит в комнате на стуле и ужинать ему не дает.

— Что такое? — Мамонов спрашивает.

А она говорит со стула:

— Ой, Витя, у Дениски определили какой-то паралич. Детский.

Мамонов подумал и говорит:

— Так это ж, наверно, это вот, ничего, если детский. У детей, наверно, это бывает. А подрастет Дениска — все и пройдет. Температура ж, это вот, прошла.

— А если не пройдет? — жена сомневается.

Мамонов опять подумал и ничего не сказал. Что говорить? Женщины, она и есть женщина. Ей лишь бы паниковать.

Вышел Мамонов на кухню, сел за стол и сидит. А жена увидела, что он сидит, спохватилась и налила ему супу теплого, полную тарелку. И Мамонов стал его есть ложкой. Ест, а сам думает: «Пройдет. Не имеет права не пройти. Самое главное, что мальчик у меня, это вот. Сын. А остальное — пройдет».

1992

## КОНЕЦ ГОДА

Под конец 1991, уходящего в Лету истории года денег в сберкассах не выдавали, считай, никому. И зарплаты тоже многим простым трудящимся не выплачивали. Главное дело, все президенты всей страны поголовно считали, что надо дать людям возможность зарабатывать, сколько влезет, а они говорили, что, конечно, кто ж против президентов спорит и возражает, но денег-то нет, ввиду отсутствия и нехватки наличных купюр в госбанках. Как же их выплатить? Если их нет. А произошло это отсутствие купюр из-за того, что продавать в магазинах госторговли для обеспечения естественного круговорота денежных знаков можно было одним только продавцов, а больше нечего. А с базара и с рынка или, допустим, из коммерческих торговых точек серьезные деньги в банки возврат не совершали, а крутились и оборачивались где-то помимо, то есть в кулуарах и за кулисами теневого сектора экономики и параллельных мафиозных структур. А станок, который эти купюры печатает, говорили, подвергся моральному износу и вышел из строя действующих. Короче, тут во всем ощутимо сказалась несостоятельность марксизма-ленинизма как единственно верного учения и дал о себе знать крах и развал социалистической империи зла на независимые части света и отдельные государства. И вот подавляющему большинству рядовых граждан, отброшенных далеко за черту бедности и нищеты, совсем почти нечего стало употреблять повседневно в пищу, и купить пожарть возможность у них отпала и атрофировалась начисто. А у всех же в основном семьи на руках и дети, и жены. А зарплаты, значит, не выплачивают никакой, сволочи. И сберкассы в выдаче вкладчикам вкладов отказыва-



ют антиконституционно, и все это происходит на общем фоне небывалой суперинфляции и неудержимого роста розничных цен на товары первой необходимости и услуги повышенного спроса. И счастье тому, если у кого было накоплено в течение прошлых лет активной жизни много излишней верхней и нижней одежды и обуви и запасы пищевых продуктов имелись по домам, заготовленные на случай зимы или других стихийных бедствий — крупы в смысле, мука блинная и простая, макаронные изделия, а также прочий широкий ассортимент, вплоть до консервов из рыб в томате, в масле и в собственном их соку. А у кого не было ничего этого заранее предусмотрено, тем совсем можно было смело пропать ни за грош собачий и пропадом и идти на панель и на паперть или, может, даже, в подземный переход с баяном. Потому что голод — он никому не тетка.

Но Привалов к этой вышеназванной категории беспечного населения не принадлежал ни сном, ни духом. У него, в его жилье, им лично и при участии его первой жены Лидии были в свое время заложены на антресоли, в кладовые, под кровати, на балконы и во все три холодильника «Днепр-2» всякого рода неприкосновенные запасы пищи, и всем нужным для обеспечения и поддержания жизненно важных центров они обладали и с голодухи или от, допустим, дистрофического истощения помирать и пухнуть покуда не собирались и не рассчитывали, а собирались они честно работать и жить, пока живется, а там — хоть трава не расти. Правда, первая жена Привалова, Лидия, она, само собой, будучи женщиной, обижалась на такой низкий образ и уровень жизни и высказывала свои суждения и результаты умственных размышлений Привалову по вечерам во время совместных ужинов, которые она готовила на скорую руку из имевшихся в ее распоряжении макаронных изделий «рожки» производства мейд ин Италия и круп типа ячневая, перловая, пшенная и тому подобное, сделанных еще в бывшем СССР. Она говорила примерно в таком русле, что другие-то вон с жиру дуреют и бесятся, коньяк с шампанским стаканами вместо чая по утрам в постели жрут. А детей своих, отпрысков, фристайлам обучают и английским языкам в школах бизнеса, и, говорила, что мне-то в моем переспелом возрасте, мягко говоря, пополам и бог уже с ним, но сына же нашего, ребенка, питать надо усиленно и три раза на день. И это, не учитывая того, что он кормится в школе, так как в школе у них не пища, а повальное воровство и поголовное недовложение в блюда, а у него же, у сына нашего, организм растущий, и одевать его — только успевай поворачивайся. И сколько ж можно, а, говорила она, Лидия, переносить в душе питание макаронными изделиями «рожки» и кашами из круп? Я ж, говорила, полномочный представитель самого прекрасного человеческого пола, и фигура мне необходима, соответствующая моему званию и предназначению, чтоб по улицам ходить с ней не совестно было. А с этих заграничных «рожек» и напих отечественных капй какая может образоваться у женщины фигура? От каш возникает не фигура, а мешок с руками. Так говорила Лидия каждый божий день ежевечерне, и Привалов это ежевечерне от нее выслушивал, сидя по стойке «смирно», и позволял ей подобные высказывания, пропуская их от начала и до конца мимо ушей, как последние новости, и мечтал о чем-нибудь глубоко своим и сокровенно личном, чтобы отвлечь и заглушить внутри себя самого ярость и ненависть к любимой своей первой жене Лидии.

И, конечно, Привалова можно в какой-то незначительной степени понять и оправдать за его эти сильные негативные чувства и отрицательно заряженные эмоции, потому что ко всем этим мелким по большому счету и общим для всего народонаселения трудностям и лишениям у него еще долго прибавлялось и то немаловажное обстоятельство, что мать его преклонных лет и его же бабушка лежали пластом в состоянии недвижимости. Они болели неизлечимой болезнью в завершающей стадии, то есть

они находились, что называется, при смерти длительное время года, но по каким-то не известным в науке причинам и следствиям никак не умирали, несмотря на окончательный диагноз, вынесенный персоналом больницы № 6 и совпавший с первоначальным диагнозом участкового терапевта Несонова Петра Альбертовича. Он, Петр в смысле Альбертович, год еще тому назад поставил их, мать, значит, Привалова и его же бабушку, в известность перед фактом, что заболевание у них в запущенной до невозможности форме и что погибнут они от него в скором будущем времени неумолимо и как пить дать. А они, значит, все болели и болели как ни в чем не бывало, и весь уход за ними ложился тяжким бременем на хрупкие плечи Привалова, потому что первая жена его Лидия отказалась, а он, Привалов, являлся своей матери родным сыном, а бабушке, соответственно, внуком — что ж ему оставалось делать, раз не уважала Лидия как мать его, так и бабушку и никаких других родственных чувств к ним не испытывала. Они же тоже взаимно не признавали ее за родную кровь и смотрели на нее всегда свысока и косо, а потом, значит, заболели болезнями на старости своих лет и от этих женских болезней века неоправданно долго умирали. Муж матери, отец то есть Привалова, а бабушкин, значит, зять, тот удачно своей смертью скончался года три назад — скоропостижно, а они вот сами мучились без конца и края и других людей мучили и отвлекали от важных дел и от счастья в жизни. А Лидия им ни малейшего ухода не оказывала и не предоставляла, и Привалов, по силе своих возможностей, вынужден был делать все, что мог, и по утрам, и придя уставшим с работы, и по выходным дням с утра до ночи. Он и в отпуске по графику находясь, в основном при их постелях и при них состоял, не отходя. На недельку только, на одну, в дом отдыха отлучился с семьей, в загородный, а потом все три недели, как один день, — при них.

Ну и, конечно, такой неустроенный и малопривычный во многих отношениях быт Привалова беспощадно угнетал и нервировал и оказывал на его личность и, как говорится, менталитет удручающее воздействие — тут, сволочь, денег не выдают, кровно заработанных потом и трудом, тут в магазинах ни хрена нету в буквальном понимании и смысле этого выражения, а тут еще родная мать с бабушкой заодно лежат в комнате, голова к голове, не вставая с кроватей, и ничего из накопленных продуктов в пищу принимать не хотят и не могут по состоянию здоровья, и по нужде ходят под себя, хотя и совершенно незначительно и нечасто. А когда они, мать и бабушка, были более-менее помоложе годами, они в силах были женщины, неболезненные, и им некоторые знакомые, друзья и товарищи по работе даже завидовали искренне от чистого сердца белой завистью, говоря, что, конечно, вам можно на этом свете жить, вы болезням не подвержены извне и хронически здоровые. А они и на самом деле, считай, не заболели, а работали в то же время в тяжелых условиях труда и отдыха на предприятии химической промышленности плечом к плечу, составляя собой славную рабочую династию в третьем поколении. И там, на этом предприятии, технологический процесс своим разомкнутым циклом пагубно сказывался на физическом здоровье людей труда, наиболее кося старые постоянные кадры рабочих и служащих, и они все болели, как мухи, и общую продолжительность жизни, согласно последним статистическим сведениям, имели ниже средних показателей по стране и по миру лет на десять или пятнадцать. А их, мать то есть Приваловскую и его бабушку, никакая эта вредная химия не брала ни за что и, только лишь уйдя на покой и пенсию по старости, они заболели перед смертью своей этой тяжелой и продолжительной болезнью. И болели почти что до окончания декабря месяца 1991 года, а точнее — до семнадцатого его числа.

А семнадцатого они-таки скончались с горем пополам, как говорится, смертью жизнь поправ, и произошло это с ними в три часа сорок

минут ночи под покровом предрассветной мглы темно-болотного цвета, и первая жена Привалова Лидия сказала в сердцах Привалову спросонья, что вот и помереть мать твоя с бабушкой не удостоились по-доброму и по-людски, а подгадали, как специально назло, когда темная ночь на улице, дождь непролазный кругом со снегом и грязища до пояса, а денег нету и не выдают. А Привалов ответил ей — тоже спросонья и в сердцах, но в оптимистическом ключе — что, мол, при наличии справок о смерти, заверенных печатью врача, наверно, деньги выдать будут обязаны и в сберкассе, и на работе, и ничего нет такого страшного, как-нибудь с трудом похороним и предадим земле, тут не оставим. Ну, и, значит, позвал Привалов соседскую старуху, сведущую в смерти, чтоб она произвела санобработку его умершим матери и бабушке и нарядила их, и сделала все прочее, что полагается в аналогичных случаях, и старуха пришла по первому зову за трешку и приступила к привычным обязанностям со знанием всех тонкостей и нюансов своего нелегкого дела, и все у нее выходило и получалось красиво и быстро, хотя работала она с чувством долга и с толком и без лишней суеты сует. А Привалов, пока она приготавливала его мать с бабушкой в последний земной путь-дорогу, проник в их общий шкаф-сервант, где должно было лежать у них всякое белье и одежда, и убранство, и иное составляющее баракло, необходимое для соблюдения траурного обряда прощания. И он все это раскопал на нижней полке ящика и вынул, и передал для нужд приглашенной им старухи, а еще он нашел в шкафу, под бельем, кулек из-под зеленого грузинского чая первого сорта и в нем, в этом кулке, обнаружил большие деньги, целую пачку больших денег. И оказалось там, в этой пачке, сто шестьдесят двадцатипятирублевков, что составило в пересчете четыре тысячи рублей ровно. Привалов об этом в туалете узнал и убедился. Он там заперся на крючок изнутри, чтоб ни одна живая душа ему помешать не смогла, и под видом простого удовлетворения естественной потребности деньги у себя на коленях сосчитал два раза подряд. И воду в конце спустил бурным потоком, следуя законам конспирации, и вышел из туалета наружу, а Лидии, первой своей жене, ничего не сообщил про обнаруженные им в серванте суммы денег, ни одного слова. Утаил, значит, от нее это радостное сообщение, а сам себе подумал, что не бывает таким образом в этой жизни худа без добра.

И нахлынули на Привалова неотложные заботы и хлопоты. Получение справок по факту смертельного исхода болезни — это раз, это самое главное, в больнице № 6, а там же за этими справками толпа народу стоит, как за колбасой или хлебом, и всем хочется срочно и безотлагательно их получить, потом, конечно, заказывание ям, гробов, автобуса и оркестра траурной музыки — это тоже самое главное и на другом конце большого города, черт-те где. А они там, в похоронном, значит, комбинате бытового обслуживания, говорят, что гробов у нас на складе готовой продукции в наличии нету и до конца месяца, а равно и текущего года поступления не ожидается, потому что завод по производству этих насущных товаров народного потребления из-за срыва поставок пиломатериала стоит и рабочие все находятся в вынужденном очередном отпуске. А что касается катафалка на базе автобуса ПАЗ, то ближайший есть на тридцать первое декабря сего года. На восемнадцать часов. Привалов им говорит, что как же без наличия гробов можно погребать, не говоря про то, что в восемнадцать часов темно уже на кладбище, как у негра... и скоро Новый год. А они, вредители, говорят, а мы чего можем сделать и изменить? У нас живая очередь по записи, и на раньшее все забито, потому что смертность среди живых неуклонно и стремительно развивается и идет в рост.

И Привалов плюнул на них и поехал с двумя пересадками к себе, по месту постоянной работы, на родной то есть мехзавод, и там ему в ремонтно-строительном цехе сразу пошли навстречу. Хотя тоже сказали,

что леса у нас может не найтись в нужном и достаточном количестве, но это, сказали, ничего не означает, это дело сугубо поправимое. Мы тебе, сказали, один гроб изготовим, но зато сдвоенный, что позволит нам значительно сэкономить древесину ценных пород. И тебе, сказали, все это удовольствие обойдется намного дешевле. Пошутили они так, с остроумием. А Привалов подумал и сказал, что хорошо, пускай будет сдвоенный, я, сказал, человек простой и непритворный, как верблюд — житель пустыни. Правда, яма одна свободная останется и незанятая, ну так и хорошо, и ладно, на потом будет. В запас. И все ему сделали не за страх, а за совесть — и обивку красной кумачовой материей с наружных сторон и белой с внутренних, и крышку. И Привалов рассчитался сполна там, в цехе, с мастерами и еще сказал, что за ним причитается один литр водки и он его поставит после того, как отоварится положенными ему по случаю обоих похорон двумя ящиками. А в автотранспортном цехе, в гараже, Привалов на завтрашний день сделал заказ большого просторного автобуса, чтоб, значит, негабаритных размеров гроб туда свободно уместить можно было и еще чтоб желающие отдать последние почести до конца могли в нем рассестся по сидячим креслам. Он, Привалов, этот шикарный автобус через прямые каналы заказал — через кассу то есть и главную бухгалтерию, а для увеличения полной гарантии он еще лично с водителем переговорил без свидетелей и сказал ему, чтобы он прибыл завтра на своем автобусе точно к двенадцати ноль-ноль по указанному адресу и не подвел его под монастырь, а за ним, значит, не заржавеет и не пропадет. А сегодня, сказал, сейчас, давай изготовленный гроб доставим к месту действия за отдельную оплату труда. И заодно стиральную машину «Чайка» с центрифугой туда же отвезем, по тому же самому адресу. Она, сказал, «Чайка» эта вот, у меня тут недалеко, в цехе, стоит. Ждет. Выиграл я ее, сказал, повезло. Нам на сто двадцать девять человек работников две штуки администрация выделила, а мне досталось по вытанутому из палки жребия. И они погрузили эту машину и изготовленный гроб и повезли всё вместе к Привалову на квартиру, а привезя, положили в гроб усопших мать и бабушку, то есть их тела, а машину, на радость Лидии, определили в кухню. Между газовой плитой и подоконником она как раз стала и уместилась.

Да, а духовой оркестр Привалову в похоронном комбинате выделили. Один оркестр у них в резерве оказался и, к счастью, завтра в двенадцать часов занятым нигде не был, а был свободен весь день. Он сначала-то его не стал у них заказывать, а потом, впоследствии, съездил еще туда раз и заказал, несмотря на Лидию, которая бешено сопротивлялась, чтоб оркестр брат, сказала, что и так сойдет за милую душу, раз с деньгами в семье и в стране напряженное положение и перебои. И кроме того она сказала, что другие матери и бабушки, если они, конечно, родители, а не с поля ветер, так они еще и детям своим деньги завещают по наследству и изделия из драгоценных металлов, и движимое имущество, а твои вот — так умудрились помереть, надурняк. Но Привалов все равно не послушался ее умного совета насчет необязательности оркестра и заказал его на свое собственное личное усмотрение. А про деньги, то есть про то, где их брат или одалживать в сложившейся неоднозначной ситуации, он сказал Лидии, жене, что это не ее касается, мол, мои, сказал, мать и бабушка, я и возьму. А она ему возражение оказала — ты гля, говорит, какой грамотный в кустах напелся, возьмет он. И они так, слово за слово, переругались между собой вдрызг и перегрызлись, потому что Привалов слово ей скажет, а она ему вдоль и поперек — десять, он — слово, а она — опять десять. И главное — покойницы тут же найдутся, в комнате, и сын тоже здесь присутствует, так как в школу он не пошел, улучив подходящий момент туда не пойти. Он же всегда из-под палки школу посещал и под давлением старших. Не люблю я, говорил, эту дурацкую школу. Привалов спрашивал, почему это ты не любишь и по

какому праву голоса? А сын отвечал, а потому, что Марина Яковлевна и завуч дули крутят и ругают меня словами ни за что. А Привалов спрашивал, как они тебя ругают? Именно и буквально. А сын говорил — а гад твою морду, вот как. Ну и, конечно, такое несчастье и горе он не мог не использовать, чтоб занятия не пропустить, раз появились у него все неопровержимые основания. И вот при нем, сыне, и при покойниках затеяла Лидия эту беспочвенную ругань и торг вокруг оркестра, не стоящего, если разобраться, ни одного выеденного яйца. И раз так, сказала она, Лидия, в конце скандала, делая ему резюме и подводя итоговую черту, раз ты оркестр заказал самовольно в разрез с моим мнением, то поминки я устраивать и делать не позволяю и не буду, понял ты или не понял? А Привалов говорит неожиданно для нее и преспокойно — ладно, говорит, не будем делать. Понял. И скандал на этой, примиряющей стороны ноте затих сам собой, так как не имел больше пицци для своего развития и продолжения.

И Привалов взял за лямки безразмерный рюкзак своей юности и ушел с ним из дому и дверью шарахнул, но не хотя, а нечаянно, сгоряча. И пошел он с рюкзаком в специально отведенный районными властями магазин, где для похоронных и свадебных ритуалов продавали заинтересованным лицам водку. По двадцать бутылок в руки на одну справку. И он купил два раза по двадцать бутылок, и продавщица ему сказала, что в порядке установленных правил на девять дней ты имеешь право еще по десять бутылок купить на каждого жмурика, но только лишь при соблюдении одного пункта условия, а именно, сказала, положено сдать нам обратно в магазин пустые бутылки. Все двадцать штук, как одна копейка. А в твоём, значит, отдельном случае — все сорок. И за это в обмен, сказала, сможешь еще плюс одним ящиком обзавестись. И выслушал Привалов от нее эти строгие, но справедливые правила торговли и усвоил их, и сложил всю свою водку в свой повышенной вместимости рюкзак и потащил его к себе на дом, сгорбившись под тяжестью содержимого груза почти до самой земли. А дома Привалов вот что сделал: он перелил из одного ящика водку в три трехлитровые бутылки и бутылки эти закатал ключом для домашнего консервирования овощей и фруктов и укромно запрятал и от Лидии, и от всех, а оставшиеся, запечатанные заводским способом бутылки он частично распечатал и их содержимое слил тоже в бутылки, но в бутылки из-под молока и кефира. Это для того, чтоб на мехзавод свой отнести и поставить, кому надо и кому обещано, и чтоб при себе завтра иметь на какие-нибудь непредвиденные и чрезвычайные цели. А частично оставил Привалов водку как есть, в фабрично-заводской упаковке. Да, а пустые, освободившиеся от водки в результате переливания бутылки Привалов вернул в тот же самый безразмерный рюкзак, застегнул его на ремни пряжками и задвинул глубоко, под бывшую бабушкину, а теперь, значит, ничью кровать. С глаз, короче, долой, подальше — чтоб не пропали они нечаянно завтра, когда к квартире может произойти избыточное стечение народа, пришедшего выразить и воздать процание. А после того, как с водкой Привалов закончил манипуляции и мышину возно, он снова ушел и сходил в кафе «Людчия». Это у них стекляшка такая была не очень далеко по улице напротив — забегаловка диетическая. И договорился он там, и заключил соглашение с заведующей насчет приготовления завтра банкета из трех-четырех блюд, чтобы поминки отметить, не ударив в грязь лицом перед людьми. И заведующая пообещала ему, мол, все устрою, как для себя, пальчики оближешь, и потребовала в залог некоторую сумму аванса. А то, сказала, у меня было уже — заказал один тоже так, поминки, а сам не явился. Вот и верь, сказала, после такого хамства людям. И Привалов выложил ей эту некоторую сумму аванса, а она говорит — да, между прочим, а на сколько человеку-персон накрывать и готовить? А Привалов, не зная, на сколько, говорит, а всего, говорит, у вас сколько тут посадочных мест? А

заведующая ему говорит с профессиональной гордостью — всего у нас тридцать два посадочных места. А Привалов говорит, что раз тридцать два, то и задействуйте ваше предприятие общественного диетпитания на всю возможную мощность. Поминки все ж таки не каждый день бывают, так чего ж на них экономию разводить? Правильно я мыслю? А заведующая говорит — логично. А Привалов ей говорит — только вы, говорит, столы сдвиньте один к другому впритык. Так будет и удобнее, и уютней, более, в общем, по-семейному.

И вот назавтра все прошло, как по нотам и по маслу, и на высоком организационном уровне. То есть и автобус приехал точно вовремя, и оркестр в количестве двух труб разного калибра, одного саксофона и одного барабана с тарелками не подкачал, оказавшись в трезвом доступном виде, и соседи собрались, пять человек старух и один полноценный мужик, временно на инвалидности по труду, и еще семья дальних родственников со стороны бабушки в составе двух сестер приехала из пригородного поселка городского типа на мопеде. И в двенадцать часов без существенного опоздания мать и бабушку переложили на чистые простыни и по порядку и по старшинству отнесли вниз. Привалов с мужиком-соседом и отнесли. Собственноручно. А гроб порожний с третьего этажа на первый шофер автобуса на горбу оттранспортировал за дополнительную благодарность в виде водки. И внизу, возле парадного подъезда, их, покойниц, значит, заново уложили — каждую на свое прежнее место. А выносили их так, без удобств, из-за того, что другим способом никак на лестничных клетках нельзя было увернуться и пройти. И когда, значит, их окончательно уложили в последний раз, оркестр грянул печальную музыку, и под этот, скорбно исполняемый аккомпанемент Привалов и мужик-инвалид загрузили гроб в салон автобуса и установили его вдоль прохода. И тут Привалов говорит, обращаясь из двери ко всем собравшимся и пришедшим, что, кто желает, тот имеет такую возможность отправиться с нами и с усопшими в их последний путь на комфортабельном автобусе, а кто не желает, тем спасибо, как говорится, что пришли почтить. А поминки, говорит, состоятся в диетическом кафе «Лючия» примерно около двух часов дня. И как услышала эти его сказанные слова Лидия, так чуть на месте не озверела, еле сдержала как-то себя и свой южный необузданный темперамент и смогла, значит, с собой совладать. И автобус тронулся, а следом за ним тронулся оркестр — на своем, отдельном, автобусе. А по прибытии в конечный пункт назначения покойниц из автобуса выгрузили и похоронили по христианскому обряду и обычаю, правда, без попа, а одна вырытая зря яма пустой осталась стоять и незанятой, и в нее сыпался мокрый снег и лился холодный дождь, вызывая оползание стенок и обрушение с них комьев сырой земли.

Потом автобус подвез процессию к кафе «Лючия», где было уже все готово и накрыто под спецобслуживание, и оркестр тоже туда приехал. И таким образом в обеде принимали участие: Привалов с семьей, мужик-сосед, две пригородные родственницы плюс оркестр в полном своем составе и три соседских старухи из пяти, так как две другие старухи являлись лежачими и ходили только на похороны в пределах своего многоквартирного дома. А всего, значит, получилось участников тринадцать человек людей, или, как говорится, чертова дюжина. И вот все они тщательно вымыли руки с мылом «Оазис» и сели за стол, рассчитанный на тридцать два лица. Привалов поставил против каждого гостя бутылку водки и по традиции сказал тост, но не за здоровье тост, а за упокой душ и тел усопших. И все дружно выпили по первой до дна и закусили первым блюдом, и налили еще по одной, и Привалов опять сказал тост в том смысле, что пуская земля им будет пухом, и вы, сказал, пейте и кушайте до отвала, только бутылки пустые не воруйте, они мне самому нужны в целости и в сохранности, чтоб получить водку под девять дней и применить ее для разных выгодных бартерных сделок. И все выпили

по второй и закусили вторым блюдом, и старухи набрали понемногу еды в принесенные с собой прозрачные пакеты — чтоб угостить тех двух невыходящих старух и самим чтобы поужинать лишний раз и позавтракать, и пошли, сытые и довольные, по домам, ну а за ними, за старухами, встали приезжие родственницы и, откланявшись, попрощались, выразив тем самым чувство глубокого соболезнования родным и близким покойных и сказав, что все было очень вкусно, но им давно пора, так как надо же еще пилить двадцать три километра на мопеде по бездорожью и дождю со снегом. И остался после их отъезда в зале забегаловки «Лючия» совсем узкий и тесный круг людей, то есть Привалов с первой и любимой своей женой Лидией, сын ихний младшего школьного возраста, мужик-сосед, инвалид второй группы, и, конечно, солисты оркестра. А еды всякой-разной осталось — есть не хочу, и водки тоже осталось — пей, хоть залейся. И стали тогда оставшиеся в кафе пить и есть, чтоб не пропало все это добро всеу, и стали вспоминать жизнь и забавные случаи из нее, и веселиться от всей возможной души и от всего сердца. И Привалов вскорости насосался, как паук, под завязку, и оркестр в лице своих солистов тоже накачался как следует и как подобает, и взял в руки инструменты, и стал в них дудеть и стучать ламбаду, а Привалов залез тогда на стол и говорит оттуда, с высоты положения:

— Танцуют, — говорит, — усе.

И мужик-сосед сгрел первую жену Привалова Лидию вместе со стулом за талию и стал с ней выплясывать танго и фокстрот с выходом, а Привалов, он тоже стал плясать с ними, но без пары под пьяные звуки духового оркестра, кружась по всему столу. И он напевал себе под нос мелодию из кинофильмов и кружился, закрыв глаза в экстазе танца, и задевал носками сапог стоящие на столе бутылки, и они летели на пол и падали, и разбивались на мелкие части, а также на более крупные куски и осколки вдребезги. И чем завершились эти так называемые поминки, для Привалова навсегда осталось загадкой и тайной за семью печатями и замками, потому что, когда он проснулся и разодрал склеившиеся веки глаз, в квартире стоял уже сизый дневной свет, и Лидия в содружестве с мужиком-соседом и с барабанщиком оркестра пили на кроватях и за столом растворимый кофейный напиток «Лето» и похмеляли себя смешными остатками вчерашней водки.

— Живой? — сказал сосед, увидев возникшего около стола Привалова и обрадовался.

А Лидия сказала:

— Ты где деньги на поминки и на все другое взял, мутило?

А Привалов сел на свободную табуретку, чтоб на ногах не стоять, и говорит Лидии:

— Да пошла ты, — говорит.

И насыпал в стакан растворимого кофейного напитка, и залил его кипятком из чайника, и размешал ложкой из нержавеющей стали, и стал пить жадными глотками, обжигая язык и зубы и глядя застывшим взглядом поверх головы барабанщика в стену своего дома.

«Что-то сына нигде не видно, — медленно думал Привалов, — наверно, в школу ушел.»

1993

Днепропетровск

Елена Фанайлова

## АМАЛЬГАМА

\* \* \*

**В**от подошла зима и ее золотые, тихие штуки.  
Каждый волен искать для себя забавы:  
Маленькие вечера, медные звуки,  
Шелковистые вздохи, медленные отравы.

Если бы люди знали судьбу свою сами,  
Они сравнились бы с остальными,  
Стали бы присматривать за сердечными весами,  
Часами песочными, клепсидрами кровяными,

Содержать в порядке странные механизмы  
На подверженной раздражению амальгаме,  
Все эти воронки, колбочки, трубочки, призмы  
Сердца, занятого своими бегами.

### Старый новый год

Свет идет. Курум в саду.  
Желтый спускается сверху.  
Замерзшее яблоко на высоте —  
Красное до сих пор.

Старые церкви светятся зимой,  
Прозрачные изнутри.  
Белые ангелы на горе  
Играют для нас хиты.

\* \* \*

Нет, не хочу я в Москву, чтобы видеть там что?  
Вот ни Красную площадь, ни Лобное место,  
Ни Василья Блаженного, ни Ивана Великого,  
Ни, тем более, Рижский вокзал.  
И ни площадь Сен-Марко, ни Ринген-штрассе,  
Ни музей Виктории и Альберта,  
Ни имперскую архитектуру, ни Александер-платц,  
Ни тебя, потому что у этой любви немецкий язык,  
Ни цепочку огней с высоты, ни звезду Марлен  
На асфальте южного города, белый шелк, ацетилен,  
Ничего романского, пышного, жизнелюбивого,  
Ничего барочного, великого.

А хочу я Петровский сквер, Первомайский сад,  
Где тусуются гомики возле белого туалета,  
Маленькую церковь, где бедные, жалкие фрески,  
Ветхий театрик, красный и золотой,  
Где три дивы поют фальшивыми голосами,  
Где заезжие авантюристы, как в девятнадцатом веке,  
Итальянские гастролеры, глотатели змей, толпа,  
Здания желтые с белым и голубые в снегу,  
Словом, нечто поправанное, лишенное величья,  
Трогательное, означающее распад, несовершенство.

И вот, не забыть о самых лучших на свете,  
О волшебниках «Парцифалья», о ледяных дудках,  
О том, как весна хотела к нам в сердце, и мы гуляем,  
И спускаемся медленно с сине-зеленой горы.

---

Елена Николаевна Фанайлова родилась в 1961 г. в Воронеже. Закончила Воронежский государственный медицинский институт, по образованию — доктор-терапевт. Стихи печатались в «Подъеме», «Мулете», «Митином журнале», в «Новой литературной газете» Гуманитарного фонда. В 1994 г. в Санкт-Петербурге под эгидой «Митина журнала» выпущена книга стихотворений Е. Фанайловой «Путешествие». Преподает в Воронежском университете. Живет в Воронеже.



\* \* \*

Уже вчера наступал ноябрь.  
 Уже вчера изменился свет.  
 Проснешься: призрак стоит у окна,  
 В жилетном кармане лежит ланцет.

Гигиенический лаконизм  
 И бедная лексика наизусть.

За окном улица, которой нет.  
 У смерти уже такой легкий вкус,

У смерти уже такой легкий слог,  
 Ее улыбка модели «Вог»,  
 Ее движения старых ревью,  
 Сухие крылья балетных ног.

\* \* \*

Жить, как улитка, хочу, в вате хочу,  
 Дряблое тело храня,  
 Будто в футляре стеклярусовом  
 Елочный шарик лежит,  
 И отстала бы жизнь от меня,  
 Трепетавшая в воздухе пламенном, ярусами.

В бархатном нежном футляре хочу засыпать,  
 Будто забытая вещь, театральная штучка,  
 Бусинка либо перчатка.  
 Буду с тобой разговаривать по ночам  
 По телефону во сне, сиять.  
 Хитрая стала, тихая, полюбила молчать,  
 Тонкостенные, хрупкие вещи в папиросной бумаге хранить,  
 охранять.

Пиромания, пиротехника, flash.  
 Испепеляющий огонь.

\* \* \*

Жутко владенье хрупкими вещами.  
 Как тут узнаешь, кто научил рисовать людей  
 Звездочки меж бровей, бабочек над хрящами  
 Надгортанников, плачущий глаз меж грудей?

Кто научил их жить, вообще, с чужими  
 Пропастями, с их ночными зверьми,  
 С этим зияньем, пеньем, беспамятством — недостижимей  
 Даже при жесте ладонями вверх: возьми,

Если не убоишься таких объятий,  
 Если тебе покажутся не страшны  
 Лица, всплывающие из амальгамы пятен,  
 Из плесневеющей, черной, серебряной глубины.

\* \* \*

Пишешь Вальмону письмо: Вальмон,  
 Жизнь, как вода, обступила со всех сторон.  
 Мы говорим с тобою, как сквозь стекло.  
 И все-таки: как ты смог?

Пишешь Вальмону: милости велики,  
 Ох, велики ко мне, сплошные дары.  
 Мы разговариваем в последний раз.  
 Мир уловляет сердце в свои силки.

Мертвы любовники, а я так почти слепа  
 После сего фейерверка, но мне и не надо знать.  
 Не пугайся, это письмо не моей рукой,  
 Но подпись будет моя.

Пишешь письмо Малковичу: дорогой,  
Корреспондирую второпях, на бегу,  
Ты, конечно, брутальный тип, довольно тупой,  
Объяснить подробнее не могу.

Довожу до Вашего сведения, господин:  
Церковь не оправдала бы наш союз,  
Дальше судьба собирается быть скупой,  
В мире нет ничего прекраснее Вас.

Пишешь Вальмону опять: мой бог,  
Как простодушна мужская любовь.  
Нам не составить счастье здесь ничье.  
И все-таки: как ты мог?

Страшная речь уже воздымает нас.  
Воздух поставлен и правит, как парус, в груди,  
Так осторожно и жутко ведет,  
Что смерти и вправду не может быть.

## Маргарита

...Ты думала, что, кинув Валентина,  
Ты сможешь невозвратное вернуть,  
Судьбу свою сумеешь обмануть?  
Ты или же глупа, или скотина.

В немецком городе, седа наполовину,  
Самоубийства избежав, забудь,  
Что ты являешься сожженной глиной.  
Ни переждать нельзя, ни повернуть.

Жизнь кажется нетленною малиной.  
Открытая давлением света грудь  
Навстречу креатурам, птицам, гадам.

Жизнь кажется непостижимым садом.  
В письме не успеваешь помянуть:  
Все движется к тебе с нездешним кладом.

\* \* \*

Как это принято меж людьми,  
Он ей сказал: Талифа куми.

И все мусульманские мосты  
Волосные между вершин  
С мужскими ангелами по плечам,  
И все иудейские пески  
С шарами манны, что там висят,  
Как бы искусственный ватный снег,  
Европа с кукольным Рождеством  
И воском, золотом, колдовством,  
И сверху пустые города,

И вся иерархия внутри,  
Все лестницы, ангельские чины  
В пределах готической любви  
В ее цветении возрастном —  
Все это ей показалось сном.

И старая, медленная душа  
Из гроба тела встает  
И льнет губами к стеклу,  
И тут увидела, что иным  
Могло бы все это стать.

\* \* \*

Как Машенька видела упыря,  
Как ангелов в Средние века,  
Как видел ребенок Лесного царя,  
Как Машенька видела жениха,  
Так я вижу теперь тебя,  
Как Франциск и Маленькая Сестра.

Как будто ты в золотой пыли,  
В дорожной одежде, в дождевике  
Теперь стоишь на моем пути  
В дверях, на улице, у окна,  
Облокотясь, на самом веру,  
И свет лежит на твоём лице.

\* \* \*

## 1

Приходит любовь, ведет, ведет,  
За руку бродит, за руку берет,  
Приходит, убьет, убьет.

В высокой крапиве лежишь, убит,  
А она ходит, бубнит, бередит,  
Откроешь глаза — пред тобой стоит.

В чистом поле летит, поет,  
В золотом воздухе что звенит?

Обнимает, прощается, говорит.  
Ходит, гудит, снует.

Возвращается, трогает, бередит,  
Плачет, склонившись, молчит.

Не ходи за мною, не жди меня,  
Не смотри на меня с той стороны,  
Чтобы нас никто на смог увидеть.

## 2

Плачет, кричит, повязки срывает, врет,  
Мечется, огорчая ночной патруль,  
Который лежал бы себе в животе с леденцами пуль,  
И ни гу-гу, ничего никому —

Ни золоту и серебру в музеях, ни голубым  
Бусикам фараоновой дочки, ее зеркалам,  
Что, сколь ни прикладывай к мертвым устам, —  
Раскальваются напополам.

Ни фосфорическим субмаринам глубин  
Рыбий их ледяной пароль,  
Ни морзянки хозяину его связной,  
Автомобиль, алкоголь.

У меня поют мертвые голоса.  
Запах Европы — холод, зола.  
Не ходи за мной, как Дерсу Узала,  
Не смотри на меня с той стороны.

\* \* \*

Кузнечики оставляют следы на часовом стекле.  
Глаз раскрывается, как цветок на длинном стебле:  
Земля укладывается в снег, вся в его золе.

Я хочу, чтоб к моей руке приравнили перо,  
Как авторучку, чтоб из груди доставали ребро,  
Чтоб во рту моем было золото, на листе — серебро.

Я выберу смерть, я дам ей имя, я поступлю хитро,  
Все останется между нами, как сказали бы Арлекин и Пьеро.  
Только ленивый и нелюбопытный не ляжет сейчас под колеса метро.

Развоплотиться; молчащий Тютчев, как Саваоф, на небесных весах,  
Паря с черным вороньим пером в волосах,  
Служить, перейти в другое, неявленное в чудесах.

Слишком плотное тело, чтобы могло пропускать свет.  
Слишком красный и теплый свет из-под опущенных век.  
Слишком большая нежность глядеть, как тлен уплывает вверх.

\* \* \*

Может, покажут еще, не бранись,  
Черных бабочек, синих стрекоз,  
Ибо стрекочет во лбу алмаз,

Бледный экран, ледяной наркоз.  
Может статься, в последний раз  
Мы не умрем всерьез.

Может статься, в мозгу нарзан  
С азбукой Морзе переплелись  
И, как вьюнок, ползут из глазниц  
Голосами тропических птиц.

Может, укрывшийся Нарцисс  
Выплывет из глубины живота,  
Из тяжелой воды взасос  
Освобождая венчик лица,

Выплывает мертвая голова  
С белым цветком в зубах.

Видимо, страсти покинут нас,  
Будучи легче птичьей кости,  
Чтобы укрыться под маской чувств,  
Не оставляя следа, берегись,  
Когда мы сядем за белый стол,  
Где златокожие боги играют в вист.

\* \* \*

В закрытом ящичке, трепеща,  
Тут мозга бабочка металась,  
Как мышь летучая, пища,  
Как бы горошина, каталась,  
Сжимаясь в шелковый комочек,  
Влипая в паутину оболочек  
Внутри коробки черепной,

Как обувной, как из картона,  
И кто здесь говорит со мной  
Внутри пещеры слуховой,  
Почти не повышая тона,  
Внутри сокровищницы ушной,  
Серебряного геликона?

\* \* \*

1

Не держи, не держи нас за тонкие нитки,  
Серебристые коконы молитвы.  
У Тебя есть грозные и крепкие сетки,  
Прозрачные трубки, капиллярные ветки  
Вечнозеленя для Твоей ловитвы,  
Стопы на поспание льва, и аспиды, и василиска,  
Опытные портные, летучие бритвы,  
Ангелы со стальными ножницами, сахарные облатки,  
У Тебя есть исступление, шизофрения и эпилептические припадки.  
Не подходи сюда близко,  
Бо сгорают сетчатка мгновенно от белого блеска.

2

Убей меня. Я не пойму,  
Зачем Ты все устроил так.  
Я никогда не полюблю  
Твою телесную тюрьму,  
Никольского собора низкий потолок.

Ты можешь строить себе скорлупу,  
И сыпать сладкую крупу,  
И ставить тяжкую стопу —  
Я не размножаюсь в плену.

Я никогда не полюблю  
Твою египетскую тьму —  
Не уклоняйся же! — Твою!  
Твой свет ужасный, нелюдской  
(Зачем так видно далеко,  
Св. Николай Морской?),  
И неизбежную войну,  
В которой Ты способен на все.

\* \* \*

*«...избегайте прямо говорить с Ним.»*  
(из сна пациента д-ра Юнга)

Вот и пристанешь к Нему: как же так,  
На людоеда  
Ты  
Похож,  
В землю Ты пальцем пихаешь тела,  
Тесно им, бедным, как рыбы, скользят,  
Плотскую чешую теряя, слизь,  
Нежных Ты, лучших, берешь себе,

Они выглядывают из оград,  
Они хихикают с небес,  
Они идут в городах, как пыль,  
Сияют среди ветвей.

Ты понаставил в мозгах зеркал,  
Вдоль позвоночника — глянцевых мин.  
В воздухе — переговорных кабин,

И отвечаешь: оборотись,  
 Прежде чем ко Мне подойти,  
 Ну-ка, во сне, как ведьма, лети,  
 Простоволосая, голяком,  
 Главай по стенам, под потолком,  
 Ширься, как башенка под платком,  
 Постигни религиозный бред.

Ты, отнимающий рвенье и страх  
 У тех, кто молится на морях,  
 У танцующих на краю ума,

У балансирующих на песках,  
 Кто, как собаки, чувствует смерть  
 И знает ее, как самих себя,  
 У тех, кто из крови и хрупких  
 костей,  
 И разве что в этом сам виноват,  
 — Я осаждаю Тебя, как французский  
 монах,  
 Находясь во власти Твоих солдат.

\* \* \*

Как пух, словно дым, словно мел в воде,  
 Как лисьи призраки в тени,  
 С раскрытой руки — воскресив-верни,  
 Нету их, где?

Дни — как шорох, их веки бледны,  
 Обморочной голубизны,  
 Как льдинки, тающие в глубине.  
 Ресницы касаются на дне.

Можно дыханье держать в горсти,  
 Можно движенье держать в узде,  
 Можно сердце, как река, нести,  
 Намывать, как мель, по колено брести  
 Золотоискателями во сне,  
 Паутинкой летящею на лице,  
 Еле слышной, как ангельские персты  
 На весу, как радуга на щек.

\* \* \*

Черным по белому, с блистающей слюной на подбородке,  
 Выбрей мне голову, подождем, подождем,  
 Как Фредерик Балсара, в фашистском кителе сверху,  
 В клоунских красных штанах, в бархате, в разных шелках.

Помнишь, во сне ты летала, как женский ангел могил,  
 Мимо земли и воды, и погибших истлевших сердца загорались,  
 Под океаном утопленники отдавали салют,  
 Как если бы ты была их капитан,

Девочка-мальчик с собакой в ногах, надгробие, Мнемозина,  
 Парковая скульптура, гермафродитка, эфеб,  
 Чудная девичья мумия с киноварным румянцем,  
 В кольцах-браслетах серебряных и золотых.

\* \* \*

Ни малейшего признака боли он не желает уже выносить,  
 Ни на экране, нигде; кто бы его осудил,  
 После всего, что случилось. Теперь  
 Это его привилегия, право, когда все позади.  
 После он видит грязный безлюдный убудочный пляж,  
 Берегом серой реки, фантики, автомобиль, двух-трех собак.  
 Зной, равнодушие. Так вот каким ты стал:  
 Каким-никаким. Равным пейзажу:  
 Не искажая его. Ничего не стремясь утолить.  
 Нечто в нем, что трудно считать мыслями или чувством, —  
 Нечто еще обращается в сторону шестидесятых,  
 Собственно, их конца, когда она родилась.  
 Фото родителей. Псевдодемократический стиль,  
 Задыхающийся, без утонченности. Вот,  
 Нежный ребенок, армянский цветок (лань? гурия?),  
 Место, куда вернуться: грудь. Конечно, узка, но ты  
 При жизни умела довольствоваться немногим.

\* \* \*

Тяжелы плоды твои, Церера,  
Темные и страшные дары.  
Кто бы удержал визионера  
На краю, излете мозговой коры?  
Хороши твои, голубка, слуги:  
Рыцари с двойными прорезями глаз,

Хитрые валькирии, безумные подруги,  
Вместо сердца — радужный алмаз.  
Но всех лучше ты, Мария Каллас,  
Своды подымавшая, легка,  
Сдвинувшая на волос и малость  
Милосердие материка.

\* \* \*

В народе царит воскресенье, гульба,  
Объяты пижонки раскроет Москва,  
У Рижского рынка поспела весна  
С какими-то семечками, шелухой.  
Смотри, здесь достаточно левых господ,  
Прикащиков и пассажиров чужих.  
Пронырливых, ласковых, будто Восток,  
Наперсточников, золоченой фарцы.

На выставку? Кофе? На Крымском Валу  
Начнем, как деревья, стоять на полу?  
Все было иным в девяностом году.

В Коломенском кости умерших церквей  
Чернеют, желтеют, на солнце лежат,  
Как будто их вырвал и грыз вурдалак,  
И брезгают ими небесные псы.

Идем в синема, дорогая брюзга,  
С плебейским его, покупным колдовством,  
С фантомными болями в области чувств,  
Дадим себя заново заморозить.  
Какие надтреснутые голоса  
По Стикса обоим звучат берегам.  
Забывший любовник заходит в кафе.  
Убийца в конце коридора стоит.

Рахманинов бьется, как птица в шелках,  
Поют балерины впотьмах,  
И сердце мое разбивается в прах.

Богемская опера, Пауль в толпе,  
И зрелища для нуворишей, медведь  
И «Русская тройка», слепые в смычках,  
Девицы в концертах, и Пауль опять,  
Мечтательный, светский, его романтизм,  
И сердце мое словно старой пилой  
Разъято на части, и мраморный лифт  
Стекланный, светящийся, медленный — прочь  
Уносит его, и дымок сигарет  
Один остается: Gitanes. Gauloises.

\* \* \*

Я полоумна. Ты остроумен.  
Мы ищем странствующий люмен  
По участкам, по больницам,  
Как сказал бы Сологуб,  
Но Бог давно сим мертвым птицам  
Не размыкает губ.  
Он пронизывает, синий,  
Дребезжа, ночной вагон.  
Вдоль высоковольтных линий  
Двигается слепой огонь.

Он качает здесь поля, селенья,  
Словно нефть и ртуть в товарняках,  
Он на кладбищах поддерживает тленье,  
Равно как сокровища в живых руках.  
Только для чего нам эта сила,  
К небу восходящая зола,  
Если нас забыла, отпустила  
Тайная механика, и праздная Сивилла  
Амальгамой книзу положила зеркала?

г.Воронеж

Ирина Полянская

## РАССКАЗЫ

### ПЕРЕХОД

Сегодня самый длинный день, 22 июня. Солнце поднялось на вершину года, и теперь, пройдя зенит, медленно склоняется к горизонту светового дня, к горизонту года, то и дело зарываясь в снежные сугробы облаков, и сверкает оттуда ликующим светом грядущей жизни, которая разлита за чертой горизонта, за пределами видимости, за чередой таких же сияющих или тихих мгlistых дней. Воображение привстает на цыпочки, тянется за этой красотой, как стая легких перистых облаков за солнцем, но ничего не может разглядеть сквозь огненную, зияющую в полнеба щель, куда оно уходит... Вдоль этой полосы, постепенно входя в область сплошных туманов, пробирается крохотный, едва видимый с земли самолет; в нем сидит триста человек, и в это трудно поверить, потому что если поднести кончик мизинца к переносице и прищуриться, то крестик самолета, мелкая буква, бесследно исчезнет, будто и не было, и если уж кончиком мизинца можно стереть с неба самолет с тремястами пассажирами, вцепившимися в подлокотники кресел, то что говорить о прочих вещах, которые так же легко снять с глаза, как соринку, что говорить о жизни невидимой, но зовущей нас с той же неодолимой силой, с какой солнце, начиная с сегодняшнего дня, станет отзывать прочь по одной светоносной секунде. На самом деле это игра зрения — что самолет маленький, — оптический обман, один из тех обманов, в результате которых разгораются даже войны; войн бы не было, если б зрение не обманывало, если б его фасеточные ячейки, как и клетки головного мозга, в своем большинстве не были бы заполнены тьмой. Наше зрение — мизерная дробь сияющего числа, огромного, как солнце, поэтому мы все видим иначе, чем оно есть в действительности... об этом я думала сегодня в полдень, отправляясь в парк, чтобы посмотреть на цветы.

Каждая летняя минута уносит по цветку и приносит по цветку, каждый знак Зодиака является со своим букетом. Водолей приносит багульник; Рыбы — фиалку и нарциссы; Овен — букетики ландышей и незабудок, тюльпаны, клубящуюся, как грозовые тучи, сирень; во время Близнецов все пригородные электрички, как безумием, охвачены одуряющим ароматом растрепанных пионов, и когда они вместе с садовой ромашкой и васильком заполняют весь город, все переходы и станции метро, на стыке двух знаков, Близнецов и Рака, являются розы. В этот момент отлетает тополиный пух, иступленно пахнет по вечерам жасмин, шиповник роняет первые лепестки, вянет сирень, желтеет пастушья сумка, на пустырях вспыхивают чистые, как выпавший снег, луговые ромашки, завязываются кисти рябин и много чего еще происходит. Те, кто рожден под этим знаком, видят пророческие сны. Световой день убывает, а цветы прибывают как наводнение; лето, разогнавшись, катится к падающим звездам Льва, к бесчисленным цветам Льва, цветущим во множестве, как в раю — гладиолусы, калы, настурции, львиный зев, флоксы, бархатцы, золотые шары, все это, как из рога изобилия, сыплется Деве, а она добавляет разных сортов георгины, лотосы, левкой цвета закатных облаков, флоксы, ирисы, и весь этот водопад разбивается в осенних астрах, которые уже растут в аллеях Весов, перетекающих в сады хризантем Скорпиона и даже Стрельца, когда на стеклах уже распускаются ледяные розы.

Всю весну, лето, осень и зиму цветы пересказывают друг другу сюжет нашей общей жизни, повествование начинается с зерна и им же завершается, одни уходят в толпе облаков за горизонт, другие приходят с толпой облаков из-за горизонта, и всем этим распоряжается солнце, слишком яркое для того, чтобы можно было увидеть того, кто стоит за ним. Кого не дает разглядеть обман зрения, игра хрустальной перспективы, при которой крохотной соринкой убирается с неба самолет с сотнями людей на борту — живых людей с помутившимся от времени зрением, с заштрихованными клетками головного мозга, с клубящимися надо лбом жаркими мыслями о том, чем они владеют, они, не владеющие даже собственным зрением, корень которого, как свидетельствует книга, захваченная мною в парк, берет начало в иных мирах. Эта странная книга в двадцатом веке была переведена на множество языков, но чем больше ее переводили, чем обширней были комментарии и точнее сноски к ней, чем усердней обвивалась она справочной литературой, тем менее понятной становилась, точно великое множество глаз, скользя по ней, стирали написанные строки, выжигая страницы добела, казалось, книга вот-вот опустеет в доказательство провозглашенной в ней истины — что корень зрения лежит в других занесенных облаками мирах. В древних текстах об этой книге написано, что тот, кто прочитает ее, тут же ослепнет, и «смерть не сможет увидеть его». Давно я мечтала об этой книге, мне бы хотелось всей душой перейти в нее, раствориться в толпе букв, в мерцании смысла, в тени древнего наречия, чтобы «мудрость ее сожгла» меня и «я» развеялось дымом.

Я раскрыла ее еще в трамвае по пути в парк, как раз на том самом месте, где Начикетас беседует со Смертью. «Существуешь ли ты, — спрашивает он, — поведай мне о переходе.» Смерть пытается уйти от ответа, Начикетас настаивает. В этом месте повествование становится совсем неразборчивым для ума, ум тут бесполезен, как если бы мы пожелали при помощи тени ножа отбиться от убийцы с ножом в руке. «Если убивающий думает, что убивает, если убитый думает, что убит, то оба они не распознают истины: он не убивает, не убиваем». Так Начикетас шептался с богом Ямой сколько-то тысячелетий тому назад, но голоса их звучат в любую минуту везде, и в этом воздухе тоже, древняя книга гудит как раковина, стоит лишь ухо приложить к корешку, услышишь топот давно угасшей погони, иных миров, где от одного корня растут в наш мир и зрение, и слух, и жажда жизни. Трамвай плыл среди живой зеленой массы тополей, и тени листы скользили по странице. Солнце в эти минуты переходило в созвездие Рака на правах простой звезды. Трамвай качало, я чувствовала вращение увитого цветами годового колеса, и от него невесомая, как трупы сухих пчел, отлетала история человечества. Ласточки мелькали высоко в небе, не замечая, что залетают в иные миры, существующие в одном с нами воздухе. Эта книга объясняла для тех, кто хотел понять, что иные миры, как ласточкины гнезда, лепятся где попало — на отвесной скале, в плывущем облаке, в люльке младенца, в шпангоуте тонущего корабля, да хоть под носом персидского бая, но только не в каких-то там голубых льдистых пространствах, и они так же прочны, как наши жилища, только гораздо прочнее.

## СНЕГ ИДЕТ ТИХО-ТИХО

Если бы Борис Данилович сам не понял, что с ним происходит, нашлись бы люди, которые дали бы ему почувствовать, что отныне он в этом мире чужой, застоявшийся в прихожей гость, которого хозяйка квартиры, напирая на него бюстом, держа в одной руке сверток с пирож-



ками, а другой отпирая дверь, оттесняет в темноту коридора, а хозяин, поджав хвост, подает плащ виноватым, скомканным движением, которое в перспективе, в душе разворачивается в то же репительное отталкивание прочь, в коридор уличных фонарей, под сонный снег, засыпающий гостя, нищего, прохожего с головой, пока он не догадается заснуть. И надо было явить теперь отталкивающему его миру если не последнюю свою гордость, то хотя бы послушание. Не протягивать же к ним руки с мольбой, потому что ничего, кроме горсти снега, не положат. Люди почтительно отступили от него, как бы очищая ему пространство для каких-то последних дел и дум. И он должен был соскользнуть по зимнему пути в полном одиночестве, точно нес в себе позорную тайну, как прокаженный. Они перестали смотреть ему в глаза; даже сосед, с которым целую вечность играли в шахматы, сделался занят.

То, что случилось, требовало глубокого, чистого и ясного одиночества, а не этой тягостной полудремы, не этой тоски гладиатора, видающего светливое мелькание лиц вокруг своей арены. Это гнилое одиночество не могло выправить мысль, послать ее к своему источнику — к сердцу, и оттуда уже рассеять сквозь джунгли других человеческих чувств, мнений, самолюбия, как утро по миру, свои лучи. Но одно открытие Борис Данилович все же сделал: он понял, что зря считал самого себя и своих знакомых интеллигентными людьми. Перед лицом наплывающего снега с него слетела бравада, исчезли обычная его болтливость, милая рассеянность. Смерти нечего было стесняться, как врача, которым он когда-то был, что уже не имело значения. Имела значение интеллигентность — умение умирать, а он умирать не умел, стеснялся заранее своего тела, которое впоследствии должно было участвовать в мерзком обряде-спектакле упрятывания его под землю, а там предстояло участвовать в отвратительном процессе растворения с землей. И чтобы совладать с этой мыслью, нужна была интеллигентность, простота, видение истины, а не мельтешение ее на какой-то странице, не тень ее в глазах какого-то человека.

Когда пришел сын и задал ему вопрос: что подарить тебе, папа, на день рождения, который будет весной, у отца не хватило интеллигентности и он сказал сыну пустым голосом: «Да ладно тебе». Ясно ведь было им обоим, что до весны ему не дотянуть. Сын отвернулся, и отец сказал мягче: «Цветы подари». Тут до него дошло, что он сказал, желая утешить сына, и в глазах его появилось затравленное выражение. Сын стал вынимать свертки с провизией из портфеля. «Что это у тебя?» — «Записную книжку себе купил, красивая вещичка», — сказал сын, рассеянно повертев книжку. «Подари-ка ее мне», — сказал отец, — я хочу записать кое-какие мысли». — «Держи», — сказал сын, и на этом они расстались. Между прочим, сын не хотел уходить, отец сам оттеснял его в глубь коридора, держал сыновий портфель в одной руке, другой уже нащупывая дверной замок, выталкивал своего мальчика на холод, под ледяные звезды. Сын шел и думал о том, что отец его в том смысле счастливый человек, что перед смертью имеет возможность о чем-то подумать, разобраться в самом себе, подышать морозным воздухом напоследок и вспомнить детство. Тогда как он, сын, все время живет как тонет, задыхаясь, хватается слабеющей рукой то за тот куст, то за этот, то за эту женщину, то за ту, то за одну работу, то за другую, чтобы хватило на алименты той женщине и на жизнь этой, так и уйдет в конце концов под воду, когда последний пузырек воздуха лопнет на поверхности реки, тогда как отец жил как человек и умирает как человек же, собирается даже обставить свою смерть с некоторой торжественностью, как семейный праздник...

Отец умер в конце февраля. В больнице, куда приехали за телом, а потом на похоронах люди почтительно отступали от сына, очищая про-

странство для сыновей скорби, которой все равно было тесно от окружающих его со всех сторон лиц, серьезных глаз и ртов, из которых клубами шел пар. Жизнь с ее бытовыми подробностями отступила от него на три дня, замерла, как удав с раскрытой пастью перед дудочкой, но из раскрытой пасти клубился теплый пар. Он знал, какие мысли сейчас роятся в головах провожавших его отца: мысли о теплом закутке ресторана, о длинном, заставленном снедью столе, в изголовье которого, прислоненный к колонне, стоит портрет улыбающегося, отмахивающегося от лица папиросный дым отца. О чем еще могли они думать, исполнившие свой долг, который, кстати сказать, не так-то легко было исполнить, потому что автобус из похоронного бюро заплутал в снегопаде и приполз на два часа позже, когда люди уже достаточно намаялись на морозе. Сын бросил в яму горсть ледяной земли, скорее снега, провожающие сделали то же самое, и экскаватор взревел, сталкивая в яму остальную землю. Люди, окружавшие сына, отступили, стараясь не расплескать до конца поминок выражение участия, и сын остался один на один со свежим холмом, который с нежностью, присущей всему действительно живому, мягко прикрыл снег. Над снегопадом стояли невидимые звезды, и ни одна не могла достигнуть теперь его сердца своим светом и наполнить его хоть на мгновение; зато то там, то здесь тусклыми огоньками вспыхивали глаза людей, и сын заозирался, точно затравленный ими. Приглушенно, как покашливание в партере, звучали голоса. И тихо-тихо шел снег. Шел, но тихо-тихо, не имея цели впереди, памяти — позади. Чего ему было шуметь, куда спешить?..

Через несколько дней, разбирая с женой вещи отца, он наткнулся на подаренную им два месяца назад отцу записную книжку. Вернее, ее вытащила из письменного стола жена, подержала почтительно и осторожно раскрыла, но сын выхватил у нее из рук книжку и спрятал в карман своего пиджака. Кое-какие вещи и книги они прихватили сразу, в ногах у него стояла упакованная посуда, он придерживал ее руками, и в то же время чувствовал кожей записную книжку, словно она излучала тепло, и думал: «Что ты понял? Ч т о ?» Она излучала тепло, как старая, проникнутая добрым содержанием вещь, он слышал тихий шелест страниц, представлял живой, мелкий почерк отца.

Дома сын заперся в ванной и достал книжку, раскрыл ее на середине. Было пусто. Он раскрыл ее ближе к началу, и ему отчего-то сделалось страшно: и эти страницы оказались чистыми. Он пролистал еще несколько страниц: пусто. И ему сделалось так жутко, точно он завис в пустоте, в небытие более полном, чем то, в котором находился отец. Он отмел прочь еще несколько занесенных снегом страниц и очутился в самом начале книжки, где на первой странице сверху была написана одна-единственная фраза: «Снег идет тихо-тихо».

---

Григорий Померанц

## Еще одна жизнь

**В** середине 80-х годов я подводил итоги своей жизни и поставил точку в «Записках гадкого утенка». Но жизнь превратила точку в запятую. Началось что-то новое. Оно втянуло, захватило, дало пережить неожиданное, а потом опять произошел перелом, и вчерашнее новое стало историей.

Когда это произошло? Не знаю. Тут две границы: в самой истории и в моем восприятии. Мое восприятие запаздывало, а мое поведение — еще больше. Граница, за которой что-то кончилось, размыта.

До августа 1991-го было ожидание чуда. Потом чудо пришло — и ушло. Мне тогда пришла в голову метафора из аскетики — о благодати, данной «туне», даром, и богооставленности. Попробую ее развить, хотя народ — не подвижник, в чем-то он противоположен подвижнику. Народ нетерпелив, и его нетерпением легко играют бесы.

Мы ждали чуда, и оно нам было дано. Дано — через нас самих, через молнию, соединившую несколько десятков тысяч молодых и старых людей. Я плакал, когда чудо завершилось, и не стыжусь своих слез. Но за внезапным проблеском следует период «усвоения благодати». Чувство присутствия Бога сменяется мраком богооставленности. Мы оставлены на нас самих в борьбе с бесами, которые яростно контратакуют, пытаются истребить и затоптать самую память о вспышке света. Сколько будет корчиться Россия — один Бог знает.

Это первая метафора. Возможна и другая. В терминах литературы произошел переход от романтики к реализму в самом широком понимании этого слова, в том числе пошлом — так, как реализм понимает Митя Карамазов, в противоположность «эфике» и всему святому. До зарезу нужны три тысячи, и больше ничего. Было стремление к невозможному, и оно явилось — на три дня. А потом наступило возможное: торжество бюрократии Российской Федерации над бюрократией СССР, молодых карьеристов над старыми.

Третья метафора (или, может быть, метонимия) — из области точных наук. Кончился период бифуркации, раздвоения закономерностей, когда вдруг случается неслыханное. Одна инерция сменилась другой, инерция гниения в устойчивых старых формах — инерцией хаоса. Хаос по своей природе изменчив, и новое может случиться каждый день, но в нем нет ничего непредвиденного. Можно, например, быстренько сколотить хунту, но она ничего не решит, и ее так же быстренько сменит новая хунта. Все это уже много раз было сыграно в Латинской Америке: рябь политической хроники, а под ней — неподвижность.

Кончился переход от застоя к хаосу. Остается жить в потоке неудач, среди рушащихся картонных домиков и копить в себе силу — превратить неудачи в удачу, в упругость закалившейся воли. Если наметить в двух словах направление, то вот оно: из царства своеволия в царство свободы. Мы привыкли к рабству — и к бунту рабов. А надо научиться свободе, научиться уверенности в своих правах и уважению к правам других. Путь вверх требует внутреннего перелома. А это дело долгое. Сейчас только начали складываться люди, которые напишут новую главу русской истории.

Я почти что ровесник Октября (чуть-чуть моложе). Много раз шутил, что мы соревнуемся, кто кого переживет. Теперь остается пережить хаос. Шансы у меня невелики (разве доживу до ста лет). Но духовно я прошел сквозь хаос так же, как раньше — сквозь советскую систему, сквозь империю и сквозь национализм,

в котором еще в 60-е годы увидел ближайшего наследника империи. Я не думаю, что конец света возможен в одной отдельно взятой стране. Если он случится, то для всех. А если нет, то опять найдутся лейтенанты, умеющие вести бой, когда справа и слева все бегут. И опять, опираясь на лейтенантов, придут маршалы. Пока мы даже не знаем, какой план лучше, потому что своеволие исполнителей рушит все планы.

То, что во мне созрело и что созревает во многих, — это очень старая истина: ни один современный вопрос не решится без успокоенного ума. Ум, захваченный страстями, сорвет любые планы, любые соглашения, любые мирные инициативы. Страстное сознание неделимости Азербайджана и исконно армянского Арцаха, Севастополя, города русской славы, и суверенитета Украины — могут сталкиваться до второго пришествия. Простой здравый смысл бессилен перед страстями. Нужен могучий покой, нужен покой, в котором было бы сказано: вложи меч свой в ножны... И тогда станет ясно, что мы, сидя в пороховом погребе, палим друг в друга, не думая о взрыве.

Нужен стихший ум и в этой тишине — расширение ума до умения созерцать разные принципы в единстве. Без этого ничего путного не выйдет.

Нет никакой разработанной теории выхода из утопии, не может быть теории неповторимой жизненной ситуации. Никто так глубоко не влез в утопию, никто так не укоренился в утопии, как советские люди. Нормальная жизнь кажется им невыносимой. Реформаторы не знают, что делать. В неустойчивой, полной неожиданностей обстановке вдруг вырастает фактор, которым все умники пренебрегали, и все рушится. Так, превосходно разработанные и успешно проведенные реформы шахиншаха сорвались из-за одного американского эротического фильма. Так, Российская империя, выдержав три года войны, рухнула без всякого внешнего толчка. Так, на выборах 12 декабря, выскочила ЛДП.

Ничего не решив на деле, мы меняем символы. Мы меняем названия улиц, площадей, городов, республик, чтобы вернуться на почву истории. Но годы, проведенные в Утопии, — это тоже часть нашей истории. Нельзя сделать бывшее не бывшим. Это только для Бога возможно, — если Ему угодно. А у людей выходит глупо: Оборона Царицына, Сталинградская битва — но город Волгоград. Ленинградская блокада, но город Санкт-Петербург. Забыли, что «Санкт» прежде никогда почти не произносили, полистайте классиков — Петербург, петербуржец... Только мошенник Лебедев, любитель высокого штиля, говорит о Санкт-Петербурге. Переименовали площадь Ногина в Китай-город, и дикторы произносят в два слова: Китай-гóрод. Не было такого названия! Произносилось в одно слово, как Звенигород, как Москва-река. Дефис ничего не решает, орфоэпия и орфография — разные вещи. Каждый раз, делая пересадку в Китай-городе, я с отвращением слышу уродливый неологизм. Он вырос для меня в символ всех наших попыток реставрации: дворянства, купечества, казачества, монархии, господствующей церкви (в которой владык подбирали целых два комитета атеистов).

Я много думал о религии и культуре, и я убежден, что Россия и православие связаны «неслиянно и нераздельно». Нельзя отделить русскую культуру от православия, но так же невозможно отождествить их. Вспомним Льва Толстого, отлученного от церкви; Андрея Белого, Максимилиана Волошина, Михаила Чехова, искавших осовременивания религии в антропософии; вспомним великих писателей, лишенных благодати веры. Наивно думать, что это все только в прошлом. Напротив, мы живем в гораздо более открытом мире, чем сто лет тому назад; в этом мире нельзя отгородиться от христианства других толков, от кришнаизма, буддизма, бахаизма. И милиция здесь не поможет: за взятку она даст разрешение на любую проповедь...

Как-то забылось, что паралич православия, оберегаемый с помощью полиции, отбрасывал молодежь в революцию, что веховцы пытались *обновить* церковь, — что почти все наши великие мыслители, со строго церковной точки зрения, — еретики...

Православие выплыло из потока революции, как Ноев Ковчег, на котором проповедь любви перебивается воплями ненависти. И за епитрахилью соборности проглядывает «союз клерикалов с фашизмом» (беру в кавычки формулировку Александра Меня из его последнего интервью).

В давно прошедшее недавнее время, в 1982 году, я писал о гибельных последствиях любой ксенофобии, любого чуждедства для русских, которые окажутся вне России. А что окажутся — было уже тогда ясно: мир изменился, даже

африканские племена формируют национальные государства... Повторю свое заключение, оказавшееся — к несчастью! — предвиденьем: «евреи будут уезжать, а русских будут резать». И вот этой перспективы, этой связи явлений многие до сих пор не видят. Нет понимания, что разжигать ксенофобию — значит зажигать свой собственный дом.

Идея о том, что все это неважно, вторично, что экономика первична и все наладится, если на прилавках снова будет дешевая колбаса, — ложная. В Ольстере колбасы хватает. Политику творят страсти, которые не сводятся к голоду. И даже экономику творит ум, а не брюхо. Без новых (обновленных) людей не будет новой (обновленной) экономики. Но обновление душ начинается в тишине, где-то очень далеко от политической и экономической авансцены.

Полной симметрии в истории нет. Нельзя сегодня выключиться из политики так, как я выключался из нее в 70-е годы. И все-таки мне хочется вспомнить старое.

Где-то в записных книжках конца 60-х — или, скорее, начала 70-х годов — есть запись; я помню ее смысл: движение протеста вытягивало меня наружу; теперь оно подавлено; остается шагнуть вглубь. Я не Дон Кихот, скорее, — Гамлет. Я могу и должен иногда пустить в ход шпагу, но не это главное мое дело. И внешний застой этому главному не мешает. В 70-е годы я приоткрыл для себя измерение молитвы. Я лучше понял иконы, написанные на доске, и словесные иконы, догматы. Я вдумался в роль ереси, как ступени к новой догме, и в общий смысл слов, найденных византийцами для одного особого случая («единосущность», «равночестность», «неслиянность и нераздельность»). Я увидел в этих словах начало логики нерасчлененного единства... Наконец, я понял, что свобода — очень гибкая вещь, и в разных случаях она оборачивается почти противоположным смыслом. В аду свобода — возможность выбора, возможность выбраться из ада. В раю — возможность отказа от выбора, возможность бесконечной любви. Я не бывал в небесном раю, я знал только рай любви, но этого достаточно для понимания разных ликов свободы. Я увидел ошибку людей, для которых отсутствие внешней свободы (свободы выбора) становится невыносимым рабством, а приобретение внешней свободы — шагом в пустоту, потерей противника, с которым всю жизнь боролся и без которого жизнь теряет смысл.

К сожалению, и в 70-е я не смог избежать полемики, но старался вести ее, не захлебываясь, и стиль полемики стал для меня важнее предмета полемики. Мне хочется и дальше двигаться от полемики — к диалогу, в котором целое важнее отдельного мнения, в том числе — моего собственного.

Мне кажется, этот путь вглубь, глубже уровня страстей, важен не только для меня.

В 1985 году я начавшихся перемен не заметил. Газет не читал, радио не слушал, телевизор включал — посмотреть балет. Потом врзался в сознание Чернобыль. Начавшиеся либеральные монологи показались дымовой завесой, попыткой отвлечь внимание от катастрофы, которую можно описать в строго марксистских терминах: производительные силы (атомная энергия) восстали против советских производственных отношений. На фоне этого огромного события шла болтовня — без Сахарова, без возвращения диссидентов из лагерей и психушек, на фоне нескончаемой войны в Афганистане.

Участвовать в такой возне не хотелось.

Поколебал меня Саша Кауфман (будущий Александр Давыдов, издатель «Вести»). Не доказательств, он, кажется, и не доказывал ничего, просто высказал свое чувство, свою интуицию начинавшихся перемен. Он так убедительно передавал в своей прозе ауру безвременья, безличности, что я не ждал от него ничего другого, и его чувство перемены заставило меня насторожиться. Я вспомнил, как однажды, в 1960 году, яйца уже научили курицу (встреча с Аликом Гинзбургом заставила меня отказаться от подполья). Теперь снова молодой ум, не загроможденный старым опытом, что-то мог оценить вернее. Опыт не всегда раскрывает глаза. Иногда он их закрывает.

Помедлив, я решил, что начну печататься, когда вернут в Москву Сахарова. Вернули — в декабре 86-го; тут же, в начале января 87-го, сотрудница журнала «Век XX-й и мир» позвонила с предложением написать статью. Это был знак. Статья — «Риск надежды» — понравилась, но редактор, Александр Беллев, получил нахлобучку за публикацию Глеба Павловского и позвонил с просьбой

подождать, «не снимать его с работы». Я ждал, ждал — прошло несколько месяцев — и в конце концов отдал статью Сергею Григорьянцу, который тоже приглашал меня в свою полупулегалную «Гласность». Беляев обиделся; прошло года два, пока он забыл свою обиду, и в 89, 90, 91-м я много печатался у него, но это было уже после первых публикаций 88-го в «Искусстве кино». Весь 87-й я печатался только у Григорьянца. Официальные журналы и газеты с трудом забывали черный список. Даже в 1990-м редактор «Советской культуры» сказал Алексею Лемину, что имя Померанца не должно появляться в партийной печати. И вычеркнул несколько строк (изложение моей речи) в репортаже о вечере памяти Александра Меня.

Так же не просто было с первыми попытками заговорить. Записываюсь в прениях — фамилию мою не знают, перепутывают, каждый раз я среди тех, до кого не дошла очередь.

Меня захватила задача: в 70 лет начать все заново, пробиться сквозь забвение, поглотившее самиздат, начать с людьми, не читавшими никаких моих работ: ни «Нравственного облика исторической личности» или «Квадрилья», ни «Снов земли», ни опытов о Достоевском. Один раз я уже начал с нуля, в 1964-1965 годах; тогда были свои трудности, теперь — другие: либеральные общие места выкрикивались на всех углах (храбрости это не требовало), и в общем шуме мой голос терялся. Только когда волшебные слова были сотни раз сказаны вслух и сезам не открылся, публика стала ценить «нестандартность» мысли.

Термин «нестандартный» — чисто отрицательный. Нестандартно мыслят и Зиновьев, и Лимонов. Они переворачивают общие места наизнанку. А я просто смотрю на вещи иначе: с уровня целого и одновременно с разных сторон (сверху это получается). Но характеристика «нестандартная» к моей мысли прилипла, и в положениях, когда прямолинейная мысль попадала в тупик, это вызывало интерес. Кажется, особенно после статьи «Надгробное слово империи». Потом (если я правильно уловил перемену) интерес снова несколько упал. Сейчас на первом плане формирование партий, поиски партийных знамен, а нестандартное беспартийно. Я с 16 лет полюбил слова Стендаля: «Каждая партия может считать его (автора) членом партии своих врагов». У меня нет в запасе готового способа, как в короткий срок выбраться из воронки. Напротив, я убеждаю привыкнуть к неудачам, привыкнуть к хаосу, научиться действовать в разваливающемся мире, найти каждому спасителя в самом себе. Это не увлекает.

Несколько позже, чем доступ к изобретению Гутенберга, состоялось мое открытие Запада. Я нигде не служил, не состоял ни в какой организации, и приглашения на конференции не признавались действительными. Частное лицо могло выехать только по частному приглашению. А они оформлялись медленно, и я не поспевал. Так мне не удалось поехать в Лондон, в Хельсинки и в Неаполь. Потом помогли друзья из журнала «Искусство кино», и в декабре 1990-го я полетел в Висбаден. Слава Богу, не один. В «Шереметьево-2» я совершенно терялся и брел за профессором Этингером, как теленок за коровой. И только на третий день немецкие слова и грамматические формы вдруг полезли у меня на язык (я как-то физически, затылком, чувствовал это движение).

С международным языком — английским — дело шло совсем плохо. До сих пор не понимаю англичан или американцев. Понимаю, с грехом пополам, французов и итальянцев, говорящих по-английски, но не тех, для кого этот язык родной.

Сам я разговорился в 1992 году в состоянии стресса, захав вместо Ферми в Формию. Я плохо расслышал по телефону, как называется городок, где состоится коллоквиум — надеялся, что встретят и отвезут. Таня из посольства предупредила меня, что могут не встретить. Стал вспоминать название города — и заколебался. Таня никакого Форми или Ферми не знала, но как-то побывала в Формии и сказала, что ехать надо в Формию. Даже дорогу объяснила. И когда в аэропорту Леонардо да Винчи в самом деле никто меня не встретил, я храбро решил, что доберусь сам. Кое-как, напрягая свое знание английского в разговорах с прохожими, знавшими по-английски несколько слов, с двумя пересадками добрался до Формии. Лил дождь. Хотелось спать. По-московски было около двух часов ночи. Я упросил железнодорожную полицию позвонить в пару мест — никто там, естественно, ничего не знал. Пришлось в привокзальном отеле снять комнату на ночь — слава богу, дешевую (лир у меня было мало).

Утром пошел пешком искать мэрию (авось, там знают), но как назвать

мэрию — ни по-итальянски, ни по-английски не знал, и ничего не нашел. В полиции мне предлагали заполнить по-английски листок о похищенных вещах. Такие бланки у них были. Словарь полицейских сводился к профессиональным терминам: чемодан, сумка, кража. Названия коллоквиума — «Корни будущего» — они не понимали. В конце концов, один из полицейских посоветовал обратиться в бюро по обслуживанию туристов. Там говорили по-английски. Я обрадовался, словно домой попал. Сотрудники бюро приняли во мне живейшее участие, обзвонили все, что можно, в Формии, а потом, по моей просьбе, дозволились до министерства в Риме. Скоро сказка сказывается, но синьор уже изнемогал, я отчаялся, на него глядя, и попросил бросить поиски, не судьба, вернусь на оставшиеся лиры в Рим, билет обратный есть; пошел назад в гостиницу — тут подбегает синьора из бюро в черной блестящей автомашине, сияя черными блестящими глазами, и из ада я попал в рай... Связь с коллоквиумом установлена, велено ехать в Ферми на такси. В Ферми были счастливы, что пропавший русский профессор нашелся. Девушка, поехавшая меня встречать, запуталась ночью в горах, опоздала часа на два и вернулась ни с чем. На радостях, что я нашелся, администрация не поспешила. Мчусь на такси назад, в Рим, на кольцевую дорогу. Через два часа приехали, остановились около телефона. Кольцевая вся уставлена площадками для телефонной связи. Сижу, любуюсь цветами (в Италии все уже цвело). Через 20 минут подъехала служебная машина из министерства культурных ценностей, еду дальше через горы. Началась гроза. Снежные горы, потоки ливня, объезды, машина по оси в воде... Красота неопишная. И все-таки я поспел — к шести вечера — и прочел в отрывках свой доклад. Даже выступил в прениях (переводили Витторио и Клара Страда). А наутро, по совету Клары, я избрал самостоятельный маршрут с остановкой во Флоренции и ночевкой в Риме. Я больше не боялся ездить в одиночестве.

До Болоньи ехал в машине, увозившей домой профессора Гадамера. Сперва ехали молча, но у поворота на Равенну из моей памяти вырвались стихи Блока. Я стал читать вслух с переводом на немецкий. Завязался разговор о переводах Блока, переводах Рильке на русский, Лермонтова на немецкий (Рильке очень хорошо перевел «Выхожу один я на дорогу»). Мы разговорились. Гадамер пересказал слова своего учителя, Хайдеггера, что ближайшее столетие — роковое: или дух Европы переменится, или все погибнет. Приехав в Москву, я достал одну из книг Гадамера, изданную по-русски, и продолжил мысленный разговор с ним и его учителем...

На разных конференциях я встречал и европейский ум, и европейское самодовольство, и европейское выпендривание; глубинное попадалось редко, но вряд ли реже, чем у нас. Поверхностное мнение о поверхностном западном интеллектуализме явно опровергалось даже отрывочным опытом моих встреч. На Западе есть своя духовность, не исчезла она, и я слышал ее и в разговоре с Гадамером, и в музыке Пьера Булеза, и в фильме «Все утра мира», на концертах в барселонских храмах. В тишине продолжается духовный поиск, параллельный русскому. Мне кажется, ему не хватает того же, что и русской философии: выхода за рамки средиземноморской культуры (во всех ее вариантах), диалога с Востоком. Мне кажется, что в одиночестве и латинский мир, и византийский не найдут достаточных духовных ресурсов для выхода из кризиса. Мне кажется, что усложненность языка немецкой глубинной философии связана не только с особенностями немецкого языка, но и с необходимостью докапываться в поисках целостного до очень архаических пластов досократовской Греции, тогда как в Индии и на Дальнем Востоке это сегодняшней день, очень разнообразно и иногда довольно просто высказанный. И та же ограниченность у русских философов. Даже Соловьев не понимал буддийских текстов. А по-моему, они ничуть не сложнее византийского богословия, и в мои святцы входят схимонах Силуан и Мартин Бубер, Кришнамурти и Ауробиндо, Томас Мертон и Д.Т.Судзуки...

Говорят, что мои ссылки на восточных авторов мешают русским читателям. По-моему, им мешает невежество. У Ауробиндо есть замечательная статья о Гераклите, Судзуки интересно писал о Мейстере Экхарте, а в христианском мире Восток считается специальностью востоковедов. Последнее время появилась правда, мода на Восток. Но глубокий духовный поиск обычно чересчур привязан к своему колодцу вглубь, и редко кто понимает, что другие колодцы так же глубоки.

Помимо невежества, мешает еще страх, страх свободного духовного полета, боязнь отступить хоть на шаг от канонов, страх соблазниться «Чайкой по имени

Джонатан Ливингстон», «Прогулками с Пушкиным» и пушкинским гимном чуме. Этим страхом соблазна пропитана вся тонкая, умная статья Валентина Семеновича Непомнящего в «Новом мире» (№6, 1993). После всех соблазнов, пережитых Россией, страшно доверять своей интуиции, хочется держаться за твердые знаки Добра. Думаю, что Валентин Непомнящий идеально выразил страх свободы, охвативший освобожденную русскую мысль, идеально в самом полном смысле: благородно, сдержанно в полемику, без всплеск злобы. Агорафобия, страх перед безграничным духовным пространством часто переходит в злобу и чуждость.

Вот этого страха открытого пространства в Европе все-таки меньше, чем в сегодняшней России. Мы не привыкли к свободе, смешиваем свободу со своеволием и боимся демонов своеволия. Европейцы грешат скорее противоположным. Они слишком беспечны. Но уважение к личности, к ее выбору, меня трогало.

В Висбадене поразила сцена в универмаге. Народу довольно много, дешевая распродажа, а посреди толпы на полу играют двое крошек лет пяти-семи. Им решительно никто не делает замечаний. Взрослые вежливо обходят играющих детей, взрослые уважают право ребенка быть самим собой. Закон и обычай уважают личность, и личность уважает закон.

Я обратил внимание, что богатство страны довольно точно связано с уровнем дисциплины на улицах. В Швейцарии мотоциклисты в каких-то особых шлемах, напоминающих скафандры космонавтов. В Неаполе — никаких шлемов. Мотоциклы шныряют в потоке автомашин, пешеходы жестами показывают, что им надо перейти дорогу, и сами для себя регулируют движение. По контрасту можно вспомнить молодого социал-демократа, сопровождавшего нас в Висбадене, — мы были там гостями социал-демократов; он искренне огорчился, заметив человека, перешедшего улицу на красный свет. «Как это непедагогично, — сказал он, — при детях!» Итальянец, испанец не возмутились бы. Зато и живут беднее.

Европа очень разная. В богатых странах свобода, закон, дисциплина — синонимы. Разрешается масса вещей, которые у нас были под запретом, но если запрет, то запрет. В бедных странах свободу понимают иначе — ближе к русской воле. В этом есть свои прелести. В Швейцарии мне было бы, наверное, неудобно.

Европа очень разная. У нас почему-то смешивают Запад с Америкой. Но Америка — это совершенно особый случай. Я там не был, встречался только с американцами, приехавшими в Москву, и еще с двумя американскими офицерами, стажерами в Вальдброле. По моему впечатлению, американцы хуже нас понимают. Лучше других понимают немцы: у них был опыт вроде нашего. На восточноевропейском семинаре Франкфуртского университета одна из участниц спросила, не думаю ли я, что одна из причин живучести коммунистической идеологии в России — видимое благородство ее целей, тогда как немцам легче было освободиться от нацизма с его откровенной ставкой на грубую силу? Я поблагодарил ее за хороший вопрос. В нем было понимание силы исторической иллюзии. Вопрос американца был самый глупый: когда мы, то есть А.П.Злобин и я, — вышли из компартии? Это было в Вальдброле, в офицерском клубе, когда протокольный лед совершенно растаял.

Помню искреннее недоумение лейтенанта из Вальдброля, посмотревшего по телевидению демонстрацию коричневых в Москве — откуда эта дикая ненависть к иноплеменным у молодых людей, никогда не переживших войны? У таких же молодых, как он? Мы касались самых больших вопросов нашей общей истории, и я видел, что за несколько десятков лет, при хорошем правительстве, многое можно сделать... Не все, но многое. Другие школьники в Висбадене, другие офицеры в Вальдброле.

Кажется, нам менее сочувствуют там, где своего Гитлера, Муссолини, Франко не было. Нам легче сойтись с теми, которые грешили — и покались, чем с пуританами. И место наше в Европе. Где в каждой стране — свои древние корни, и вместе с тем — есть общий, европейский дух. Оставляющий бесконечно много места для неповторимо испанского и французского, немецкого и английского, итальянского и греческого. Там и для русского есть место.

Я не идеализирую ни Запада, ни Востока, ни России. Я всюду вижу толпы, бесконечно далекие от «своей», «собственной», «национальной» глубины. Я думаю, что всюду непросто сохранить глубину и подлинность в море поверхностных и пошлых страстей... И я ищущу сближения тех, кто живет на глубине — какая бы она ни была...



Впрочем, во Флоренции и толпа показалась мне одухотворенной. Не знаю, было ли это независимо от моего чувства или окрашено оглушенностью и подхваченностью красотой. Меня захватывает красота камня, а во Флоренции ее столько, что достало бы удвоить число педервов по всей России. Концентрация красоты на этих узеньких улочках приводила меня в состояние легкого экстаза. И мне казалось, что толпа захвачена тем же. Дважды я заходил в одну из церквей и сидел там по часу, а толпы, стихая, переступив церковный порог, проходили мимо. Вот стайка девушек в лосинах остановилась в одном из приделов и вдруг, встав на колени, помолилась. Потом вспорхнули — и дальше, на улицы, на солнце. Меня захватывала эта открытость церкви, это отсутствие незримой черты, отделяющей суровую веру от мирской легкомысленной радости. В церкви ничто не принуждало молиться, мне просто хотелось молиться, и я молился. Это впечатление потом вспоминалось в Барселоне, на бесплатных концертах, которые устраивались в тамошних церквах, и на богослужениях, где звучал тот же орган.

Но вернусь назад, к этому утру в Формии, когда я был близок к отчаянью, и к поездке поперек цветущей Италии. Сидя в такси, я подумал, что история Советской России немного напоминает мою поездку в Формию. С огромным напряжением всех сил добрался до намеченного пункта — и вдруг оказалось, что это совсем не тот город. Понадобился еще больший стресс, чтобы выбраться из него. Человек, спасаясь от пумы, поставил незарегистрированный мировой рекорд и перескочил через пропасть. Нужен стресс — и вера в возможность выхода.

Я думаю, что основная проблема нашей страны — второе дыхание. Второе дыхание в обстановке экономического и политического хаоса. Со второго дыхания рождается та сила, которой берется царствие, и появляется новый духовный облик:

Господи! Душа сбывлась,  
Умысел твой самый тайный.

М. Ц в е т а е в а

Моя жизнь прошла при очень плохом политическом и экономическом устройстве, я тянул лямку, как рядовой советский служащий, и урывками писал что-то свое, — но я был счастлив. Обителью счастья стала та самая семиметровая комната, между кухней и уборной коммунальной квартиры, где я был несчастен накануне ареста. Счастье — не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и чтобы оно открылось, нужно было все прошлое, все неудачи, в которых сбывалась душа.

Что же теперь оказалось нужным? Опыт неудач. Опыт жизни без всякого внешнего успеха. Опыт жизни без почвы под ногами, без социальной, национальной, церковной опоры. Сейчас вся Россия живет так, как я жил десятки лет: во внешней заброшенности, во внешнем ничтожестве, вися в воздухе...

Я убежден, что один из путей к будущему России — именно в способности найти внутреннюю опору. Мы живем в апокалиптическое время. Все внешнее ненадежно, рассыпается на куски. «Почва», о которой так много говорят, — только внутри, и она складывается в неудачах. Повиснув в воздухе, вдруг чувствуешь, что есть какой-то ток, поддерживающий крылья. И пусть кругом все рушится — эту опору никто не отнимет.

Я ничего не рассчитываю доказать. Доказать можно только человеку, который согласен быть убежденным. Но я надеюсь захватить кого-нибудь. Сейчас многие заражают отчаяньем. Я пытаюсь идти наперекор этому потоку.

Я убежден, что вся советская национальная политика, начиная с Сумгаита, была нагромождением ошибок и преступлений. Кажется, и в других государственных делах хватало нелепостей. Однако выход из коммунистической тирании мог быть еще более страшным. Свобода слова, конец холодной войны, освобождение Восточной Европы дали дорого, — но бесполезно заниматься историей упущенных возможностей. Могло быть то и се, есть то, что есть. Надо выходить из невыносимого положения, которое сложилось сегодня. А это немисливо без перестройки личности. Только приняв свои неудачи и научившись жить в потоке неудач, можно из него выйти...

Эссе «Неудачи» возникло у меня как письмо молодой женщине, вставшей в отчаянье. Я был убежден, что за безнадежностью, в которую она погрузилась, придут новые силы и новая надежда, и пытался ускорить этот поворот... Но что

говорить, что писать моим сверстникам? Я все время учился и чему-то выучился. А они бросили учиться после седьмого класса, после десятого класса, после университета, после выхода на пенсию, — кто как. И у них нет сил начать новую жизнь. Ни духовных сил, ни интеллектуальных запасов, ни просто физических сил (в семьдесят, восемьдесят лет).

Я каждый день начинаю жизнь заново. Сказано ведь: довлеет дневи злоба его, и сегодня — уже не вчера. Но временами я вдруг чувствую себя одним из них, из этих беспомощных стариков и старух. Физически я ведь такой же, как они, я только душой не соглашаюсь со своим телом. Но иногда (и не так уж редко) я бываю, как все.

Павловскую реформу я встретил, как деревенская бабка. Накануне получил гонорар — 800 руб. — сторублевыми бумажками. На рынке такие купюры три недели не брали. Пришлось ездить, хлопотать... Ночью я плохо спал. Не потому, что боялся потерять деньги. Не такие уж большие. Неприятно было остаться в дураках — но опять не настолько, чтобы потерять сон. Тут другое: выплыло старое воспоминание. В 1947 году, во время тогдашней реформы, я ждал удара со всех сторон. Меня исключили из партии за антипартийные высказывания, я нигде не мог устроиться на работу, и весь мир был против меня. Почему-то я вообразил, что реформа непременно должна ударить по мне лично, по таким, как я. Я снял деньги — последние военные сбережения, полторы тысячи — со своей (отмеченной печатью рока) сберкнижки (где что-то уцелело бы) и послал по почте маме... Через некоторое время я получил обратно от мамы 150 рублей. И вот я живо вспомнил все свои тогдашние годы...

Утром поехал к машинистке и увидел в окошко автобуса очереди стариков и старух около сберкасс (еще не открывавших свои двери). И памятью 1947 года, всплывавшей ночью, я почувствовал себя заодно с этими стариками и старухами, и охватило пронзительное чувство боли — за всех ограбленных, за всех беспомощных. Как-то даже не за них, а вместе с ними, заодно с ними. Это не длилось долго, но приходило много раз и потом, может быть, не так остро, но приходило и приходит. Что мне сказать моим сверстникам?

Я оказался в выигрыше. Мне дали свободу слова, возможность говорить вслух о том, что я думаю, и это для меня важнее колбасы. Больше того. Даже на бытовом уровне мне удобнее купить поменьше, но без очереди, чем стоять в очередях за дефицитом. А старики и старухи, которых я встречаю в булочной или в сберкассе, думают иначе, и по-своему они правы. Им ничего не дало освобождение Европы от страха. Им не нужны наши статьи и эссе. Им нужна пенсия в твердых рублях.

Я несколько раз писал о своем двойном чувстве. Свобода слова — драгоценный дар, и я от него ни за что не откажусь. Но он ни к чему десяткам миллионов людей. Их равнодушные к свободе — одна из причин того, что свобода так поздно пришла. Их бессмысленное терпенье позволило откладывать и откладывать реформы до дня, когда все попросту развалилось. Но вина эта — без ведения своей вины. Почему развитие должно идти через миллионы разбитых маленьких жизней? Ради чего им страдать? Ради будущего? Но оно не гарантировано. И не доживут. Ради непонятной связи между свободой духа и свободой торговать сникерсами? На которые только облизываются их внуки?

Чувство болезненной сопричастности с жертвами поражало меня несколько раз. Оно не всегда соответствовало масштабам катастрофы. А может быть, и соответствовало, но масштаб здесь какой-то необычайный. Сумгаит я пережил острее, чем Чернобыль. Я объяснял это тем, что против аварий есть техника безопасности, надо только ее строго соблюдать, а против взрывов погромных страстей и в Америке нет средств. Сумгаит открыл ящик Пандоры. Власти не сумели закрыть его, власти благословили азербайджанскую мафию, ответившую на демонстрации армян резней. Вместо того чтобы признать резню всесоюзной катастрофой, объявить трехдневный траур, а погромщиков судить военно-полевым судом. И началось сползание ко «Дню открытых убийств».

Я никогда не мог спокойно читать о резне, даже очень далеко — в Нигерии или Бенгалии. Я сразу начинал чувствовать торговцев племени ибо или восточных бенгальцев своими родными. Откуда это? Может быть, от десятков поколений предков, живших в страхе погрома. А может быть, это личное и совершенно не связанное с генами. Личность всегда в меньшинстве против толпы. Спокойный ум и открытое сердце всегда вместе с незащитным меньшинством. В Германии, в 1945 году, я непосредственно, без рассуждений, стал себя чувствовать

заодно с жертвами насилия, а не с солдатами и офицерами, справлявшими свой варварский праздник победы. Как только распалась империя, я почувствовал своим русскоязычное население вне России. Меня доводили до порога отчаянья правительственные решения, рассчитанные на один ход, без всякого понимания завтрашних и послезавтрашних последствий. Много раз я терял от них сон. И после одной передовицы «Правды» (не более подлой, чем многие другие), опять не сумев заснуть, я начал писать «Красную книгу народов»:

«Я не армянин и не азербайджанец. Но я чувствую как свой собственный позор, что наше государство, такое сильное (даже слишком), не смогло предотвратить резню и что мои сограждане азербайджанцы резали моих сограждан армян; а центральная пресса упорно ставит тех, кого режут, и тех, кто режет, на один уровень; даже с предпочтением ко вторым, — потому что те, кого резали, добивались изменений, а государство, на сегодняшний день, склонно тормозить перестройку национально-территориальных отношений. Я думаю, что это ошибка, способная все погубить: нельзя стоять сразу на двух эскалаторах, одном движущемся и другом — неподвижном...»

Мое чувство боли оказалось верным: надо было сразу поставить вне закона возвращение к племенным войнам и погромам. Чего бы это ни стоило. А грошовой политической расчет кончился провалом. Победило — «наших бьют!» И давай лупить в ответ.

Политика, оторвавшаяся от живого чувства, и чувство, вырвавшееся из-под контроля высшего разума, состязаются в безумии. Я сравнивал мнимую государственную мудрость с действиями Сахарова, иногда казавшимися наивными, и все больше понимал их смысл.

Когда я читал воспоминания Сахарова, каждая его голодовка казалась совершенно естественной и неизбежной. Но ведь в прошлом я сомневался, правильно ли академику Сахарову рисковать жизнью, чтобы молодая женщина по имени Лиза соединилась со своим возлюбленным. И для меня, и для тысяч других Сахаров стал чем-то вроде Вердена, позиции в политической войне, а живой человек просто не мог иначе, когда Лиза попыталась покончить с собой и он, мужчина, почувствовал, что за него убивают женщину. Неповторимость Сахарова все больше вырисовывается в том, что он, со всем своим мировым значением, непосредственно откликался на боль отдельного человека; просто не думал в этот миг о политическом расчете, и вот политически невыгодное оказалось «самой выгодной выгодой», как сказал бы Достоевский. Люди увидели на политической авансцене человека и этому человеку поверили. Люди были правы. У Сахарова были неудачи (попытка посредничать на Кавказе), были ошибки (призыв к забастовке, повисший в воздухе). Но его ум всегда проходил сквозь сердце, и я доверял этому сердечному уму и готов был ошибиться вместе с Сахаровым. Ошибаться свойственно человеку, ничего страшного в ошибках нет, страшно другое: когда принципы становятся шорами на глазах.

Политики действуют по плану, и план, линия (политическая линия), логика (политическая логика) уводят их от непосредственного чувства боли, даже самой благородной боли, толкнувшей в политику, иногда до поворота на 180 градусов. Так ведь и в истории было — в той самой, из которой мы по сей день не выпутаемся. Началось с порыва чувства, сочувствия, возмущения — у декабристов, у Герцена, у Огарева, у Чернышевского: «Не может человек, заживо похороненный, не биться о крышку гроба», — так он писал в «Прологе». Бились головой, разбивали головы — и вдруг решили поумнеть и заняться революцией как делом. И сразу же появились бизнесмены, революционные мистеры Домби, не спрашивавшие поминутно свое сердце, стоит ли гармония детских слез, а очень спокойно палившие «по площадям», по целым классам — и захватили, и удержали власть. Но цель, ради которой все это делалось, была потеряна. Чувство боли от чужого страдания притупилось (от чужого, *не нашего* — это мне хочется подчеркнуть), уступило место генеральскому равнодушию к потерям (Ленин), а потом — к прямой радости от чужих мук (Сталин). И я боюсь, что Россия на новом витке может что-то повторить. Ну, до сталинского нам еще далеко, но увлеченность Базарова, режущего лягушек, — это у нас уже есть. А ведь Ленин начался с этого самого.

Чего стоит наша законность, если она даже не попыталась распутать нити заговора, жертвой которого стал Александр Мень? Боялись затронуть каких-то священных коров. И опять — «здороваемся с полицаем, раскланиваемся с подлеками». Логика Горбачева после Сумгаита.

Девятого сентября я почувствовал, что меня самого ударили по лбу. Почему-то именно по лбу. Я не знал, куда действительно нанесен был удар. Впрочем, и стигматы бывают не там, где вбивают гвозди, а по картинам, без знания анатомии казни.

Я убежден, что убийство было тщательно обдумано. В Москве, столице СССР, неприлично допустить погром. Другое дело — террор. Тут не придерешься. Террор есть во всех странах. И силы, которые благословили резню в Сумгаите, нашли другое средство. Если бы я стал таким любимцем телевидения, как Мень, — добрались бы до меня.

Познакомился я с Аликом лет 25 тому назад. Несмотря на молодость, это был сложившийся мыслитель, с собственным опытом духовной глубины. Он поразил меня и мою жену, Зинаиду Миркину, редким сочетанием веры и свободомыслия: веры в суть откровения и свободы в толковании его символов. Мы проговорили часов пять, почти во всем перекликаясь, без спора. И потом при встречах продолжалась эта перекличка. Каждый шел по своей дороге, но с уважением и пониманием другого пути. Сейчас, когда смерть подвела всему итог и как бы собрала оборванную жизнь воедино, чувство близости становится особенно острым, почти невыносимым.

После смерти Сахарова ни одно событие так не потрясло меня. Убийство о.Александра — какой-то поворотный пункт. Открылся еще один шлюз, еще один — после Алма-Аты, Сумгаита, Баку, Душанбе... Поднялась еще одна голова дракона. И стало вдруг ясно, что выход из Утопии не обойдется без мучеников; так же как не обошелся без них вход в Утопию.

Сейчас под ударом не зримая церковь, а незримая община, о которой Георгий Петрович Федотов (один из любимых мыслителей Александра Менья) сказал: «Мы спрашиваем не о том, во что человек верует, а какого он духа. Под этим знаком соединились мы в борьбе за правду Нового Града». И каждый, кто остается в России, должен быть готовым ко всему.

Школа ненависти, в которой страна училась три четверти века, не прошла даром. Трудно освободиться от привычки к пятиминуткам ненависти. Легче переменить образ врага. И внутри христианства сталкиваются религия любви и воинственное национальное язычество, сделавшее своим символом Георгия Победоносца: не как мученика, а как змеборца (языческий сюжет, вошедший в христианское житие). Очередной раз происходит то же самое: Раскольники бегут за топор, змеборец превращается в змея.

Сейчас открыты все шлюзы и хлынуло все, что накопилось в запруде: и светлое, и темное. Гласность позволила каждому сказать, что он может. За какой-нибудь год отца Александра узнали десятки миллионов. Режиссеры телевидения, приглашая его, не сознавали, какую поистине каинову зависть и злобу они навлекали на его голову. Люди этнически замкнутой веры и откровенные фашисты были раздражены до скрежета зубового. Раздражали сами черты библейского лица, открывшегося с экрана телевизора. Всем своим обликом Александр Мень разгонял призраки, созданные черной сотней. Посыпались анонимные письма с угрозами физической расправы. Мы не знаем и, может быть, не узнаем всех, кто участвовал в убийстве. Но мы знаем тех, кто желал его смерти, кто убил о.Александра Менья в своих помышлениях.

«Когда-то евреи распяли еврея Иисуса, — писал Г.П.Федотов. — После того, скоро уже две тысячи лет, как его ученики распинают евреев. Ныне Иисус возвращается своему народу, под улюлюканье и крики язычников: «Распни его, он жид!»

Первая реакция вл.Антония Сурожского (Блюма) была самой точной: «Это изуверское убийство и наш общий позор» (слышала по радио Марина Винецкая. Цитирую подаренный мне машинописный текст, к сожалению, оставшийся неопубликованным. Я опубликовал этот фрагмент в «Независимой», в полемике с С.Лезовым).

Накануне смерти Александр Мень говорил о союзе клерикалов с русским фашизмом (думаю — и с Лубянской, курировавшей русский фашизм). Кровь Александра Менья скрепила этот союз. В августе 1991-го казалось, что новая кровь скрепит другой союз: государства и разума. Но разума не хватило, и фашизм снова поднял голову.

Я не слишком слежу за публикациями «Памяти». Но время от времени дух Сумгаита проникает до костей, как сырость. Как-то после вечера памяти Василия Гроссмана, одеваясь, один из слушателей сказал: «Пир во время чумы...» И

все-таки пир. Радость от новых ступеней свободы, открывшихся мне, радость расширения маленького кружка до общества переплетается с болью за злоупотребление свободой и за страх свободы, наперегонки бегущих к общей пропасти. Временами я вспоминаю тютчевский «Сон на море»:

Я в хаосе звуков летел, оглушен...  
Над хаосом звуков носился мой сон.  
Болезненно яркий, волшебно немой,  
Он реял легко над гремящею тьмой...

Может быть, вся поэзия, музыка, искусство, все человеческие святыни — только сон. Но в этом сне раскрывается что-то глубже мира вещей, явь, по отношению к которой вся материя — только сон духа. И сон поэзии внутри сна материи — прикосновение к глубинной яви. Что реальнее сегодня — Кальдеронова «Жизнь есть сон» или «реальная» Испания ХУП века? Нашествие вандалов или «О граде Божьем»?

В апокалиптические времена как бы разрывается занавес обыденности. Царит беспорядок, хаос. Но сквозь беспорядок, сквозь абсурд светится (для тех, у кого есть глаза) высший порядок, какими-то уголками вечность проглядывает сквозь дыры времени. Ее чувствуют поэт, художник, музыкант. Ручейки поэзии, брызнувшей из духовных встреч, из непосредственного переживания вечного, сливаются в реку: стихи Даниила Андреева и Александра Серодовникова, Зинаиды Миркиной и Вениамина Блаженного, стихи Людмилы Окназовой... Несколько лет тому назад их стихами жили только в очень узком кругу. Вдруг — за несколько лет — возникли тысячи читателей, которым именно такие стихи остро нужны.

Часто это начиналось с обращения к вере в ее канонических формах (православие, католичество). Но воцерковление не освободило от духовной тоски. Бросилось в глаза состояние церкви. Парадокс нашего времени — то, что отступников тянет назад, но церковь снова их отталкивает. Именно острая жажда веры не может удовлетвориться видимостью благочестия. Этого достаточно для моды, для смены идеологии, но не для настоящей жажды. И жажда ищет воды — там, где она есть. Такие люди не теряют Христа, но их любовь в Нем — скорее христовство, чем христианство. Иногда они продолжают ходить в церковь, иногда перестают это делать, — здесь множество оттенков, — но центр духовной жизни смещается, выходит за стены храмов. Искусство, отмеченное следом духовной встречи, становится либо дополнением церковной жизни, либо заменой ее, но так или иначе оно делается необходимым. Хочется прикоснуться к непосредственному духовному опыту, к веянию Духа, не знающего стен и канон, еще не застывшему и не позолоченному. И на эту жажду отвечает поэзия — несмотря на все перекосы личного опыта (они отчетливо мне видны у Андреева, у Блаженного), — живая, живая с головы до ног.

Другая группа откликнов — от «закоренелых атеистов», от людей, тянущихся к Богу, но не способных выговорить канонические формулы, не способных вынести богословия друзей Иова. В открытой поэтической форме веяние духа доходит до них.

Я начал с того, что больше меня коснулось, о чем я больше думал, и думал, если можно так сказать, профессионально, как исследователь литературы, но то же духовное движение запечатлело себя в музыке (у Артемова, Пярта, Шнитке), в живописи (Вейсберг, Казьмин). Встреча с Казьминым произошла несколько лет тому назад. Он пришел к нам с двумя своими картинами, завернутыми в бумагу. Зина долго не решалась просить его — развернуть их. Боялась, что не понравится (а Володя Казьмин, со своим лицом нерукотворного Спаса, понравился сразу). Но когда взглянула, то закричала (я на кухне заваривал чай): «Гриша, иди сюда!» Картины Казьмина можно назвать мандалами или абстрактными иконами. Какие-то прямые или кривые линии, луч света — но ощущение, как от иконы XIV-XV веков. И так же хорошо Володя пел. Слушал Зинины стихи, потом сидел на пол (почему-то именно так) и пел болгарские гимны. Мне не пришлось в голову написать их на кассету: Володя был моложе меня на 28 лет. Кто мог знать, что он утонет — захлебнется в море...

Когда говорят, что наше время бесплодно, что оно ничего не может сказать в свое оправдание, то большею частью меряют Львом Толстым. «Войну и мир» в наше время нельзя написать. Но Рильке тоже не написал «Войны и мира». Он был лириком. В каждую эпоху есть свои главные жанры. А стихи, близкие по

духу к «Часослову» и «Дуинским элегиям», сегодня пишутся. И находят своих читателей.

В 1959 году мы с Ирой Муравьевой задумали собрать из русской лирики — начиная с Тютчева — поэтический молитвенник. После смерти Иры я это оставил: почувствовал, что не совсем то собираю. А потом услышал стихотворение Зинаиды Миркиной «Бог кричал», и сразу стало ясно: вот то самое, что я искал. С этих пор на моих глазах возникла несобранная книга псалмов. В которую войдут стихи четырех, пяти, может быть, шести поэтов XX века, переживших разрушение духовных колодцев и заново открывших новые духовные ключи.

С осени 1992 года нам несколько раз звонили из Ногинска, — приглашали приехать. Я откладывал, потом упорство победило, и мы поехали — 4 апреля 1993-го. Ногинск оказался бывшим старым Богородском, купеческим городом, украшенным многими храмами, и с живой старообрядческой общиной. Евгений Николаевич Маслов заметил нас на вечере духовной поэзии в 1987 году и с тех пор подбирал публикации, подготовил программки. Я застал аудиторию человек в сто. Оглянул ее с тревогой: лица простые, хорошие. Старался философствовать доходчивее. По выражению глаз увидел, что напрасно боялся, люди уже подготовлены к работе мысли. А стихи принимали так, словно всю жизнь именно их ждали.

Нащ друг, писатель и режиссер Армен Зурабов, рассказывал, что примерно так принимали его фильм в городах Сибири — фильм без всякого сюжета. На фоне армянских гор читались русские переводы древних армянских стихов. Люди смотрели этот фильм по десять раз подряд; тысячами не сходились, но сотня, две сотни, для которых стоит работать, были в каждом городе.

Один из византийских святых говорил, что непрерывной молитве его научил дьявол (невыносимый страх ночного рыка и воя в пустыне, где святой спасался). Нас учит нынешний рык и вой. Радость от этой науки не может погасить боль; но и боль не может погасить радости.

Почувствовав боль, я веду себя, как раковина, в которую попала песчинка: обволакиваю ее. Обволакиваю словами. Начинаю писать, откликаться на боль, и постепенно боль сходит на нет, исчезает в ритмах слов и смыслов. Только крупинка боли остается на дне радости. Но чуть заденешь эту крупинку — и из нее разворачивается целое пространство боли, и опять надо затыкать словом бесконечно рвущуюся дыру.

От рыночной пошлости труднее отгородиться, чем от казенной. Казенную пошлость распространяли по-казенному, рыночную — с усердием (хорошо платят). И она достигает цели. Не только голые бабы. Рядовая телевизионная реклама разжигает желание купить, купить, купить. Любыми способами раздобыть денег — и купить... Мои молодые друзья жалуются, что найти время для созерцания, для молитвы — сегодня труднее, чем при Брежневе. И я сам это чувствую. Захватывает политическая суега, берет за горло нужда в деньгах.

Только очень немногие умеют зарабатывать легко, с выдумкой, со вкусом, сохраняя душевные силы, не заглушая в себе способности откликаться на духовную глубину.

Года три тому назад пришел ко мне высокий загорелый парень, вытащил из чехла гитару и спел песню на слова Зины. Непривычно, странно звучали ее стихи, пропетые ярким мужским голосом. Что-то терялось. Но что-то и возникало новое. Я рискнул познакомить Ильдуса с Зиной. Он откликнулся на ее стихи почти так же, как Володя Казьмин. Но с Володей была встреча двух художников, одинаково хрупких и беспомощных вне своего волшебного царства. Так и мы с Зиной встретились. Мы шутили, что составляем с ней бригаду «писатель и критик» (каждый по отношению к другому критик, и критик строгий), но не хватает издателя. Ильдус оказался издателем, первым из издателей со страстью к поэзии духовной встречи. Недавно он попросил Зину составить сборник «фундаментальных» стихов. Термин не совсем ясный, но, кажется, совпадающий с названием «Книга псалмов», родившимся позже, в беседе у костра с Мариной Курочкиной и Наташей Аверьяновой, нашими недавними, но очень верными друзьями.

Ильдус совсем молод, моложе всех наших друзей, и довольно резко отличается от них по своей биографии. Первым толчком, пробудившим его, была «Цитадель» Сент-Экзюпери. Книга как-то сразу вывела его на новый уровень, о котором он раньше просто не знал (его гуманитарное образование было довольно скудным). Все, что было прежде, стало неважным: голодное детство, пьяный

отец, нелепый случай, когда схватили и до полусмерти избили в милиции. Как будто все происходило во сне. Проснулся — и стал искать еще что-то, похожее. Второй книгой оказалась «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Потом чьи-то стихи в машинописи. Выяснил — Зинаиды Миркиной. Узнал адрес, приехал, загорелся желанием издавать. Мы сперва не верили в его деловые качества, но Ильдус — не человек, а факел. Энергия из него так и лучится. Особенно его захватило эссе о вере по ту сторону верований. У Ильдуса было много друзей-христиан, он пел Зинины стихи на молитвенных собраниях, но не крестился, не хотел обижать свою мать, мусульманку. «Святая святых» вместе со сборником стихов «В тишине» были изданы — к сожалению, с огромным количеством опечаток. Технику издательского дела Ильдус плохо знал. Мы стали делать оригинал-макеты в Москве. Так вышел сборник сказок «Три огня» с иллюстрациями нашего друга Наташи Аверьяновой. Готовится третья книга. Ильдус сыплет искрами не только в песнях. Тот же напор — в предприятиях. Живет скромно, деньги тратит на издания, на поддержку какого-то театра.

За последний год нашлись и другие спонсоры. У каждого из них свой характер, и я недостаточно вгляделся в них, чтобы описать. Общее только одно: отзычивость к поэзии — и практическая хватка. И еще молодость: в среднем около 35. Не наше поколение. Не расколото, как мы, на идеалистов без денег и материалистов без души. Так нашли спонсора наши лекции (большею частью мои, но иногда вместе с Зиной) на тему «Собирание себя». Я почти забыл, о чем говорил тогда, в Доме художника, записи расшифровывали медленно, с большими перерывами, — и вдруг, два года спустя, дошло до издания. Лекции уходили корнями в опыт всей нашей жизни, и хотя мы не очень долго готовились, получилось неожиданно цельно. Я надеюсь, что «Собирание себя» кому-то поможет. Может быть, больше, чем мои статьи, слишком привязанные к злобе дня.

Деловых идеалистов пока немного. Гораздо больше хапуг. Но и в прошлом не все куццы были Мамонтовы и Морозовы. Нужна крупица соли, чтобы просолить грудку мяса. Соль начала собираться.

В январе 87-го, после приглашения участвовать в «Веке XX-м», я задумался, куда идет Россия. Получилась схема трех препятствий: сопротивление номенклатуры, сопротивление народных привычек, сопротивление национальных страстей. По моей тогдашней оценке, реформа может пробиться сквозь первое препятствие, завязнет в болоте народных привычек и потерпит крушение, когда вспыхнут национальные страсти. Там, где это случилось, так и вышло. Где еще полыхнет, — не знаю. Взрывные движения — не область точных предвидений. Легче предвидеть другое: упорство привычек, сложившихся в царстве Утопии. Само изменение привычек идет вкривь и вкось, из одного уродства в другое...

Большинство политиков и журналистов чудовищно прямолинейно. Им хочется или «как в Америке», или как в *исконной* России, идущей совершенно своим, неповторимым путем. Но в Европе все нации идут своим путем — переключаясь друг с другом, учась на своих и чужих ошибках. И вместе отыскивая выход из тупика, в который вошла фаустовская цивилизация (еще не замечая этого на уровне масс). Беда не в том, что мы усваиваем чужое. Это все делают. Я всю жизнь учился у других — и оставался самим собой; даже чем больше учился, тем более был самим собой. Беда в том, что мы очень вяло усваиваем чужие добродетели и очень живо — чужие пороки.

«Шарик вертится и вертится и все время не туда». В каждой стране есть свои уродства, и почему-то легче усвоить чужое уродство, чем чужой разум. Мы усваиваем уродства, как губка — воду... Когда это кончится? Когда Россия выйдет из хаоса? Не скоро. Но противотечение хаоса есть.

Ричард Дж. Кук

## Встреча с писателями

*Хорошо известна встреча английских студентов с ленинградскими писателями в 1954 году, во время которой произошел «обмен вопросами», имевший драматические последствия. Резко (и справедливо) ответивший М.М.Зощенко снова подвергся репрессиям, в результате тяжело заболел и умер. Драматизм подчеркивается, мне кажется, тем, что этот случай никак не был «запланирован», его причина — жизнь тех лет.*

*Английский студент-медик из Ньюкасла Ричард Кук впервые приехал в Советский Союз в составе той самой студенческой группы в 1954 году. В то время это был огромный рыжебородый детина. Как и остальные студенты, он почти ничего не знал о стране. Большинство из них не знало и русского языка.*

*Поездка произвела на Ричарда неизгладимое впечатление. Он стал более или менее регулярно бывать в Москве. У него здесь появились друзья, он полюбил культуру страны, ее литературу, стал учить русский.*

*Теперь в России бывает вся семья Куков. В этом году, например, его сын-подросток ездил с друзьями даже в Якутию на охоту.*

*Сейчас Ричард Кук, высокий седой бородач, работает дантистом в селе Коттенхем недалеко от Кембриджа. У него там дом с садом и огородом. Он любит собирать грибы. Очень гостеприимную семью часто навещают гости из России.*

*Я познакомилась с Ричардом Куком через своего друга Шимона Маркиша в середине 60-х годов (сама я математик). А текст своей статьи Ричард дал мне несколько лет назад. Она была написана вскоре после той поездки и тогда же напечатана в студенческом журнале.*

Н.Введенская

Сейчас, когда я гляжу назад сквозь минувшие шесть месяцев, все представляется расплывчатым и нечетким, как в объективе плохого телескопа: главное никак не попадает в фокус, постоянно затемняясь событиями, происшедшими до и после. Чтобы воскресить в памяти величественную аристократическую гостиную, где мы встретились с писателями, требуется усилие, так как обстоятельства той встречи почти уже забыты. То же, что сохранилось, для меня теперь — драгоценный камень неопенимого опыта, не огранный и не высвеченный ярким лучом живой памяти.

Возможно, мы были слишком голодны и слишком невежественны, чтобы понять все происходившее. В конце концов, русская очередность приема пищи сама по себе достаточно сильнодействующий фактор. Чувствительный английский желудок, столкнувшись с постоянным чередованием обжорства с продолжительным голоданием, протестовал самыми разными способами, и к концу очередного длительного периода голодания мстил нам чувством довольно сильной слабости и апатии.

Именно так обстояло дело во время встречи с писателями: желудочные муки уже наступили, или, по крайней мере, подступали. Мы курили, все мы курили, сидя в этом загородном ленинградском особняке, и вместе с нами курили писатели, поэты и романисты нового мира. Вскоре встал со своего места председательствующий, обратившись к присутствующим. Встреча началась.

В действительности все началось много раньше — за месяц до того в пустынных студийных пространствах Би-Би-Си-III. М-р Эдвард Крэнкшоу, эксперт по русским вопросам; рассказывал нам, что русская литература после смерти Сталина находится в преддверии больших перемен. Происходит нечто вроде бархатной революции, не менее того. Некоторые весьма известные писатели требуют возврата к лиричности и гуманности в поэзии, возражая тем критикам, которые обличали всякое сомнение и неопределенность как проявление пессимизма и декадентства. Они стремятся к «субъективности и правде самовыражения», если использовать эти слова Эренбурга в отрыве от контекста. Они утверждают, что в прошлом слишком большое внимание уделялось проблемам строительства Волго-Донского канала и полемике вокруг дойки коров.

В результате те из нас, кто отправлялся тогда в апреле в Россию, задумались над всем этим, возможно, впервые в жизни. Некоторые не расставались с экземплярами «Лиснера» и обрели обыкновение дискутировать по проблемам «Художник и общество», «Должна ли литература быть доступной для масс?» и тому подобное. Похоже, что эта поездка пошла нам на пользу еще до своего начала.

Единственное, чего мы не сделали и что явилось причиной многих последующих затруднений — мы не прочли произведений советских писателей. Подобно тем, кто черпает свои познания о христианстве из рационалистической литературы, а представления о коммунизме — из Кестлера, мы знакомились с русской литературой с чужих слов.

Но уже первые впечатления в момент прибытия в Москву холодным весенним вечером оказались довольно сильными, и все мы жадным взглядом вперились в трущобы и хижины в окрестностях города. Затем наши взоры обратились к горизонту в желании поскорей увидеть общеизвестные ориентиры, и вскоре мы были вознаграждены видом города, о котором ныне вспоминаем со все более сентиментальным чувством.

Затем на две с половиной недели мы погрузились в некое поразительно загадочное



бытие, барахтаясь в нем, и изобилие обрушившейся на нас новой информации не давало возможности ее быстро освоить и осознать. Мы побывали в трех городах, обошли их пешком, посетив больницы, школы, университеты и много чего еще, накопили целые массивы дневниковых записей, делавшихся в короткие часы отдыха, и уделяли особое внимание таким вещам, на изучение которых не подумали бы тратить время дома. Ну а кроме всего прочего, мы дискутировали! Мы изучили все «закрытые» вопросы о Корее, Берии, Троицком и обрушивали их на наших хозяев. На что, в свою очередь, получали приглаженные и выверенные ответы. Это походило на своего рода товарный обмен — обычно, кстати, удачный обмен, ибо каждая сторона полагала, что именно она в выигрыше.

И вот когда мы готовились завершить длительное путешествие поездкой в Ленинград, наш руководитель за обедом предложил — в качестве одного из пунктов программы — встретиться с писателями. Некоторые из нас этим очень заинтересовались, и никто не был особо против. Я думаю, что нас просто уговорили на эту встречу. У руководителя нашей группы, подозреваю, был свой интерес: использовать ее для сбора важных литературных сплетен, могущих поддержать огонь в очаге «революции по Крэнкшоу». Это было бы праздником для политических журналистов. И мы отправились к писателям.

Итак, председательствующий выступал, сияя лучезарной улыбкой, которая, казалось, освещала всю гостиную. Нам были представлены примерно 15-20 писателей, и мы, в свою очередь, представились им. Затем председательствующий что-то прошептал писателю, сидевшему рядом с ним, и вдруг громко и с нажимом обратился к нам: «Мы хотели бы знать, много ли среди вас писателей?» Эффект такого неожиданного вопроса был оглушительный, и они это понимали. Воцарилась гнетущая тишина. Председательствующий пришел нам на помощь, когда мы были уже почти в полном шоке: «Мы думали, что все молодые люди сочиняют, и поэтому решили, что у нас много общего». Затем он продолжил свою речь. Мы усвоили учебно-показательную лекцию о современном положении советской литературы, о тех препятствиях, которые возникали на ее пути после революции, и том, как коммунисты со всеми трудностями успешно справились. Писатель является таким же тружеником, как и колхозник, он имеет обязанности перед обществом, он — слуга народа и активный участник борьбы за социализм.

Председательствующий явно наслаждался своей хорошо выполняемой работой, прерываясь только для того, чтобы представлять некоторых опоздавших писателей. Я даже не обратил особого внимания, когда он вдруг неожиданно заявил: «А вот и наш гигант. Позвольте представить вам товарища Михаила Зощенко».

Осведомленное меньшинство нашей группы вперило значительный взгляд в вошедшего мужчину вполне ординарного вида, с лицом напряженным и серьезным, средних лет, если судить по внешнему облику, и отнюдь не выдающегося телосложения. Он прошел, немного смущаясь и нервничая, к своим коллегам-писателям и сел, закурив. Его время еще не пришло.

Выступление председательствующего было очень продолжительным, и мы постепенно отключились, поскольку в том, что он говорил, не было ничего особо примечательного. Слова отскакивали к нам от роскошного резного потолка. За окном лед раскалывался и трещал по всему плавному течению реки, двигаясь в сторону Ладожского озера (так в тексте. — Прим.перев.). Один из членов нашей группы, художник, сделал карандашный набросок этой сцены — как мы дремали с широко открытыми глазами. Наконец наступило время для вопросов.

В нашей группе был человек, говоривший по-русски, он и вышел первым на линию огня. Он не смог приобрести произведения Достоевского в московских магазинах, более того, его просьбы были встречены с агрессивным непониманием. В новой советской литературной энциклопедии даже в индексе нет ни одного упоминания этого писателя. Почему?

Это очень серьезно, — отвечали нам. — Мы должны помочь нашему другу. Будет весьма печально, если он уедет с пустыми руками. Надо лишь учитывать, что подобные книги очень популярны и раскупаются сразу же, как поступают в магазины\*. Но тут же кто-то из сидевших позади нас заявил, что Достоевский непопулярен из-за присущего ему пессимизма. На этой курьезной ноте дискуссия перешла к вопросу о свободе издателей. Один из наших студентов спросил: может ли писатель опубликовать заведомо непопулярную книгу за свой счет? Ответы опять были неопределенно противоречивыми. Автор не должен быть вынужден сам платить — последовал ответ хором сразу в несколько голосов, — но ответ несколько не на тот вопрос, что прозвучал.

После чего последовало подробное обсуждение важности быстрого достижения писателем популярности, и постепенно нарастало странное ощущение, что мы обсуждаем вопрос, который не задавался.

Был поднят вопрос об отношении критика к публике, о том, насколько должен быть ориентирован он на вкусы массового читателя. Здесь мнение было таково: критика не

\* Так я тогда записал, а на самом деле прозвучало слово «слон», и теперь я думаю, что скорее всего имелось в виду «Слон в посудной лавке». (Позднейшее прим. автора.)

\*\* Любопытно, что и четверть века спустя нам, аспирантам и сотрудникам Института мировой литературы в Москве, предлагали отвечать то же самое на недоуменные вопросы иностранных гостей: почему в крупнейших столичных книжных магазинах нет книг русских классиков? — потому что книги эти очень популярны и расходятся тут же. После этого у гостей, при взгляде на соседние полки, заваленные доверху трудами классиков марксизма-ленинизма, естественно, возникало ясное представление о степени популярности этих книг в народе. Интересно, приходила ли простейшая логическая двухходовка в голову изобретателям подобного «ответа»? (Прим. перев.)

должна быть индивидуальным делом и не должна появляться после публикации. Широкий круг литераторов обсуждает каждую работу перед тем, как дело дойдет до печатного станка.

Затем кто-то из нас, набравшись смелости, высказал предположение, что обилие лозунгов, призывов к патриотизму и поклонению Сталину, а также настойчивая правительственная пропаганда породили бы в Англии эскапизм и тягу к легкому чтиву. Есть ли признаки чего-либо подобного в СССР?

Писатели сочли это очень забавным. В Советском Союзе есть и свой Шерлок Холмс, и свои путешественники в космическом пространстве: их понимание реализма включает в себя подобную литературу.

Таким образом, мы подошли к сути разговора. Как обстоит дело с «революцией по Крэнкшоу»? Могут ли ждановские выступления и оценки 1947 года считаться устаревшими? Председательствующий встал со своего места.

«Это верно, конечно, что писателям приходилось трудно. Это правда, что в советской действительности того времени антигуманные аспекты порой превалировали и заслоняли обычные интересы простых людей. Однако Би-Би-Си часто дает неверную информацию и иногда проявляет элементарную опрометчивость в оценках. Я читал статьи Крэнкшоу, и они мне нравятся. Но я считаю, что он слишком опрометчиво заявляет в двух из них, будто в советской политике происходят фундаментальные изменения. Никаких таких изменений нет, наша борьба еще далеко не закончена, и то, к чему призывает Эренбург, тоже служит этой борьбе, будучи направлено на улучшение качества советской литературы. То, к чему призывал Жданов, служит такому же улучшению. Главное стремление писателей — объективно отображать советскую действительность, творить для людей и служить им».

Наш студент, говоривший по-русски, заметил, что товарищи Зоценко и Анна Ахматова присутствуют здесь. Не хотят ли они рассказать о своем отношении к тогдашней критике? Он обратил внимание, что товарищ Зоценко с того времени написал очень мало.

Зоценко встал и шагнул вперед. Мы сразу почувствовали, что может произойти нечто важное. Аскетические черты его лица были искажены нервным напряжением, как у человека, находящегося в борьбе с самим собой или потерявшего точку опоры. В обстановке холодной войны всякое наблюдение переводилось в идеологическую плоскость. Поэтому я подумал, что перед нами человек, не имеющий возможности рассказать о своей беде, заботящийся о том, чтобы не совершить ошибок, так как даже для опытного журналиста порой наступает момент, когда следует просто промолчать. Зоценко стал медленно и осторожно пробираться сквозь лабиринты разрешенного языка, и мне не нужна была помощь переводчика, чтобы почувствовать, по его искренности, что ему очень хочется высказаться, пробиться сквозь готовые формулы к истине.

«Нет, я не был согласен с оценками товарища Жданова и сразу же написал об этом товарищу Сталину».

Здесь надо учитывать несколько факторов. Моя литературная деятельность началась в ранние двадцатые годы. Общество того времени было мещанским, и моя сатира была направлена против этого. Вот почему я не принял такую критику. Что же касается совести, то я не иду и никогда не шел на сделки. Я пишу, как думаю и чувствую, и если моя творческая манера изменилась, значит, можно с уверенностью сказать, что изменилось само общество. Но при всех случаях я никогда не считал, что сатира занимает высокое положение на литературной сцене. Есть много причин того, почему я не пишу сейчас сатирических вещей, хотя даже сейчас это порой необходимо. Я просто занят ныне другой работой и отдаю ей предпочтение. На сегодняшний день я не могу сказать, прав я или нет, и насколько. История покажет. Я рад предоставить мой труд советскому народу».

Тут заговорил было председательствующий, но его слова потонули в аплодисментах. Зоценко осторожно двинулся к своему месту и казался каким-то потерянным или потерявшим что-то. Затем ждановскую критику попросили прокомментировать Ахматову — грузную серебристоволосую женщину, выглядевшую совершенно по-буржуазному. «Я согласилась с ней», — услышали мы через переводчика. Краткость ее ответа была достаточной двусмысленна и давала понять, что ей хочется отделаться от нас. Во всяком случае, героем дня был Зоценко, и я думаю, что мы были слишком уставшими и чересчур несведущими в тех проблемах, которые возникали во время нашего разговора, чтобы требовать чего-либо большего, чем то замечательное зрелище, каким была его попытка искреннего выступления. Один из сидевших сзади возмутился: «Почему вы не аплодируете Ахматовой?» Некоторые из нас попытались объяснить, но поскольку мы так и не поняли, что она ответила, то все попытки свелись к общим местам и банальностям.

После всего этого встреча мирно завершилась. Киношоу, составленное из советских мультфильмов, явилось мучительным испытанием для наших изнемогавших желудков. Но все-таки вскоре мы наконец поедем и отдохнем! Я постарался сфотографировать писателей и, в частности, Зоценко, когда он уходил в одиночестве, чтобы опубликовать это потом как воспоминание о нашей знаменательной встрече. Но проявляя пленку, я обнаружил лишь расплывчатые тени. Хотелось бы сказать, что это символично, но так сказать я не могу. Ведь это воистину была не вечеринка с коктейлем.

Перевел с английского  
Карен Степанян

Сергей Чупринин

## Истеблишмент, или Что оберегает Россию от гражданской войны

**О**чевидная, хотя до сих пор пока не отрефлектированная примета именно прошедшего, одна тысяча девятьсот девяносто четвертого календарного года: в России наконец-то перестали пугать друг друга призраком гражданской войны.

Слава Богу.

Но возникает три, как минимум, тесно связанных между собою вопроса.

Первый. Зачем же раньше пугали, каждой осенью или после каждой кадровой перетряски в высших эшелонах суля Отечеству мор, глад и чуму неминуемую?

И *cui prodest?* — вот второй вопрос. Кому это было выгодно — пугать, чьи жизненные интересы и чей витальный ужас просматривались за бездумным кликушеством средств массовой информации, за безумствами политических маргиналов, за перманентной паникой в среде легко возбудимых деятелей литературы и искусства?

И, наконец, третий вопрос: так почему же все-таки она не случилась — братоубийственная, кровавая, и весь пар ушел в свистки, оставив по себе, кроме трех дней в августе и двух в октябре, воспоминание лишь о так называемой гражданской войне в литературе, — когда танки Виталия Коротича шли ромбом на бастионы Юрия Бондарева, «Наш современник» палил по «Знамени», и в гудящем, будто улей, а ныне опустелом Большом зале Центрального Дома литераторов разыгрывались потешные, то есть, иначе говоря, показательные, учебные бои между партократами и демократами, либералами и черносотенцами?

Вопросы ясны. И ответ, при всей многосложности исторической ситуации, тоже, смею предположить, может быть однозначным. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, не был развязан лишь потому, что его некому было развязывать, некому и — главное — незачем было строить в штурмовые отряды всех униженных и оскорбленных, озлобленных и жаждущих крови. Наделав бездну ошибок, Горбачев и другие «прорабы перестройки» не совершили самой главной, роковой, то есть не попытались разрушить правящий слой общества, не рискнули хотя бы и в самой малой мере ущемить его правовые и имущественные интересы.

Позволю себе напомнить.

Ведь и Октябрьская (1917 г.) смена одного общественно-политического уклада на другой переросла в гражданскую войну совсем не потому, что потерпела крах монархическая идея — в нее, как и в развитый социализм десятилетиями спустя, верили только полоумные сановники и выжившие из ума старушки. И уж тем более не потому, что в очередной раз понизился жизненный уровень основной массы народонаселения — население у нас многотерпеливо и знает, что против каждого лома есть приемы, — можно, например, подворовывать, подторговывать, подкалываливать и тем как-то перемогаться.

Так что дело не в идеях и не в народе. Гражданская война 1918-1922 годов была спровоцирована единственным — радикальной одномоментной сменой одной политической и экономической элиты на другую, введением в анкеты и в повседневную практику смертельно опасного вопроса «Чем вы занимались до семнадцатого года?», резким делением населения на гонимых «эксплуататоров» и гонящих «эксплуатируемых», репрессивными и дискриминационными мерами по отношению ко всем «бывшим» — чиновникам, профессорам, офицерам, землевладельцам, полицейским, фабрикантам, священникам, торговцам.

Они вынуждены были защищаться от большевиков с оружием в руках, обрстая, как всякое правящее, инициативное ядро, пушечным мясом, то есть добровольцами, рекрутами, людьми чести и швалью, всякого рода политической, военной и экономической пехотой.

В России 1985-1994 годов защищаться оказалось и некому и не от кого, поскольку о какой бы то ни было дискриминации — по биографическим, политическим, экономическим, национальным или религиозным мотивам — здесь и слыхом не слыхивали.

Напомню, что в России при Горбачеве никого не загнали в угол. Никого не расстреляли — как в Румынии. Никого не депортировали из страны — как Хонеккера из Германии. Никого не посадили в тюрьму — как в Польше. Никто из бывших партийных функционеров, бывших осведомителей КГБ даже не был подвергнут люстрации, унижительным проверкам — как в Чехословакии, Венгрии или Эстонии.

Его, Горбачева, принято бранить сегодня за то же, за что традиционно бранят Гамлета: за нерешительность, за половинчатость, за медлительность. И он действительно медлил, вел себя и государство сообразно схеме: «Шаг вперед, два шага назад», вызывавшей в свою пору яростную злобу еще у Владимира Ильича Ленина.

В самом-то деле.

Натравит прессу, общественное мнение на многомиллионное сословие клерков (или, по-советски говоря, на «аппарат») — и будто не заметит того, что на место каждого увольняемого чиновника являются, как минимум, двое или трое.

Шокирует интеллигенцию, заявив устами своего ближайшего соратника-идеолога Вадима Медведева, что произведения Солженицына никогда не будут напечатаны в России — и, спустя малый срок, отдаст негласное распоряжение не препятствовать появлению «Архипелага ГУЛАГ» на страницах «Нового мира».

Согласится на суровое — парламентское и прокурорское — расследование учиненных армией кровавых беспорядков в Тбилиси, Баку и Вильнюсе — и, положа материалы следственных комиссий под сукно, не только не накажет, но еще и вознаградит генералов, отличившихся в сражениях с мирными жителями.

Припугнет правящий в экономике «директорский корпус» регулярными перевыборами сверху донизу с неременной отчетностью перед трудовыми коллективами — и, выведя тем самым директоров из-под власти отраслевых министерств, санкционирует такую процедуру перевыборов, такие введет правила и инструкции, при которых заводы, фабрики, шахты, железные дороги, нефтяные месторождения, магазины, рестораны, да все что угодно, перейдут в навечную и теперь никем уже более не контролируемую собственность их администраций.

Примет серию законов о хозяйственной самостоятельности предприятий, о структурной перестройке в экономике, итогом чего неизбежно должны были бы стать и банкротства, и массовая безработица, — а сам, благодаря бесперебойной работе Гознака, снова раздаст многомиллиардные дотации и колхозам, и военно-промышленному комплексу, и шахтерам, и машиностроителям, — всем, словом, чей доблестный труд приносит государству одни лишь убытки.

Долгое время казалось, что у Горбачева правая рука не ведает того, что делает левая. Теперь-то видно, что и правая, и левая рука действовали в полном согласии. То ли осознанно, то ли повинувшись инстинкту политического самосохранения, он, как опытный гувернер, постепенно, день за днем приучал и «низы» и — главную свою заботу — «верхи» к гражданскому спокойствию, к ощущению, что не так страшен черт реформ, как его малюют в оппозиционной прессе, что и в переменившихся условиях каждый, кто хоть чуть-чуть постарается, сумеет найти комфортную экологическую нишу.

Военно-политическую академию, десятилетиями готовившую политруков и замполитов, не расформируют, а всего только переименуют в Гуманитарную — для того, чтобы она с прежним успехом, по прежним лекалам готовила теперь уже заместителей командующих по работе с личным составом. Профессоров, истязавших студентов лекциями по истории КПСС, не отправят на заслуженный отдых, а поручат им преподавать дисциплину под диковинным названием «Социально-политическая история двадцатого века», которую приунывшие студюозусы тут же лихо окрестят «СПИДом». Отраслевые министерства, не покидая своих прежних офисов и даже не меняя штатных расписаний, перевоплотятся в концерны или в консорциумы, а классические сталинские колхозы объявят себя либо акционерными обществами, либо товариществами, и славно, ей-богу, очень,

ей-богу, по-демократически зазвучит — акционерное общество закрытого типа «Путь к Коммунизму» или товарищество с ограниченной ответственностью имени Чапаева...

Какая же это революция? И кто же, скажите на милость, кроме, может быть, перепаниковавших ГКЧПистов или взалкавших безраздельной власти рудкистов-хасбулатовцев, будет воевать с властью, ведущей себя столь миролюбиво? Оглядитесь.

Те, кто в России до Горбачева, а потом и до Ельцина были богаты и могущественны, сохранили и богатство, и влияние. Те, кто бедствовал, либо поправили свои дела, разбогатели, либо так и пребывают подле черты бедности. Одним словом, и волки остались сыты, и овцы остались целы. Что, вне всякого сомнения, резко затормозило ход социально-экономических преобразований в стране. Но что, вполне вероятно, действительно спасло Россию от большой крови, ибо годы осторожных, паллиативных, буксующих на месте реформ явились еще и годами исторической паузы, наверное, необходимой для того, чтобы правящий слой уверился в своей безнаказанности и защищенности, а слабые мира сего смогли осмотреться, выпустить вхолостую пар социального негодования, адаптироваться к новым лозунгам и новым возможностям.

Любой по-большевистски отчаянный шаг, любое резкое движение в сторону перераспределения власти и богатства могли привести к взрыву. Вот поэтому правящий слой и предостерегал на протяжении всех этих лет свою верхушку: поберегись, чуть что, все, как один, уйдем в Дубровские, вмиг развяжем гражданскую войну. Недаром же вскоре после ельцинской обороны Белого дома в августе 1991 года или после ельцинского штурма Белого дома в октябре 1993 года по прессе, по митингам, по элитным тусовкам прокатывался панический слухок: воцарится, мол, диктатура, начнутся, мол, притеснения противников царя Бориса, охота на ведьм, запреты на профессии и прочее, и прочее. Но люди серьезные, успевшие разобраться, что к чему, этим слухам уже не верили, так как знали, что и Ельцин, при всем своем взрывном характере, на самом деле ничуть не менее миролюбив и травояден, чем его предшественник на посту правителя великой державы.

Перед нами, разумеется, не близнецы-братья. Отнюдь. Горбачев — во всяком случае, внешне — женственен, оглядчив, склонен к красивой фразе. Он ввел, правда, как-то танки в центр Москвы, чтобы блокировать действия проельцинского (в ту пору) парламента, но так и не решился отдать боевой приказ. Ельцин же, напротив, внешне до неприличия брутален, склонен не столько к фразам, сколько к эффектным поступкам. Его танки — в отличие от горбачевских или ГКЧПистских — не блуждали бессмысленно по Москве, шокируя обывателей и зарубежных журналистов, а били по зданию российского парламента прямой наводкой.

И все-таки, если уж сопоставлять всерьез две эти исторические фигуры, мы увидим скорее различие темпераментов, чем различие стратегий. После краткой вспышки гнева, заставившей вспомнить скорее Ивана Грозного, чем Петра Великого, Ельцин позволил своим заклятым врагам не только выйти на свободу, но и вернуться в политический истеблишмент. Из государственного бюджета по-прежнему субсидируются газеты, называющие Президента «преступником», а его правительство «оккупационным». Никто из крупных деятелей, публично заподозренных в коррупции, не подвергся судебному преследованию. Ни на день не останавливается накачка пустых, инфляционных денег в военно-промышленный и аграрный комплексы, в угольную промышленность и тяжелое машиностроение. Законы, разумеется, принимаются, но такие и так, чтобы если уж не все население, то, по крайней мере, сильные мира сего успели подготовиться, выработать механизмы социальной и экономической самозащиты.

Иными словами, горбачевская стратегия обеспечения социального мира любой ценой, то есть прежде всего ценой преднамеренного торможения реформ, продолжается при Ельцине в полном объеме. После октябрьской (1993 г.) двухдневной смуты и вновь расплывшейся на долгие месяцы очередной исторической паузы номенклатура, правившая государством более семидесяти лет, наконец-то поняла, что она и впредь может спать спокойно: никто не отберет у нее ни власть, ни связи, ни деньги.

Впрочем, само это слово «номенклатура» в последние годы вышло из употребления, — и как слишком скомпрометированное, и, возможно, как слишком узкое. Чаще говорят об «элите» или об «истеблишменте», и это справедливо,

поскольку впервые за десятилетия правящий слой в России составляют уже не только назначаемые сверху (и контролируемые сверху) чиновники, но и те, кто пробился в этот слой снизу: благодаря победе на выборах, благодаря стремительному личному обогащению, благодаря — очень часто — всего лишь умению выгодно подать себя, своей публицистической и митинговой активности.

К чести «бывших», сохранивших и свои позиции, и свою корпоративную солидарность, надо сказать, что они охотно расступаются, охотно принимают селфмейдменов в свое братство — и тут же вновь плотно смыкают ряды. Новички, не прошедшие в свою пору школу комсомола или профсоюзов и, следовательно, не овладевшие смолоду сложным этикетом внутрикорпоративного общения, оказываются в ситуации выбора: либо принимать правила, по которым живет истеблишмент, либо быть вытолкнутым из связанного круговой порукой правящего братства.

Хотя, и это принципиально ново для России, уход в отставку, выпадение из эшелона власти теперь уже далеко не обязательно означает опалу, поражение в политических и тем более имущественных правах. Не только многоопытный Николай Рыжков из кресла премьер-министра пересел в кресло председателя правления Тверьуниверсалбанка, но и сравнительно юный Петр Авен, лишившись поста министра внешнеэкономических связей в гайдаровском правительстве, тотчас возглавил солидный «Альфа-банк». Такая же в точности картина и на этажах пониже: начальник городского управления милиции может на следующий день стать руководителем охранной службы какой-либо фирмы с очевидным криминальным оттенком; сотрудник налоговой инспекции — бухгалтером частного предприятия, умело прячущим хозяйские доходы от государева ока; директор крупного, но хиреющего на скудном бюджетном пайке НИИ — владельцем маленькой, зато процветающей консультативной фирмы или агентства.

Порою даже возникает впечатление, что многие действующие политики и чиновники рассматривают свое должностное положение как стартовую ступень для скачка в большой бизнес, к большим деньгам. Во всяком случае, почти все из них загодя готовят себе уютные, высокооплачиваемые места либо в коммерческих структурах, либо в самого разного рода представительствах и университетах на Западе, либо в бесчисленных ныне фондах, ассоциациях, аналитических центрах, источники финансирования которых, как правило, неясны, а задачи туманны.

И более того. Лица, состоящие на государственной службе и, следовательно, по российскому обычаю располагающие большими властными возможностями, но весьма скромным личным жалованием, в массе своей удваивают, а часто и удесятерят собственные доходы, одновременно либо тайно подрабатывая в тех или иных банках, финансовых корпорациях, торговых домах, либо — еще более тайно — содержа при себе частные, оформленные, как правило, на родственников фирмы, которые работают исключительно на их личное потребление.

Связь с прошлым в этой практике очевидна. И тем не менее, находя сходство, отмечая преемственность в стиле жизни слоя, управляющего Россией, важно увидеть прежде всего различия. Они принципиальны, так как свидетельствуют о глубокой структурной перестройке если уж не российской экономики, то российского истеблишмента.

Во-первых, раньше единственным легальным источником благосостояния сильных мира сего было государство, а объем щедрот строго, с соблюдением иерархической «табели о рангах» определялся и контролировался вышестоящим начальством. Теперь же личный достаток чиновника или политика от государства почти не зависит. Чиновные привилегии по-прежнему существуют, но цена им уже далеко не та, поскольку и шикарную дачу с бассейном, и автомобиль-инмарку с персональным шофером, и возделенную «вертушку», и обслуживание в правительственных санаториях, в кремлевских поликлиниках может без труда купить себе каждый. Были бы деньги, как сейчас говорят, «густыми», а «густые» деньги можно добыть лишь независимо от государства и — чаще всего — тайне от государства: теми средствами инфильтрации чиновничества в коммерческие структуры, о которых шла речь.

Во-вторых, в ситуации едва ли не тотального сращения чиновничества с коммерсантами и подчас даже с «отцами мафии» особенно наглядно обнаруживается миролюбивый, травоядный характер нынешней российской власти. Даже при ленивой брежневщине особенно зарвавшийся или особенно расхваставшийся своим богатством партайгеноссе мог с треском вылететь на пенсию — «за личную

нескромность», как тогда формулировалось в приказах. Теперь же бояться, похоже, некого. Государство, хотя и пошумливает для порядка, кует один грозный указ за другим, но по существу, на практике снисходительно и к взяточникам, и к казнокрадам, и к тайным агентам мафиозной коммерции в администрации, в суде, в прокуратуре, в милиции, в других властных структурах.

То ли срабатывает горбачевско-ельцинская установка на сохранение социального спокойствия любой ценой, в том числе и ценой упразднения государственного контроля над государственными служащими.

То ли, стыдно перед всем миром признаваться, но в нынешней российской элите едва ли не все действительно одним мирром мазаны. Вчерашний подследственный может оказаться завтрашним обвинителем — и наоборот, как это уже было в знаменитых тяжбах между вице-премьером Шохиним и вице-премьером Полтораниным, между вице-президентом Рудким и вице-премьером Шумейко. Чемоданы компромата накоплены на каждого. Поэтому лучше к ним вообще не прикасаться — без особой политической и карьерной нужды. Хочешь жить — значит, и другим жить не мешай.

И, наконец, третье, может быть, главное.

Приезжаешь куда-либо, например, в глубинку, в какой-нибудь из тысяч городов или районных центров по-прежнему необозримой Руси. И выясняется, что бывший второй секретарь райкома КПСС назначен теперь главой местной администрации, бывший председатель райисполкома служит у него в замах, а вожак районной комсомольской организации руководит, допустим, службой занятости, то есть тоже имеет и подчиненных, и офис, и секретаршу, и персональный автомобиль с радиотелефоном. Никто, словом, не забыт, и ничто, словом, из прежних заслуг перед социалистическим Отечеством не забыто.

Но вот вопрос: а что же теперь поделывает бывший Первый секретарь, то есть бывший полновластный и единоличный хозяин района? Как что? Он теперь президент местного коммерческого банка, заседает в одном правлении с директором завода, удачно акционировавшим, а по сути присвоившим собственное предприятие, вместе с недавно вышедшим из лагеря уголовником, который контролирует огненные систему коммерческих ларьков и закусовых, вместе, наконец, с бывшим начальником районного управления КГБ, который, сняв погоны, благородно именуется президентом благотворительного фонда с нарочито туманным названием — ну, например, «Возрождение» или, скажем, «Единство» или, вот еще предположим, «Российские зори».

И по-прежнему именно к этому бывшему Первому, а совсем не к главе администрации, идут на поклон и местный военком, и директор школы, и милицкий начальник, и деятели местной культуры. Дело, разумеется, не в застарелой привычке. Дело в том, что безденежный, хотя и полномочный глава администрации располагает только правом отдавать распоряжения, тогда как президент банка вместе с компаньонами — еще и возможностью финансировать их выполнение, то есть заасфальтировать, допустим, улицу на окраине, организовать, предположим, бесплатную столовую для малоимущих, оплатить счета местной школы или больницы, поддерживать местное дарование на его пути в большое искусство, большой спорт или большую политику.

И — что, как мы помним, тоже немаловажно — именно он может, если захочет, обеспечить тому или иному (районному, областному, федеральному) администратору щедрую и не учтенную никакими налоговыми инспекциями прибавку к должностному окладу.

В новом российском истеблишменте сменились приоритеты, и сумма на банковском счете вновь, как и восемьдесят лет назад, значит несравненно больше, чем должность, чем место в штатном расписании. Выявилось корневое различие между теми, кто номинально располагает властью, и теми, кто реально пользуется ею. Возникли собственники — и появились наемники: менеджеры, управленцы, исполнители, очень даже хорошо понимающие, из чьих рук они кормятся и от кого на самом деле зависит и их личное благосостояние, и их карьера, и — к великому сожалению — от кого зависит успех того дела, которому они служат: успех региона, успех театра или газеты, успех учебного или медицинского заведения.

Разумеется, границы между собственниками и менеджерами в новой российской элите подвижны и прозрачны. Находятся администраторы, которые благодаря связям или личным дарованиям обзаводятся весьма и весьма недурственной

собственностью, равно как находятся и собственники, охотно берущие на себя роль администраторов или, еще чаще, общественных деятелей.

Кроме того, по-прежнему действует корпоративная солидарность власть имущих, согласно которой бывший комсомольский работник всегда поможет «раскрутиться» такому же, как он, «вожачку», внешторговец в приоритетном порядке поддержит внешторговца, а выходец, допустим, из Саратова охотнее откликнется на просьбу земляка, чем ростовчанина или петербуржца. И все они будут едины, все они мгновенно мобилизуются перед чужаками, пытающимися разорвать поруку правящего братства. Увы, но афористически сформулированный еще в киплингской «Книге джунглей» сигнал «Мы с тобой одной крови — ты и я» опознается и воспринимается в сегодняшней России по-прежнему безошибочно.

Так что процесс внутренней дифференциации, расслоения в новой российской элите, разумеется, идет — но идет, разумеется, при негласном условии ее глубинного, подпочвенного единства. У предпринимателя и «прогрессивного» общественного деятеля Константина Борового, разумеется, больше общих интересов и общих приоритетов с предпринимателем и «консервативным» общественным деятелем Валерием Неверовым или с идеологом «директорского корпуса» Аркадием Вольским, чем с их же собственными экономическими и политическими ландскнехтами. Что ж, правило это давно известно: низы враждуют — верхи договариваются.

И возникает ощущение не всегда открытой наблюдателю, редко обнаруживающей себя властной инфраструктуры или, лучше, может быть, сказать, сети, брошенной на одну шестую часть суши.

Той сети, в которой — вот она, диалектика! — с равным успехом вязнут, глохнут, тормозятся и реформы, позитивные социальные инициативы, и инициативы, напротив, деструктивные, способные разрушить общественную стабильность и превратить Россию в полигон для очередной гражданской войны.

Или, если угодно, в постоянно действующий черныбыльский реактор.

---



## Экспертиза

Аугусто Лопес-Кларос

# Некоторые приоритеты экономических реформ в России в 1990-е годы\*

### 1. Необходимость стабилизации

В 1992 г. среднемесячная инфляция в России превысила 31%, в 1993 г. — 20%, в то же время цены в течение 1993 г. выросли на 840%, поэтому вас вряд ли удивит, если я начну со следующего утверждения: в ближайшем будущем одной из наиболее важных задач, стоящих перед разработчиками экономической политики России, станет достижение большей стабильности цен в условиях продолжающегося ухудшения экономической ситуации. Высокие и сильно колеблющиеся темпы инфляции за последние два года вызвали все обычные последствия, которые можно было предсказать.

Во-первых, они подорвали доверие отечественных и иностранных инвесторов, которые в силу беспорядочности либо нестабильности условий для финансовой деятельности не испытывают желания планировать надолго вперед: ведь решения об инвестировании включают элемент перспективного планирования. Этот факт имеет особенно печальные последствия для России — страны, богатой природными ресурсами, в которой стабильность цен будет являться чрезвычайно важной предпосылкой для иностранных инвестиций. Во-вторых, они вызвали массированное бегство капитала. По самым осторожным оценкам, в 1992-93 гг. оно значительно превысило цифру в 10 млрд. долларов США. Любопытно, что в течение почти всего этого периода процентные ставки в реальном выражении были отрицательными, что делало рублевые сбережения не слишком привлекательными. В-третьих, наряду с сокращением производства, они способствовали ухудшению уровня жизни населения, особенно некоторых наименее защищенных групп (подробнее я остановлюсь на этом ниже).

Одна из основных целей экономической трансформации состоит в том, чтобы сделать экономику не столь уязвимой для будущих потрясений, а этого можно добиться лишь путем усиления ее гибкости и адаптивности. К числу наиболее эффективных инструментов адаптации принадлежит такая система, при которой цены отражают относительный дефицит на рынке, что обеспечивает децентрализованную систему сигналов и стимулов для распределения средств. Экономика станет более гибкой и динамичной, лучше приспособленной к внешним потрясениям, когда процесс принятия решений будет децентрализован и в большей степени подчинен рыночным механизмам. Ибо к настоящему времени довольно прочно установилось, что в странах с низкими или умеренными темпами инфляции наблюдается тенденция к более высокому коэффициенту инвестиций и более высоким темпам роста ВВП на душу населения. Поэтому ясно, что в среднесрочной перспективе одним из приоритетов в России должно стать достижение большей ценовой стабильности. Рекомендую жесткий подход в проведении финансовой политики, необходимо сделать несколько пояснительных замечаний.

---

Аугусто Лопес-Кларос — постоянный представитель Международного валютного фонда в Российской Федерации.

\* Текст выступления на семинаре «Экономические реформы в России», организованном Научно-исследовательским отделом Банка Испании в Мадриде 25 апреля 1994 г. Взгляды, выраженные в данном докладе, отражают собственную позицию автора и не обязательно совпадают с позицией учреждения, которое он представляет.

В значительной степени спад производства, имевший место в последние несколько лет, отражает структурные характеристики российской экономики, в частности, необычайно высокую концентрацию ресурсов в тяжелой промышленности, особенно на предприятиях ВПК. Однако в течение этого времени промышленный сектор экономики должен был приспособливаться к воздействию двух факторов. Во-первых, произошло падение спроса в результате сокращения бюджетных расходов на оборону, отчасти благодаря установлению нового климата в международной политике (мы часто называем это время «концом холодной войны») и направленности на выполнение иных экономических задач — таких, как производство гражданской продукции и услуг. Во-вторых, имел место «шок предложения» по мере того, как стало сокращаться предоставление средств на льготных условиях — дотированных ссуд, низкий обменный курс, продажа сырья по ценам гораздо ниже мировых и т.п. Поэтому не следует считать, что падение производства, тесно связанное со структурной перестройкой промышленности (прежде всего оборонной), а также с нехваткой капиталовложений в энергетику, обусловлено самим процессом экономических реформ или какой-либо из его составляющих — отпуском цен, приватизацией или либерализацией торговли. Как мне представляется, в спорах о ходе экономических реформ в России эта отличительная особенность зачастую не принимается во внимание.

Наконец, мне хотелось бы сказать о том, что снижение инфляции осуществляется в России весьма постепенно. Задача правительства до конца 1994 года состоит в том, чтобы довести месячный уровень инфляции до 7%. Если этого удастся добиться, то годовой уровень инфляции в 1994 г. составит 125%. Опыт многих стран, переживших переходный период в экономике, показывает: такой путь не является эффективным для уменьшения экономических трудностей или обеспечения максимальной поддержки в политике.

## 2. Вопросы либерализации цен

Я хотел бы рассмотреть еще два вопроса российской экономической политики последнего периода, которые считаю чрезвычайно важными. Первое. Процесс либерализации цен с начала 1992 г. практически не затронул энергетику. В начале 1992 г. в силу озабоченности тяжелым состоянием промышленного сектора и необходимости не допустить дальнейшего осложнения перестройки промышленности цены на энергоносители не были отпущены. Это имело ряд последствий. Во-первых, это неэффективное распределение энергоресурсов: энергоносители, которые можно было экспортировать по существовавшим на мировом рынке ценам, были вместо этого направлены на поддержание и сохранение многих отраслей, которые были либо убыточными, либо неэффективными и неконкурентоспособными на мировом рынке. Результат подобной политики состоял в том, что начало периода урегулирования и перестройки отодвинулось еще на несколько лет. Данная политика имела последствия и для бюджета; в частности, она привела к большой потере бюджетных доходов. Разумеется, акцизный налог (допустим, в размере 20%) на нефть, продаваемую на внутреннем рынке по цене значительно ниже мировой, принесет в бюджет меньший доход, чем тот же налог, взимаемый с цены, которая находится на уровне (или чуть ниже) мировой. Такая политика сказалась и на структуре бюджета, ограничив способность государственных органов распределять дополнительные бюджетные ресурсы в те сферы, где они остро необходимы — в частности, в сфере социальной защиты.

Можно убедительно доказать необходимость отмены предельных норм прибыли для отечественных производителей нефти, а также отмены ограничений на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов. Искусственное поддержание цен на нефть и нефтепродукты ниже мирового уровня вызвало и хорошо всем известные негативные последствия в экологии, на которых я в настоящий момент не стану останавливаться подробно. Кроме того, в России не развита культура экономики энергоресурсов, которые рассматриваются населением почти как «дармовые». Подобное отношение резко контрастирует с отношением населения других индустриально развитых, а также развивающихся стран, где сбережение энергоресурсов является важной составной частью политики: невозстановимые энергоресурсы продаются по ценам, которые более точно отражают их ценность в условиях недостаточности.

Второе замечание, которое мне хотелось бы сделать, заключается в том, что сейчас чрезвычайно важно уделять внимание реформе сельского хозяйства. Не смешно ли, что стране, протянувшейся на 11 часовых поясов и обладающей огромными площадями плодородных земель, приходится залезать в долги на международном финансовом рынке, чтобы закупить зерно у ряда своих основных торговых партнеров. В России существует ежегодный ритуал разработки программ предоставления государственных кредитов, которые выбиваются под мощным давлением аграрного лобби; в большинстве случаев целью является получение средств по льготным ставкам. Чуть больше года назад, когда ежемесячная инфляция колебалась в пределах 20-30%, аграрные предприятия платили 28% годовых по кредитам, а разница относительно ставки рефинансирования Центрального Банка покрывалась из бюджета. Хотя с того времени дотации были сильно сокращены, правительство, тем не менее, отсрочило выплату процентов по большинству кредитов, и, таким образом, очень немногие из тех, кому были предоставлены кредиты на развитие сельского хозяйства, выплачивают по ним проценты. Поэтому налицо острая необходимость устранить перекосы в распределении финансовых средств в сельское хозяйство и привести в действие уже принятые указы о приватизации земли, в особенности сельскохозяйственных угодий.

### 3. Международный контекст

Я хотел бы затронуть еще один важный вопрос экономической политики на перспективу. Мы живем во все более тесно взаимосвязанном мире — в мире, который поистине становится единым в результате коренных изменений, происшедших в последние десятилетия в сфере развития связи и транспорта. В этой взаимосвязанной мировой экономической системе одной из ключевых составляющих успеха экономических реформ является большая ориентация на внешний мир. При выработке Россией экономической политики ей придется это учитывать. Помимо известных выгод от международной торговли, относительная открытость и тесные связи с мировой экономикой дадут отечественным производителям ценный опыт соблюдения дисциплины в международной конкуренции и создадут возможности для развития экспорта. Кроме того, открытость во внешний мир привлечет капиталы и зарубежный опыт, в которых так нуждается Россия, увеличивая, таким образом, перспективы роста и эффективности. Она также послужит важным средством для получения новых технологий из-за рубежа, что видно из опыта многих стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые смогли успешно наладить экспорт продукции на основе создания новой обрабатывающей промышленности. России предстоит сделать еще очень многое для привлечения зарубежных инвестиций. Сейчас в стране подходит к концу длительный период, для которого была характерна политика, не поддерживавшая инвестиции частного капитала, как отечественного, так и зарубежного, а также административное распределение валютных средств, всеобщий контроль за ценами, отсутствие конкурентоспособной банковской системы, несоразмерные эксплуатационные расходы и капиталовложения в социально продуктивную инфраструктуру.

Некоторые из этих проблем постепенно начинают решаться (так, нет сомнений в том, что сегодня российская экономика является гораздо более открытой, нежели три года назад; в результате либерализации большинства цен, а также процентных ставок и обменного курса рубля, начинает формироваться рыночное поведение), однако факт остается фактом: для создания благоприятного инвестиционного климата в России по-прежнему нет наиболее основных составляющих, а именно — стабильной макроэкономической среды, характеризующейся низкими темпами инфляции, относительно стабильного курса рубля и ясного, четкого, предсказуемого механизма регулирования. Этот последний является особенно важным для России, где в настоящее время существует значительная преграда иностранным инвестициям в сочетании с отсутствием стабильного макроэкономического климата в широком масштабе — таким образом, создается впечатление, что постановления, регулирующие экономическую активность в целом и участие иностранных предпринимателей в частности, являются неясными, запутанными, в высшей степени неопределенными. С точки зрения инвестора пред-

почтительнее иметь простые, четко выраженные, устойчивые — пусть и несколько ограничивающие — правила, нежели такие, которые воспринимаются как туманные и подверженные непредсказуемым изменениям.

#### 4. Институциональная реформа

Во многих странах процесс экономической перестройки тормозился из-за слабости административных способностей государства, недооценивающего необходимость более активных институциональных реформ. Можно утверждать, что эффективность политики перестройки в значительной степени будет зависеть от того, насколько она подкреплена политикой, направленной на совершенствование институционального механизма, на котором в конечном счете и базируется ее устойчивое воплощение. Например, освобождение цен на сельскохозяйственную продукцию явится стимулом роста предложения, однако объемы этого роста вероятнее всего увеличатся при наличии соответствующей транспортной инфраструктуры и кредитных институтов, в достаточной степени эффективно предоставляющих средства. Проведенная в последние годы во многих странах Африки реформа структур маркетинга сельскохозяйственной продукции служит хорошим примером того, каким образом институциональная реформа может сыграть важную роль в принципиальных изменениях — таких, как либерализация цен.

Элементами институциональной реформы является также создание адекватной правовой базы и механизма подотчетности. Во всех этих процессах роль правительства является ключевой и она должна сочетаться с эффективным управлением экономической политикой в целях облегчения перехода к более совершенной политике, к разработке и претворению структурной и институциональной реформы.

#### 5. Социальные задачи

Думаю, что все согласятся, что политика в сфере макроэкономики, хороша она или плоха, а также — в более широком смысле — любой процесс структурной трансформации окажет существенное воздействие на распределение доходов и, таким образом, на обеспечение социальной справедливости и благосостояния. Поэтому важно, чтобы в экономической программе эти вопросы учитывались, в особенности потому, что они затрагивают наименее защищенные слои населения. Это имеет особенно большое значение в России, где переходный период вызвал серьезные социальные потрясения, в значительной степени — хотя и не только — связанные с резким падением производства (около 40% в реальном исчислении в целом за последние три года). По моему мнению, одной из основных задач экономической политики в России на ближайшие годы является решение вопроса о том, как осуществить необходимую перестройку, как достичь некоторых основных макроэкономических показателей, о которых говорилось ранее, с наименьшими тяготами для самых незащищенных групп населения. В России это означает обеспечение большей защищенности пенсионеров, получающих минимальную (или близкую к минимальной) пенсию, а также безработных, низкооплачиваемых и детей.

В качестве иллюстрации я хочу поделиться с вами данными по ряду хорошо известных показателей социальной сферы. В декабре 1993 г. приблизительно 40 миллионов человек, или 27% населения, имели доходы ниже довольно скромного прожиточного минимума, составляющего около 35 долларов США в месяц. Минимальная пенсия, которую получают примерно 35 миллионов человек, все еще находится ниже прожиточного уровня. Отношение средней пенсии к средней заработной плате (т.н. коэффициент замещения) в 1993 г. составляло около 36%, что по международным стандартам считается низким. За последние несколько лет значительно ухудшились различные показатели в здравоохранении и других сферах, в том числе повысилась детская и общая смертность, резко снизилась рождаемость, увеличилась заболеваемость некоторыми болезнями, то есть создались условия, которые демографы и эксперты по здравоохранению определили как «тревожные».

Особенно неадекватными являются пособия по безработице. Отношение среднего пособия по безработице к средней заработной плате составило в 1993 г. всего 11%. Резкий рост скрытой безработицы в формах неоплаченных отпусков, сокращенного рабочего времени, охвативший в конце 1993 г. около 4 миллионов человек, является еще одной особенностью сегодняшней социальной жизни. Приводить статистические данные можно долго, но суть в данном случае заключается в том, что на разработчиках политики лежит особая ответственность за устранение кратковременных негативных последствий в отношении данных слоев населения, несмотря на растущие свидетельства (а они, несомненно, имеются) того, что реальные социальные условия некоторых из этих слоев могут быть не столь мрачными, как о том свидетельствуют приведенные выше данные официальной статистики в силу того обстоятельства, что все более растущее число россиян получает доходы от так называемой «части экономики, действующей на основе наличности». Оставляя в стороне важные этические соображения, касающиеся ответственности государства в области социальной защиты, ясно, что должный учет влияния, которое оказывают меры в области экономической политики на социальные условия, может обеспечить более сильную поддержку конкретной экономической политике и правительству, что сделает эту политику более устойчивой.

В настоящее время у российского правительства имеются чрезвычайно сложные проблемы с бюджетом, что создает ряд существенных ограничений его способности удовлетворить многочисленные и постоянно растущие нужды. Тем не менее, в ближайшее время в России все же можно кое-что сделать для того, чтобы решить данные вопросы. К примеру, с большей пользой можно использовать целевую помощь. Первый важный шаг в этом направлении был сделан в прошлом году — отменены хлебные дотации и выплаты наличными семьям с низким доходом. Можно будет ввести проверку доходов при выдаче пособий на детей, которыми в настоящее время обеспечиваются все семьи, независимо от уровня их доходов. Выдача пособий только семьям, в которых больше одного ребенка, сэкономит в 1994 г. сумму в размере половины процентного пункта ВВП. Можно также поднять планку пенсионного возраста, которая в настоящее время является низкой по международным стандартам. Все эти меры высвободят бюджетные средства, которые можно будет использовать для повышения минимального размера пенсий и увеличения пособий по безработице без дополнительной нагрузки на бюджет.

## 6. Обнадеживающие перспективы

Позвольте закончить мое выступление замечанием о том, что Россия является страной богатой — как природными, так и, что более важно, человеческими ресурсами. Русская культура признана во всем мире как одна из наиболее богатых и разносторонних, идет ли речь о литературе, музыке или науке. Многие страны, не одаренные такими богатствами, обогнали Россию на пути экономического развития. В данный момент исторического развития России недостает «системы», которая бы объединила два бесценных дара — богатейшие природные ресурсы и щедро одаренное население — для достижения благосостояния и процветания россиян. Немногие усомнятся в том, что это возможно; в сущности, даже сейчас, в нынешних, часто хаотических, условиях, мы видим очертания новой России, на которую надеемся.

Перевела с английского  
Марина Будакова

Л. Айзерман

## Последний шанс

**О**чень давно, когда я интересовался историей преподавания литературы в русской школе, я приобрел несколько так называемых «темников» — сборников тем для гимназических сочинений с развернутыми планами ко многим из них и сборники гимназических сочинений, не гимназических, конечно, а для гимназистов написанных. И вот сейчас они, как сказал поэт, «воскресли вновь». «Вступительное сочинение получится, если вы проработаете эту книгу!» — так рекламируется один из сборников. «Эта книга — ваш последний шанс! — призывает другая. — Материал, содержащийся в пособии, обеспечивает экзаменуемому, как минимум, положительную оценку... Можно без преувеличения сказать, усвоение методики, изложенной здесь, на три четверти предопределяет Ваш успех на экзаменах». И название выразительное: «Последний шанс! Литература. Практическое пособие для сдающих экзамены за курс средней школы и для поступающих в высшие учебные заведения».

У этого «Последнего шанса» никаких выходных данных: ни автора, ни года издания, ни издательства. Указаны лишь типография и обозначен тираж — 25 000 экземпляров. Но вот солидное общероссийское издательство «Школа-пресс». Нет необходимости говорить о том, как трудно сейчас учителю литературы и как нуждается он в помощи. Но ни одной книги (может быть, пока?) для учителя о преподавании литературы «Школа-пресс» не выпустила. Зато в серии «ШАНС» две книги для учащихся о том, как сдавать экзамен по литературе. Естественно, издание книг для учащихся необходимо. Напомню лишь, что прежде выходили прекрасные книги для учащихся Ю.Лотмана, И.Андроникова, Е.Добина, Н.Долининой, Б.Сарнова, Ст.Рассадына, Е.Эткинда, Ю.Манна, книги, которые учили понимать и чувствовать слово писателя. Теперь для педагогического издательства существует лишь «ШАНС». Такова конъюнктура.

Так что не будем относиться ко всем этим ШАНСАМ и ПОСЛЕДНИМ ШАНСАМ высокомерно. Пока высоколбые интеллектуалы на симпозиумах дискутируют о менталитете русской культуры, пока лежат неизданные книги критиков и литературоведов, пока мизерными тиражами выходят литературоведческие журналы, базарное литературоведение эпохи первоначального накопления нахраписто захватывает книжные прилавки и власть над умами и душами (умами? душами?) школьников и абитуриентов.

### А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

Еще совсем недавно близость к революционным идеям рассматривалась как свидетельство политической благонадежности классиков. Сегодня чуткая к зову времени выпускница пишет в своем экзаменационном сочинении: «Умы всей молодежи занимали бредовые идеи свободы крестьянства, хотя многие были чисто городскими жителями и к деревне не имели никакого отношения». Не удивлюсь, если в ближайшее время наши ученики будут Пушкина попрекать «барством диким» и «Пока свободой горим». К тому идет.

Но могут ли все эти спекуляции отменить несомненное: мы мучительно расстаемся с иллюзиями, мы действительно увидели прошлое и настоящее в ином свете, мы по-другому взглянули на самих себя, мы начали горестную и трудную работу по переоценке всего и вся. И когда сегодня читаешь адресованные нынешним молодым педагогические сочинения, в которых все абсолютно так, как было 10, 15, 20, 25 лет тому назад, становится явно не по себе. И поневоле возникает тот самый вопрос: «А был ли мальчик?» Или, может быть, вообще ничего не было?

Итак, перед нами первые две из тех книг, о которых у нас пойдет речь.

Н.В.Николаева. «Русский язык и литература. Пособие для поступающих в Московский юридический институт». Независимое издательство «Манускрипт», Москва, 1992.

Е.Н.Ильин. «Как сдать экзамен по литературе». «Школа-пресс», Москва, 1993.

Начнем с книги для будущих гуманитариев-юристов.

«В.И.Ленин, характеризуя декабристское движение, отмечал: «Страшно далеки они от народа». Чацкий произносит свои речи не перед «умным и бодрым» народом, а перед людьми, которые не могут и не хотят понять его... Так как Грибоедов в лице Чацкого хотел показать представителя Северного тайного общества, то изображает его страстным агитатором и пропагандистом, что было свойственно северянам»; «Все попытки обратить внимание царя на бедственную участь сосланных декабристов не привели к желаемому результату. И тогда поэт обличает царя-убийцу, сравнивая его с деревом смерти Анчаром... Пушкин был певцом декабристов, пропагандистом и агитатором их идей. Он смог подняться над своим поколением, потому что был поэтом-гражданином, видел народное горе, слышал стоны народа, он имел мудрый, как у змеи, язык и сердце, горящее любовью к людям»; «Герои Пушкина, Гоголя, Тургенева не могли ответить на вопрос «Что делать?». Ответ на этот вопрос дал Чернышевский образом Рахметова: для того, чтобы разрешить все наиболее острые проблемы современности, нужно свергнуть самодержавие»; «Петя видит тяжелое положение народа. Но Петя не видит в рабочем классе той общественной силы, которая может уничтожить все это и создать новое светлое будущее... И все же Чехов показывает в пьесе, что будущее России — это такие люди, как Петя и Аня».

Нет, я не принадлежу к тем, кто сегодня измывается над такими литературными героями, для которых «доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего». Мой Чернышевский — не Чернышевский романа Набокова «Дар». Мне всегда были близки люди, которые платят за свои убеждения, а не те, которым платят за убеждения. В отстреле Соколов и Буревестников в русской литературе участие не принимал и не принимаю. Знаю, сколь необходим и социологический подход к литературе.

Но подобного дремучего толкования литературы не встречал давно. А каков стиль? Здесь одно «он имел мудрый, как у змеи, язык» многого стоит. И потом, мне всегда казалось, что человек, который пишет о Пушкине и декабристах или о Пете и Ане в «Вишневом саде», все-таки должен прочесть то, что обо всем этом написано в последние пару десятилетий. Да, не надо отбрасывать абсолютно все, что было найдено, открыто, наработано и двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет назад. В нашем прошлом, в том числе и литературоведческом, есть немало того, чего не надо стыдиться. Но какой дикостью веет от замшелых догм и стереотипов, тем более сегодня!

Лишь однажды на ясный день набежала в этой книге легкая тучка, нет, не тучка — облачко: «Все это делает роман Шолохова достоверным документом эпохи коллективизации, хотя сегодня мы, конечно, понимаем, что не всегда и не все делалось правильно, хотя люди искренне верили, что идут по правильному пути, который приведет их к «всеобщему счастью». Опять же не говорю о косноязычии, но все-таки, оказывается, «не всегда и не все делалось правильно». И на том спасибо. Тем более, что в книге Ильина «Как сдать экзамен по литературе» и следа такого вот легкого облачка нет.

Вот, скажем, та же «Поднятая целина». Отмечу, что я не склонен изгонять роман Шолохова, во всяком случае его первый том, из школы: в первом томе есть страницы подлинной правды о коллективизации, к тому же, на мой взгляд, школьники должны знать и мифологию нашей истории, ибо какая же это правда о времени без мифов, которыми жили в это время.

Для Ильина «Поднятая целина» — роман о «совместном движении к светлому, разумному», о мужестве тех, «кто боролся в ночи за ясный, новый день». И понятно, почему в центре внимания методиста «нравственный подвиг Давыдова» и героическая натура Нагульнова. «В этом человеке Шолохов видит и ценит «рыцаря революции», романтика в чем-то по-донкихотски наивного и незащищенного». Да и какие тут могут быть сомнения: «Макар — натура героическая. Это видно из того, как он, рискуя жизнью, спасает колхозное зерно; как, не дрогнув, по-рыцарски казнит Тимофея Рваного». Что же касается Разметнова, которому «доверяет Шолохов завтрашний день Гремячьего Лога», то он — «воплощение снисходительности и мягкосердечия. Всюду, где появляется он, царит атмосфера душевности, людской доброты». Вспоминаешь, правда, разметновские слова: «Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе!» Ну так с кем не бывает?

Но неужели и сегодня возможно повторять прежние лживые прописи о кол-

лективизации? Как видите, возможно. И это не частная лавочка какая-нибудь, а солидное издательство «Педагогика-пресс». И это не что-нибудь, а «рекомендации для поступающих в вуз», изданные в серии «Шанс».

А посмотрите оглавление книги Ильина. Вот как представлена в ней литература послереволюционной эпохи: А.М.Горький. «Старуха Изергиль», «На дне»; А.А.Блок; С.А.Есенин; А.А.Фадеев. «Разгром»; А.Н.Толстой. «Петр Первый»; М.А.Шолохов. «Поднятая целина», «Судьба Человека»; А.Т.Твардовский. «Василий Теркин». В школу пришли Замятин, Булгаков, Платонов, Зощенко, Бабель, Ахматова, Цветаева, Пастернак. У Ильина лишь старая, привычная обойма. Про литературу последних десятилетий я и не говорю: ни слова.

Естественно, что и классика представлена навязшими в зубах клише: «Отцы и дети» — роман о полемике, «вызванной борьбой новых, демократических сил с либеральным дворянством»; в романе «Что делать?» писатель «показывает тех, кто непосредственно будет менять «декорации» старого мира»; в поэме «Кому на Руси жить хорошо» поэт «остро поставил и решил проблему счастья, как его понимали революционные демократы».

Вместе с тем в трактатке русской литературы Ильин вносит много нового, неожиданного и оригинального. Скажем, вот первая — «пейзажная часть» стихотворения Некрасова «Железная дорога». «В ней Некрасов доказывает своим оппонентам, сторонникам «чистого искусства», что его пейзажная лирика не уступает шедеврам Тютчева, Фета». Или «Капитанская дочка». «Присутствие на лобном месте — отнюдь не только исполнение Гриневым дворянского долга, но и скорбная панихида по человеку, к которому он не безразличен. И все же Гринев в толпе, а не над нею, как Пугачев. Подняв героя на эту «высоту», Пушкин, возможно, и сам мечтал стать рядом с ним». «Присутствие Гринева на лобном месте» — это сильно сказано. Еще сильнее — Пушкин, мечтающий оказаться на лобном месте рядом с Пугачевым!

Но самое сильное в книге — это истолкование пушкинского «Памятника». Оказывается, в этом стихотворении, в чем и состоит его смысл, Пушкин свел счеты с царями, сразу с двумя. С одной стороны, это «завершение исторического спора двух Александров, один из которых по значению вознесся выше другого, «нечаянно пригретого славой». С другой стороны, «Памятник» — это и своеобразный ответ царю на его «ласку»... «Не оспаривай глупца» — так заканчивается «Памятник». Не исключено, что в общесимволическом образе «глупца» есть и фигура Николая». Таким образом, «в сопоставлении двух «памятников», двух «посланцев» Пушкин с присущей ему метафоричностью улавливает тончайшую возможность подцензурного намека на свое отношение к Зимнему дворцу, к самодержавию, царю... Если хотите, это своеобразный бунт... на Дворцовой площади. В «Медном всаднике» поэт выводит на площадь(!) своего героя — маленького униженного Евгения, чтобы тот шепнул что-то «горделивому истукану». В «Памятнике» он сам уж выходит на площадь, вступая в противоборство с «кумиром» своего времени. Два бунта на двух исторических площадях!» Ай да Пушкин!

Вот только что непонятно мне: а были ли у нас Бонди, Тынянов, Гуковский, Чуковский, Лотман, Лакшин и многие и многие другие подлинны ученые (о ныне здравствующих я и не говорю)? Так был ли мальчик?

Ну, а пока вы думаете над ответом, у нас на очереди и другой вопрос.

## А вы бы так смогли?

В 1936 году в «Правде» была опубликована статья Корнея Чуковского «Литература и школа». Школа «не способна привить нашим детям подлинны литературные вкусы, вооружив их здоровой эстетикой, которая на всю жизнь дала бы надежный критерий для оценки литературных явлений», — диагноз, поставленный Чуковским, Чуковский назвал и первопричину: школьная программа «вообще не желает внушить детям любовь к литературе: пусть зубрят без всяких эмоций. И зубрят. Даже Пушкина зубрят». Особенно удручают всякого рода проверочные испытания, на которых лишь «проворные, звонкие, но совершенно бездушные» ответы. Но ведь «литература не таблица умножения: ее нужно не зубрить, а любить. Сделать из нее крошку разрозненных фактов, имен, заглавий — не значит ли это навсегда отвлечь от нее детское сердце?»

Через тридцать лет, включая эту статью в шестой том собрания сочинений,



Чуковский так мотивировал это: «Эстетический вкус, который необходимо воспитывать в детях с самого раннего возраста, все еще не вступил в свои права при изучении литературы в школе. В классных сочинениях школьников все еще преобладает мертвенный канцелярский стиль, о котором я писал в своей книжке «Живой как жизнь».

В книге же этой — «Живой как жизнь» — Чуковский писал об аморальности шаблона, ибо весь смысл его в приспособлении для сокрытия истины. Вот почему он так опасен в преподавании литературы. «Если бы школы и вузы поставили себе специальную цель — отвадить учащихся от нашей бессмертной и мудрой словесности, они не могли бы достичь этой цели более верными и надежными средствами».

Мне все это было очень близко, к тому же Корней Иванович в этой книге поддержал меня, тогда молодого учителя, в стремлении противостоять казенно-мыслию и казеннословью. Несколько строк, сказанных в книге обо мне, были для меня событием, хотя я уже читал письмо Чуковского в журнале «Русский язык в школе», в котором он отметил мою статью.

И все-таки подлинный смысл книги Чуковского я осознал лишь через четверть века, когда прочел «1984» Джорджа Оруэлла. Роман кончается главой о новоязе, ибо язык не только отражение, но и выражение сути общества, изображенного в романе.

Новояз должен был «сделать невозможным любые иные течения мысли». Он «был призван не расширить, а сузить горизонты мысли». «Задача состояла в том, чтобы сделать речь — в особенности такую, которая касалась идеологических тем, — по возможности независимой от сознания». Не было ли изобретенное Чуковским слово «канцелярит» эвфемизмом оруэлловского новояза? Во всяком случае, книга Чуковского «Живой как жизнь» была не только, а может быть, и не столько о языке.

И для меня сегодня язык тех книг, о которых я пишу, — это прежде всего показатель нашего сознания, нашего отношения к будущему страны и к собственной культуре. Говорю не только об авторах — ведь кто-то же давал добро на выход в свет их «трудов», кто-то их редактировал!

В самом конце своего романа Оруэлл рассказывает о том, как началась работа по переводу на новояз Шекспира, Мильтона, Свифта, Байрона, Диккенса: «из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, и то же время привести их труды в согласие с учением англосоца».

Большой опыт аналогичного перевода русских классиков на наш новояз накоплен советским литературоведением и школьной методикой преподавания литературы в школе. И вот сейчас, вместо того, чтобы как можно быстрее избавиться от этого тяжкого наследия, мы продолжаем кормить детей и преподавателей этой ложью!

Скажем еще о двух книгах. «Последний шанс. Литература. Практическое пособие для сдающих экзамены за курс средней школы и для поступающих в высшие учебные заведения». «А вы бы так смогли? Сборник сочинений по русской литературе XX века». Ассоциация преподавателей московских вузов. М., 1993.

Название второй из этих книг сразу же заставляет вспомнить известное стихотворение Маяковского с его «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточный труб?» Только там поэт «показал на блюде студня косые скулы океана», а здесь учат, как из океана поэзии приготовить экзаменационный студень, или, если воспользоваться той старой статьей Чуковского, преподнести классиков «в виде какого-то безвкусного месива формул, имен и фактов, которые следует вызубрить». Начнем с «Последнего шанса».

«И, утратив скромность, одуревши в доску, Как жену чужую, обнимал березку». Здесь дерево превращается в человека, а человек в дерево». «В стихотворении «Школьник» случайная дорожная встреча становится причиной глубокого размышления лирического героя о судьбе народа, «архангельских мужиков», таинственно порождаемого союза человеческой и Божьей воли, поддержанного «медными деньгами». «В стихотворении «Стихи о советском паспорте» автор рисует образ чиновника на границе. Особенность приема Маяковского в том, что через мимику одного персонажа ему удается сатирически воссоздать политическую географию всего мира, показав, какое место в ней занимает СССР». «Рифма Маяковского часто бывает смысловой. Например, «мир иной — пивной» — рифма — пародия на религиозность, против которой боролся поэт». Боюсь, что у воспитанных такими «пособиями» людей на всю жизнь останется убеждение, что

поэзия (поэзия Есенина, в частности) — это когда «дерево превращается в человека, а человек в дерево»!

Зато как все емко, кратко. Вот, на полторы страницы, все на тему «Судьба крестьянства в произведениях Шолохова, Платонова. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в произведениях Платонова, Солженицына, Шаламова, Домбровского». Вам нужен Платонов — пожалуйста, вот весь Платонов, уместившийся в восемь строк практического пособия: «В романах «Чевенгур» и «Котлован» Платонов развил евою идею о тоталитарном государстве. Символ котлована страшен именно тем, что он бессмыслен. Копаая громадную яму под фундамент всеобщего дома, рабочие, по существу, роют себе могилу. Символично то, что именно в котловане похоронена мертвая девочка, которая в художественной системе Платонова означает революцию, с революционным пылом рабочие копают яму самой революции. Творчество Платонова оказало огромное влияние на следующие поколения русских писателей». Вот и все, как говорится, коротко и ясно.

То же превращение поэзии в экзаменационный студень, да еще и второй свежести, в книжке «А вы бы так смогли?» В самом деле: а вы бы так смогли? Ограничусь одним примером.

«Шестикрылый серафим явился на перепутье, как спасение от незнания того, куда идти». «Серафим проникает все глубже: «И он мне грудь рассек мечом». «Именно самого себя автор выразил с помощью образа Музы, которой, в свою очередь, придал облик и характер Татьяны». «Татьяна любит русский сельский пейзаж, хотя воспитана на французских романах и сама не знает, почему она «русская душой». Это также роднит ее с автором, которого в Лицее называли «французом», но который стал непревзойденным певцом русской природы».

И вместе с тем авторы сего труда (их фамилии скромно означены вместе с выходными данными) знают, в какое время они живут: нынче нужно обязательно писать про свое, личное отношение к литературе. Пожалуйста, вот советы, как это сделать: «Я думаю, что А.И.Герцен прав, назвав Чацкого «первым декабристом». «Мне кажется, что основная мысль стихотворения заложена в словах «Я гимны прежние пою». «Ода выражает политические взгляды молодого Пушкина, и, я думаю, их можно назвать конституционно-монархическими». «По нашему мнению, Достоевский осуждает «наполеоновскую теорию» и преступление Родиона Раскольникова, связывая это с атеизмом, идеями материалистической этики». «Проблема деградации личности, столь ярко раскрытая в рассказе «Ионыч», остается актуальной и по сей день. И, я думаю, именно нам сейчас нужно почаще обращаться к своему прошлому, чтобы избегать подобных ошибок в настоящем и будущем».

Сочинения сии составлены под эгидой ассоциации преподавателей московских вузов. Но, как известно, всем вузам вуз — Московский университет.

## Мои университеты

А.А.Смирнов. «Пособие по русской литературе. Для поступающих в вузы». Издательство Московского университета, 1993.

А.С.Воронкевич. «Как писать вступительное сочинение (из опыта экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова)». М., 1993.

Л.М.Малышева. «Рифы и мифы вступительных экзаменов. Русский язык и литература». М., «Школа-пресс», 1993.

А.А.Смирнов — доцент кафедры истории русской литературы МГУ. Рецензенты его книги — доктор филологических наук, профессор и кандидат филологических наук, доцент. А.С.Воронкевич — кандидат филологических наук. Л.М.Малышева — кандидат филологических наук, «в течение многих лет она принимала экзамены в МГУ». Итак, мы вступаем, как говорил поэт, «под сень наук». Университетских наук. Лучшего из университетов страны. И, действительно, книга доцента Смирнова предъявляет к абитуриентам самые высокие требования.

Абитуриент должен знать, что ведущими идейно-литературными течениями в русской литературе были течения прогрессивной дворянской государственности, дворянской революционной демократии (между прочим, именно к этому течению, ежели вы этого раньше не знали, относятся Пушкин с Лермонтовым), революционной демократии, революционной социал-демократии, либерально-

просветительское течение, патриархально-демократическое и демократическо-просветительское. Про патриархально-демократическое сказано, что к нему относятся поздний Толстой и Достоевский. И не знаешь, в какую рубрику поместить автора «Войны и мира».

Говоря о значении творчества писателя, абитуриент должен поведать о «традиции и новаторстве писателя в области: а) идей, б) тематики, проблематики, в) творческого метода и стиля, г) жанра, д) речевого стиля».

Абитуриент должен уметь дать характеристику художественного образа-персонажа по плану из 8 пунктов и 12 подпунктов. Он должен уметь разобрать лирическое стихотворение по плану из пяти римских пунктов, семи арабских подпунктов и семи подпунктов по буквам а), б), в)... Основная мысль, эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении и в их динамике и статике... преобладание общественных или личных интонаций... метафора, метонимия, сарказм, тоника, силлабика, рифма... эфония...

О! Покажите, покажите мне выпускника школы, естественно, если его не натаскивал специальный репетитор для поступления в МГУ, который бы все это знал и умел! И объясните мне, зачем все это нужно знать и уметь?

А как глубоко, солидно, по-научному изъясняется автор пособия. Вот, скажем, «Арион» Пушкина. Как вы помните, у поэта сказано как-то уж очень просто: «А я — беспечной веры полн — пловцам я пел». То ли дело наука: «В отличие от кормщика и пловцов певец не совершает никаких действий, направленных на спасение судна. Это подтверждается еще одной деталью — пространственной неопределенностью положения певца на судне...» Или про «Железную дорогу» Некрасова: «В ней с удивительным мастерством изображен непосильный труд рабочего люда на строительстве железной дороги и показана смерть как результат крайнего истощения человека». А вот о «Бедных людях» Достоевского: «Форма любовных отношений используется писателем для воплощения социальной проблематики».

Книга А.С.Воронкевича «Как писать вступительное сочинение» — «результат пятнадцатилетней работы автора репетитором и двенадцатилетней — экзаменатором МГУ им М.В.Ломоносова. За это время я подготовил к поступлению в вузы около 200 абитуриентов частным порядком да еще около 1000 слушателей подготовительных отделений различных гуманитарных факультетов МГУ». Правда, не понятно: автор готовил в МГУ поступающих 27 лет или же он одновременно принимал экзамены в МГУ и в то же самое время готовил к этим экзаменам «частным порядком». Если верно последнее предположение, то легко понять, что за все эти годы у него было лишь «несколько случаев производственного брака».

Во вступлении автор вполне искренне, простодушно заявляет, что в пособии «нет ничего о величии русской литературы, о ее духовных достижениях и высотах». Задача пособия — научить играть по принятым правилам. Тем более, что «умение четко играть по чужим правилам — одно из важнейших качеств человека вообще, а специалиста интеллектуального труда — в особенности». Он предлагает учащимся образцы вступительных сочинений, и это действительно «образцы, оцененные на вступительных экзаменах высоко».

И ученик, который проштудировал это пособие, может быть спокоен: «Вы будете готовы к любой мыслимой формулировке темы», «если вы освоили нашу методику, вы найдете способ подверстать хорошо знакомый вам литературный материал к любой формулировке».

И пошло-поехало: «В образах Манилова и Плюшкина, как и в образах других помещиков, Гоголь изобразил (в логической, а не исторической форме) различные стадии упадка помещичьего землевладения... В пьесе «Гроза» присутствуют несколько сюжетных линий: драматическая («темное царство» и Тихон, Кулигин), комическая («темное царство» и Варвара, Кудряш), лирическая (тема вольной природы в авторских ремарках и монологах Катерины и Кулигина) и, наконец, трагическая («темное царство» и Катерина)... Если говорить о политических взглядах, то Тургенев был либералом, а Чернышевский — революционным демократом... Некрасов был новатором не только в идейном смысле. Его лирика — это новый этап русской лирики и с точки зрения словоупотребления, и с точки зрения ритмической организации стиха»...

Книга Л.М.Малышевой «Рифы и мифы вступительных экзаменов. Русский язык и литература» не похожа ни на одну из тех, о которых у нас шел разговор. Написанная живо, свободно, она — единственная — предлагает читателю поду-

мать над страницами русской классики. Вот, скажем, «Горе от ума». «Да любой школьник считает, что это едва ли не простейшее, хрестоматийное, до конца ясное произведение. Так ли это?» Для автора книги не так. Для него и сегодня «Горе от ума», как сказал еще Блок, неразгаданное произведение. И он делает попытку побудить абитуриента к самостоятельному осмыслению произведения.

Здесь читатель не найдет шпаргалочных блоков для подверстывания нужного сочинения, но встретится с интересно подобранными высказываниями о литературе Овсяннико-Куликовского, Мережковского, Выготского, Цветаевой, Эйхенбаума, Тынянова, Лотмана, Эйдельмана, Непомнящего.

Книга эта не только другая. Она опровергает все то, что утверждалось в пособиях, о которых мы говорили выше. В ней разъяснено, сколь нелепо рядом с самоочевидным приписывать «я так думаю». В ней показано, к чему может привести пересказ поэзии прозой. Написано и о том, что сведение творчества Пушкина к «выражению идей декабризма» бесконечно обедняет его.

Тем горше, что в подходе к самому типу экзаменационных сочинений и оценке их автор книги остается на догматических позициях. В книге, где так хорошо написано о комедии Грибоедова, выпускникам школы рекомендуется следовать молчалинскому принципу «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь»: «возникает едва ли не самый важный для нас вопрос: какое собственное литературоведческое или иное открытие может сделать юный читатель, только-только приобщившийся к великой литературе?». Для автора книги ответ безапелляционен: только «знакомство с талантливыми книгами и статьями о русской литературе помогает будущему абитуриенту создать у будущего экзаменатора вполне обоснованное впечатление об уровне собственной культуры, о широте кругозора, о понимании сложных проблем, предлагаемых в экзаменационном сочинении». Меня же мой учительский опыт убедил в обратном: сколько раз живое сегодняшнее восприятие классики открывало мне в ней то, мимо чего сам я прошел.

Другое дело, что такие открытия невозможны в тех экзаменационных темах прошлых лет, которые приводятся в книге: «Черты классицизма и реализма в «Горе от ума» А.С.Грибоедова», «Жанровое своеобразие «Евгения Онегина», «Идея свободы в творчестве Пушкина и Лермонтова», «Новаторство В.В.Маяковского в сфере поэтической образности», «Философская лирика А.С.Пушкина», «Духовные искания Андрея Болконского». Все эти и подобные им экзаменационные темы, приведенные в книге Л.Малышевой, рассчитаны на домашние заготовки, на выученность. А многие темы — не освоить без репетитора. И в этом, кстати, важнейшие рифы на пути в университет, о котором книга скромно умалчивает.

## Новинки девяносто четвертого

Могут сказать, что в наше стремительное время писать о книгах, изданных в девяносто третьем, это смотреть во вчерашний день. Но школа — учреждение достаточно инерционное. И то, что сделано вчера, утвердится в ней даже не сегодня-завтра. Вот уже в 1994 году журнал «Русская словесность» печатает статью И.В.Путиной «Проблема сочинения, или Печальный опыт абитуриента». Автор статьи сетует на уровень сочинений поступающих в МГУ и приходит к выводу, что «пора принципиально изменить курс литературы в школе», а методистам в своей работе учитывать... знакомое нам с вами пособие по литературе А.А.Смирнова. Можно себе представить, в каком направлении мыслится это самое принципиальное изменение курса литературы в школе. Так что изданное в девяносто третьем достаточно злободневно и накануне девяносто пятого.

И все же в начале нового учебного года я иду в московский магазин педагогической книги. «Что нового покажет нам Москва?» На прилавке три выпуска методических пособий для поступающих в вуз по обучению сочинениям и пять выпусков методических пособий для учащихся 9, 10 и 11 классов по обучению сочинениям. Все восемь выпусков — издания братьев Грининых, Волгоград, 1994. Тексты сочинений с комментариями по всем программным темам и на все случаи жизни. Есть тут и традиционные: «Я вас любил... (по лирике Пушкина)», «Судьба Катерины», «Я лиру посвятил народу своему», «Рахметов — «особенный человек». Есть и вполне современные: «Великий перелом» или великая трагедия крестьянства (по роману Шолохова «Поднятая целина»), «Осуждение сталинизма в произведениях современной литературы», «Поэма «Реквием»

Анны Андреевны Ахматовой как выражение народного горя», «Герои нашего времени (о Н.В.Тимофееве-Рессовском, герою гранинского «Зубра», и героях романа Дудинцева «Белые одежды»).

Особенно полезны будут заканчивающим школу и поступающим в вузы сочинения о своем личном отношении к литературе и жизни. А зачем, в самом деле, задавать себе вопросы, думать, искать слова для выражения своего, личного, сокровенного, когда все для тебя уже сделано: «Как я отношусь к поэзии Маяковского», «Мои любимые герои в романе Горького «Мать». Вот, скажем, вторая из названных здесь тем: «Мне кажется, что Андрей Находка в 1917-1918 годах оказался бы в рядах тех революционеров, которые осудили большевиков за их торопливость, нежелание считаться с мнением народа и других партий, за их террор и насилие. А если бы он пережил 1918, то, наверное, оказался в рядах Белой Гвардии». Конечно, где же теперь оказываться «моим любимым героям» литературы!

И если ученику или выпускнику нужно рассуждать, скажем, о преподавании истории в ЕГО школе, то тоже уже все готово: «В нашей школе... Я считаю... Мне думается, что было бы полезно, если бы на уроках истории чаще появлялись примеры из литературы»... И «мысли выпускника о школе» тоже уже заранее сформулированы: «Учителя в школе были разные: умные и не очень, добрые и злые, опытные и молодые. Но я считаю, что в целом все они молодцы...»

Да что там уроки истории или все учителя вместе взяты! Вот готовый текст сочинения на тему «Без Бога жить нельзя»: «Я никогда не забуду дня, когда впервые попал в церковь. Было это три года назад. Стояло лето...» (Летом девяносто четвертого подобное сочинение о поездке в монастырь — слово в слово списанное из статьи в журнале «Литературная учеба» — пришло в медальную комиссию нашего округа для утверждения пятерки на получение золотой медали).

Все становится разменной монетой: прошлое и настоящее, идеи и идеалы, трагическое и прекрасное, святое. Только не думайте, что суть дела в том, что перед нами этакая волжская провинциальная история.

Постановлением, подписанным Черномырдиным, в школах вводятся государственные стандарты. И вот «Учительская газета» в 1993 году печатает госстандарт по литературе (потом, правда, объявили, что это всего лишь проект для обсуждения). Там, в частности, предусматривается «оценивание ответов учащихся способом сопоставления с эталонным ответом, предусматривающим как различные допустимые толкования содержания вопроса, так и вариативность словесного его выражения». И вот вам пример того, как сопоставляют с этим самым эталоном: «Например, ответ на вопрос к фрагменту сказки-были М.Пришвина «Кладовая солнца» — «Что в поведении Нasti привлекает и что, на твой взгляд, заслуживает осуждения?» — сопоставляется с таким эталоном: «В Нaste привлекает трудолюбие, увлеченность делом. Достойны осуждения жадность, черствость, равнодушие к брату. Возможно использование любых синонимов этих нравственных понятий. Допустимо, если один из этих мотивов поведения Нasti раскрывается подробно».

Нет, нет вы только подумайте: спрашивают ученика, что ТЕБЯ привлекает и что, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, заслуживает осуждения, — и сопоставляют ответ с заранее утвержденным эталоном. Это, как говорится, мы уже проходили.

Но вернемся в магазин педагогической книги. Судя по всему, и эти методические пособия уже вчерашний день. На прилавке четыре выпуска «Готовых сочинений для школьника и абитуриента»: «Поэзия», «Литературные герои», «Русская и советская проза», «Публицистика». В каждом выпуске двадцать сочинений. Напечатанные микроскопическим шрифтом в две колонки, сочинения расположены так, чтобы начало сочинения было на одной стороне листа, а его окончание на противоположной. Остается взять ножницы и вырезать готовую шпаргалку. Вот вам логическое завершение методики натаскивания на экзаменационные сочинения. Все. Конец. Дальше ехать некуда. Какие там рифы и мифы?! Рифы — в море, а здесь стоячее болото.

Виктор Дос

## Будни Вечного города

**Р**им состоит из камней и любви. Во всем, что не касается этих вечных предметов, римляне с удовольствием валяют дурака, интуитивно чувствуя, что все остальное не столь уж важно. Правда, что касается любви и столь обожаемых ими камней, римляне сплошь и рядом тоже валяют дурака, но зато столь искренне и вдохновенно, что порой доводят этот процесс до уровня искусства. А такое уже достойно быть запечатленным в камне и заслуживает любви.

### 1

В Риме вовсе не обязательно сразу идти смотреть Колизей — можно просто высунуться из окна моего дома на пятом этаже по улице Экви в районе Сан-Лоренцо, и уже будет интересно. Первое, что увидишь, — это двое-трое таких же зевак, которые висят из своих окон в доме напротив в десяти метрах от вас. В Сан-Лоренцо все улицы такие неширокие, и это уже само по себе создает нескучную жизнь.

В окнах напротив можно видеть хорошо знакомые бесконечные сериалы типа «Небогатые тоже не скучают». Здесь многие увлекаются подобным жанром, и это создает весьма специфический итальянский колорит беззвучного коллективного переплетения сразу множества семейных жизней, годами идущих рядом, параллельно друг другу. Здесь тоже возникают свои устойчивые привязанности, антипатии и герои. Я не большой любитель этого жанра, но даже я не могу не видеть, что в квартире на втором этаже ремонт идет уже второй месяц, и ребята, которые им занимаются, — такие же разгильдяи, как и у нас в России, хотя хозяйева квартиры, очевидно, платят им неплохие деньги. И я начинаю замечать, что постепенно раздражаюсь, выглядывая в окно, начинаю сопереживать и ловлю себя на мысли, что хочется сказать этим горе-ремонтникам все, что я о них думаю, — коротко и емко. А в окне на третьем этаже все время что-то едят. Мне до них нет никакого дела, но так тоже нельзя — как ни погляжу, нет ли дождика, а они опять сидят с кучей родственников за столом и опять что-то жуют и жуют — ну сколько же можно, в конце концов! А эта черноволосая девушка в окне напротив, тоже на пятом этаже, каждый день дрыхнет до одиннадцати. Всякий раз, когда она заспанная распаивает ставни и потягивается, мне хочется ей сказать «Доброе утро!», но пока я сдерживаюсь.

Первый этаж дома напротив занят общественными точками: бар «Чайная», ночной бордель под очень уместным названием «Прима-балерина», булочная, оводная лавка и пиццерия-ресторан «Афродита».

«Чайная» — это просто какое-то недоразумение, потому что римляне чай не пьют, и здесь всегда идеально пусто. Почему она не прогорает, не понятно — видимо, как говорят итальянцы, здесь что-то не просто так. «Чайная» примечательна еще и тем, что в ней имеется телефон-автомат — единственный на весь район, — в связи с чем снаружи на стене торчит большой круглый знак с изображением телефонной трубки. Однако чужаки в эти края забредают редко, а местные жители прекрасно знают, что вот уже не один год, как телефон-автомат сломан, и поэтому его символ на стене давно уже никого не впечатляет.

Ночной бордель меня раздражает — не дает мне спокойно спать. Он закрывается около двух часов ночи, и в это время из него выплескивается на улицу около двух десятков синьоров и синьорин. Все они громко и страстно прощаются в течение получаса. Все это время весь окружающий мир густо заполнен пылками «чао!-чао!-чао!-чао!-чао!-чао!..», громким чмоканием поцелуев, душераздирающими рыданиями заводящихся мотоциклов и хлопаньем автомобильных дверей. Спокойно спать во время этой драмы прощанья просто невозможно. Хочется плакать и молить Господа, чтобы эти люди однажды соединились навсегда и больше никогда-никогда не расставались.

Всякий раз, когда я покупаю хлеб в булочной дома напротив, ее хозяйка сокрушенно качает головой. Однажды она не удержалась и спросила, сколько я плачу за свою квартиру. Услышав, что ежемесячно я отдаю семьсот пятьдесят милей\* (без учета электричества, отопления и телефона), она охнула и запричитала, что эти паразиты (кто именно, я не понял) совсем потеряли всякий стыд, и что это больше, чем пенсия большинства стариков и старух Сан-Лоренцо. Я с ней, конечно же, согласился, дескать, действительно, «дерут с трудящихся втридорога». С тех пор она считает меня жертвой «этих бесстыдных паразитов» и относится ко мне с большой симпатией. Тем более что я регулярно покупаю у нее хлеб.

А вот толстая хозяйка овощной лавки рядом с булочной, где я изредка покупаю сладкий перец и виноград, меня явно недолюбливает. Возможно, что та сумма, которую я плачу за квартиру, вызывает у нее вовсе не сострадание, а как раз противоположное чувство. В том, что величина моей квартплаты стала известна всему району, у меня нет никаких сомнений. Но, скорее всего, она меня недолюбливает просто как иностранца. Здесь встречается два варианта такой нелюбви. Первая: «Понаехали сюда в нашу маленькую бедную Италию богатые жирные коты — честным труженикам житья нету», а вторая: «Понаехали сюда нищие со всего света, а Италия — страна маленькая, на всех не хватит». Странным образом, она, видимо, недолюбливает меня обоими вариантами сразу.

Рядом с овощной лавкой располагается пиццерия-ресторан «Афродита». Всей округе, и мне в том числе, хорошо известно, что хозяин этого заведения — фашист. Кто там у него ужинает по вечерам, понять трудно, но я туда не хожу. Я предпочитаю говорить, что не ужинаю в этой пиццерии по идейным соображениям, а не потому, что мне это не по карману.

Дом, в котором я живу, — такая же пятиэтажная коробка, как и дом напротив. Подобными домами застроен почти весь район Сан-Лоренцо — это кварталы, которые можно считать римскими новостройками. Здепним домам немногим более ста лет. Это довольно унылый возраст: очарование средневековой древности уже утрачено, а комфортные прелести современной цивилизации еще не появились. Я имею в виду прежде всего лифт, водопровод и отопление.

Что касается водопровода, то такое впечатление, что с тех пор, как пару тысяч лет тому назад римляне впервые в мире сделали это гениальное изобретение, они не особенно продвинулись по части его совершенствования. Во всяком случае горячая вода в квартирах возникает исключительно посредством титана, причем в моей квартире его мощности хватает только на помыв послеобеденной посуды, а напор напоминает плач Бахчисарайского фонтана. Отопление же в квартирах проявляется крайне ненавязчиво: оно слегка оживает на два часа утром и на два часа вечером, так что в течение трех зимних месяцев температура в квартире держится в районе четырнадцати градусов. Должен сказать, что если сутками находишься в двух свитерах, и при этом чуть ли не ежедневно слышишь от таких же укутанных аборигенов заявления типа: «Да, Россия — страна интересная, но уж очень у вас там холодно!» — то это утомляет.

А сейчас про лифт. С этим чудом современной цивилизации в домах Сан-Лоренцо дела обстоят, как правило, очень просто: лифтов нет. Здесь, впрочем, есть свои резоны: в домах обычно только пять этажей (по высоте — около семи наших), да и вообще всем этим старикам и старухам полезно двигаться. В моем доме, правда, все несколько сложнее: лифта здесь тоже нет, но зато его строят. Вот уже прошел год, а его все строят.

Нужно отметить, что у итальянцев «строят» немного по-другому, чем у нас. У нас обычно приходят какие-то замызганные вежно усталые обормоты, разводят грязь, и дальше месяц за месяцем (или год за годом) уныло что-то передвигают с места на место. У них все не так: здесь подъезжают энергичные хорошо одетые ребята, с криком, бегом и размахиванием рук заинтересованно осматривают место будущего строительства, затем с криком, бегом и размахиванием рук разгружают стройматериалы, разводят грязь и уходят. И не появляются

\* Милля по-итальянски значит тысяча — это базисная единица местного ценоисчисления, в котором, за исключением автобусных билетов и кофе в недорогих барах, счет идет на тысячи лир. До самого последнего времени один доллар устойчиво равнялся в Италии приблизительно 1200 лирам, однако с началом около года назад итальянской «перестройки» лира вступила в захватывающее соревнование с рублем, и исход этого соревнования теперь не столь очевиден, ибо осенью 1993 года один доллар уже стоил около 1700 лир.

несколько месяцев. В какой-нибудь из дней эта шумная команда появляется снова, устраивает страшный галдеж, начинает судорожно что-то переносить с места на место, снова разводит грязь и после этого опять исчезает на несколько месяцев. В один из таких «налетов» эти строители устроили такой грохот, треск и трудовой энтузиазм, что мне стало казаться, что не иначе как вечером намечено прокатить в лифте какого-нибудь члена Политбюро. Действительно, за этот день была полностью смонтирована и сварена вся лифтовая шахта, а в ней установлены мотор, все тросы и сам лифт. После этого стало казаться, что практически дело сделано. Эти ребята сказали, что теперь осталось только установить электрическое оборудование, и лифт готов к употреблению, однако, электричество — это не по их части. С тех пор снова прошло уже несколько месяцев...

Пока с пользой для здоровья ходим пешком. Правда, ходить могут не все: на моем этаже живет одинокая старушка, которая преодолеть пять этажей уже не очень в состоянии. Каждое утро она высовывается из окна и спускает на веревке с крючком небольшую плетеную корзиночку с деньгами. Далее кто-нибудь из знакомых прохожих бежит в соседний бар, покупает ей кефир и булочку, кладет в корзиночку, и бабушка поднимает ее наверх.

Еще на первом этаже моего дома есть лавка под названием «Феррамент», или, говоря по-нашему, хозяйственный магазин. Здесь часто кучкуются местные мужчины и подолгу со знанием дела толкуют о всяких железках. Ко мне в этом магазине относятся пренебрежительно. И даже не из-за моего иностранного происхождения, а просто потому, что мужчину, который плохо отличает шуцер от шпинделя, невозможно воспринимать всерьез.

## 2

Если посмотреть из моего окна налево, то внизу можно увидеть небольшую площадь (*пьяцца* по-итальянски) де Кампани. Эта пьяцца, имеющая форму неправильного многоугольника и размер не более ста квадратных метров, совершенно необычна для города Рима. Уникальность ее в том, что на ней нет ни одного фонтана. Существует красивая легенда, что все римские площади зарождаются из фонтанов. И действительно, в Риме можно найти фонтаны, вокруг которых еще не размылись площади, но площадей без фонтанов не бывает. Моя пьяцца де Кампани — это удивительное исключение. Возможно, она такая древняя, что ее фонтан уже давно пересох.

Так или иначе, но в центре этой площади, там, где когда-то, может быть, бил фонтан, теперь стоит огромная пластиковая тумба ярко-зеленого цвета с дырой сверху. Она поставлена для тех, кто озабочен экологией и не желает загрязнять окружающую среду пустыми бутылками. Таковых во всем районе едва ли наберется два десятка, однако, возможно, из-за переживаний об экологии, пьют они так, что за пару недель тумба наполняется полностью.

Я не противник экологии, но эту тумбу я не-на-ви-жу. Она меня раздражает даже больше, чем бордель «Прима-балерина». Вот послушайте. Примерно раз в две недели около половины пятого утра (!), когда я как раз успеваю успокоиться после драмы прощания завсегдаев борделя, к этой тумбе подъезжает огромная зеленая машина. Специальным подъемником она поднимает тумбу высоко над своим экологическим чревом и открывает у нее днище. Вам когда-нибудь приходилось слышать, как бьются сразу несколько тысяч стеклянных бутылок, брошенных с высоты четырех метров? Уверяю вас, в половине пятого утра воздействие на психику этого экологического вопля по своему напряжению и остроте может сравниться разве что с эффектом сигнала атомного нападения.

Теперь, когда я слышу заявления, будто Россия — это единственная страна, где различные благие нововведения обязательно делаются как бы через задницу, мне становится смешно.

Кроме уже упоминавшейся «Чайной», на площади имеются еще один бар без названия, пиццерия и аптека.

Безмянный бар обладает чрезвычайно редкой для Рима особенностью быть открытым по воскресеньям. Нужно отметить, что в жизни итальянцев и в особенности римлян существуют две главные святыни — Дева Мария и отдых. То есть состояние отдыха — это нечто абсолютно неприкосновенное, и на него не смеет посягать никто, ни при каких обстоятельствах. По отношению к отдыху, как и по отношению к Богоматери, никакие здравые рациональные рассуждения



неприменимы. Просто есть такая данность: воскресенье — это день отдыха. Поэтому в воскресенье Рим вымирает, ибо в этот день в городе не работают ни магазины (в том числе и продовольственные), ни бары, ни кафе. Лишь на вокзале да еще в самых туристских местах отдельные самые беспринципные ловцы чистогана поступаются святыми принципами и держат свои заведения открытыми.

Вообще про любовь римлян валять дурака можно сочинить отдельную поэму. Начать с того, что, видимо, потребность римской души в святом отдыхе столь велика, что пережить целую неделю от воскресенья до воскресенья она просто не в состоянии. Поэтому в четверг после обеда во многих магазинах устраивается еще полдня отдыха. Ну и еще можно добавить, что к воскресному отдыху все начинают дружно готовиться уже в субботу после обеда, а выходят из него тоже постепенно — как правило, только в понедельник после обеда.

Пережить обычный рабочий день с утра до вечера тоже может далеко не каждый, поэтому во многих магазинах и учреждениях обеденный перерыв тянется с часу до четырех и даже до пяти вечера. Банки работают только до обеда, а бюрократические конторы только до обеда и только в понедельник, среду и пятницу.

Но, кроме этого, существуют еще и праздники. Прежде всего, это, конечно, рождественские каникулы, которые итальянцы, на зависть всему миру, празднуют с 23 декабря до примерно середины января (здесь у кого как получается). В сам праздник Рождества Рим производит впечатление города, на который сбросили нейтронную бомбу — все дома на месте, а вокруг ни души, и не работает даже транспорт, включая метро. В феврале празднуется целая неделя — эти дни называются «карнавале» (карнавал). Далее следует тяжелый нудный период без праздников вплоть до 25 апреля, когда итальянцы празднуют победу во Второй мировой войне над фашистской Германией (у нас, я думаю, не все об этом знают). Да-да, они победили в той войне раньше всех. Потом шумно празднуется 1 и 2 мая — день международной солидарности трудящихся, ну а потом, хотя и неофициально, еще и 8 мая — из солидарности со всей остальной Европой, которая, как-никак, тоже победила в той войне. Весь этот период с 25 апреля до 8 мая, куда попадают еще и воскресенья, выйти из состояния отдыха по-настоящему так и не удается. Потом наступает теплое расслабляющее лето, и хотя там есть еще какие-то праздники, они уже не имеют большого значения, потому что с середины июля по конец августа все равно сладостный период летних отпусков. Ну и, наконец, в начале декабря отмечается один из самых важных для Италии праздников — Праздник Непорочного Зачатия, когда, как и в Рождество, замирает даже транспорт. Кю всему этому нужно добавить еще один сугубо итальянский феномен: если праздник попадает на вторник или на четверг (и уж тем более если на пятницу), между этим праздником и ближайшим выходным обязательно устраивается «пóнтэ» (мост), то есть в этот промежуток тоже никто не работает.

Я это все рассказываю просто к тому, что если бы существовало звание Героя Итальянского Труда, то владелец безмянного бара под моими окнами его получил бы одним из первых.

Пиццерия на пьядца де Кампани не примечательна ровным счетом ничем. Каждый вечер там едят вкусные вещи, пьют хорошие вина и иногда поют душевные песни. Единственная необычная услуга, которую здесь иногда оказывают клиенту, состоит в том, что изредка его при входе окатывают грязной водой, оставшейся от мытья полов. Я неоднократно и, не скрою, с удовольствием наблюдал эту процедуру из своего окна. Дело в том, что этажом выше живет простодушная толстая женщина, которая изредка моет свой балкон, расположенный прямо над входом в пиццерию. Большой щеткой она энергично гоняет по балкону с полведра грязной воды, ну и понятно, куда вся та сразу же выливается. В действительности эта полноватая итальянка — сама доброта и наивность — просто она очень забывчивая. Боже, как она каждый раз потом извиняется и раскаивается — вы бы видели! И посетители в общем-то довольно быстро остывают и прощают эту славную женщину — они ведь тоже люди и видят, как она переживает.

Аптека рядом с пиццерией тоже совершенно обычная. Я туда заходил единственный раз, когда во Французском посольстве в Риме для получения визы на въезд во Францию с меня почему-то потребовали принести результаты анализа мочи. Я зашел в аптеку посоветоваться, как мне быть. Милая итальяночка немедленно мне выдала пакетик со стерильной баночкой стоимостью в три бутылки «Кьянти». Обаятельно стесняясь, она сказала, что я просто должен в эту баноч-

ку... наполнить и все. Я спросил, а куда я потом должен ее отнести? Она ответила, что не имеет ни малейшего понятия, но на моем месте она отнесла бы это туда, где это просили. К счастью, дипломатического скандала удалось избежать — лабораторию я разыскал сам. Там с меня взяли стоимость еще трех бутылок «Кьянти» и выдали соответствующую бумажку, позволившую мне посетить мнительную Францию.

## 3

Если же посмотреть из моего окна направо, то можно увидеть всю улицу Экви. Несмотря на свою весьма скромную ширину, оставляющую возможность лишь для одностороннего движения, — это, тем не менее, главная транспортная артерия Сан-Лоренцо. Вся она по обеим сторонам, включая и тротуары, в полном беспорядке сплошь заставлена машинами, и для проезда остается лишь самая середина, да и то не всегда. Другие улицы еще уже и заставлены машинами еще больше. Таким образом, весь район представляет собой сложную сеть узких улочек с односторонним движением, на которых две машины не могут разъехаться в принципе. Последствия этого самые впечатляющие.

Представьте себе, что произойдет, если где-то на одной из таких улиц какая-нибудь машина почему-то остановится на проезжей части (тем более что остановиться ей все равно больше негде)? Правильно — довольно скоро движение во всем районе будет полностью заблокировано. А теперь представьте себе, как могут вести себя эти эмоциональные, суетливые, вечно куда-то спешащие итальянцы, которых вдруг безнадежно заперли в их авто? Тоже правильно — они будут сразу же нервно гудеть, мигать фарами, размахивать руками, поминутно выскакивать из машины, чтобы вздеть руки к небу и крыть певучим итальянским матом все и всех вплоть до премьер-министра и Папы Римского. Такой вот грандиозный спектакль под открытым небом я могу наблюдать из своего окна по нескольку раз в день. Нет, вы только представьте: сотни гудящих и мигающих машин и еще больше мечущихся и размахивающих руками синьоров, орущих: «О, мамма миа! Кэ кáцц! Дóвэ квэсто пэццо ди крэтино?! Пóсса морирэ амаццáто дóве си трóвалл!» и т. д.

Первый акт этой захватывающей драмы начинается фактически по расписанию — около семи часов утра. В это время по улице Экви медленно-медленно едет огромная зеленая мусорная машина. Энергичные мусорщики в элегантной зеленой униформе и *белых* перчатках весело подкатывают к этому экологическому монстру большие мусорные баки на колесах, и машина их опрокидывает в себя с помощью специального подъемного устройства. Баков на улице Экви и окрестных переулках слава Богу хватает (ибо мусоропроводы в здешних домах не предусмотрены), и поэтому зеленый экологический бегемот большую часть времени просто стоит. Заглатывая и перемалывая мусор, он громко урчит, рычит и чавкает какими-то глубокими злорадными звуками. А в это время... А в это время весь Сан-Лоренцо просто сходит с ума. Около получаса весь район гудит, воеет и рвет на себе волосы. Исполняется такая вот грандиозная утренняя побудка здесь с той же фатальной неизбежностью, как в совсем недавние времена был неотвратим Гимн Советского Союза в шесть часов утра через не выключенный вовремя репродуктор.

Повторения этого захватывающего спектакля в течение дня несколько менее предсказуемы, однако столь же неизбежны. Чаще всего очередной затор возникает из-за того, что какой-нибудь синьор вдруг очень захочет выпить кофе. Поскольку поставить машину на обочину невозможно, синьор оставляет ее прямо посреди дороги на том самом месте, где он возжелал взбодриться ароматным напитком, и спокойно идет в ближайший бар. Я не шучу — все это шоу прекрасно видно из моего окна. И тогда, пока синьор не торопясь пьет свой кофе, водители вдоль всей улицы Экви и в прилегающих переулках встают на уши, начинают биться головами о свои лобовые стекла, выплескивают весь известный им запас нецензурщины и, разумеется, гудят, гудят, гудят... Окончание этого акта весьма характерно и, может быть, ярче всего иллюстрирует одну из главных черт национального итальянского характера. В тот момент, когда синьор допивает свой кофе, до него вдруг доходит, что весь этот трамтарам на улице устроил именно он. Исполненный раскаяния, он выскакивает из бара, видит, какой масштабный городской катаклизм произошел из-за одной невинной чашечки кофе,

и тут ему становится смешно. Поэтому к своей машине он возвращается опять не торопясь. Он идет спиной вперед вдоль длинной непрерывно гудящей колонны машин, обратясь лицом к беснующимся водителям, и грациозно по-дирижерски машет руками, как бы управляя всем этим адским концертом. И тогда всем сидящим в машинах тоже становится смешно, и они начинают в такт его дирижированию «подпевать» своими клаксонами, и это ставит последний самый сильный звуковой аккорд в разыгранном спектакле.

Я не знаю, как правильно назвать эту особенность итальянского характера. Поначалу я ею умилялся и считал, что это просто какой-то врожденный инфантилизм. Ну в самом деле — они ведь как дети: толстая синьора, моющая свой балкон, каждый раз забывает, что внизу ходят люди; если к продавцу в магазине пришел приятель, с которым они давно не виделись, то они так друг другу обрадуются, что заведут счастливый разговор на полчаса, совершенно забыв и про ждущих в очереди людей, и вообще про все на свете; если такие приятели встретятся на улице, они тоже забудут обо всем на свете и обязательно станут в самом узком месте тротуара (не забывайте, что все тротуары заставлены машинами, и места для прохода не так уж много) — они будут весело щебетать и размахивать руками, и каждый прохожий будет вынужден отодвигать их в сторону, а они потом будут снова самозабвенно становиться на прежнее место; если вы едете, стоя, в переполненном трамвае с ребенком на руках, то сидящий синьор будет сама любезность — он будет говорить ребенку «ути-ути-ути!», он будет искреннейше умиляться вашим чадом и восклицать «Кэ бэлло бамбино!», но ему никогда не придет в голову, что надо бы вам уступить место; а где-нибудь на скамейке парка такой же полный умиления вашим ребенком синьор, восклицая традиционное «Кэ бэлло бамбино!», будет совершенно искренне дымить в личико вашему чаду своей сигаретой. Все это не от вредности — Боже сохрани! — если синьору сделать тактичное замечание, то он, пораженный внезапным прозрением, вдруг схватится за голову, и потом вполне искренне раскается и, может быть, даже, размахивая руками, станет бурно извиняться. Однако все эти синьоры как-то так устроены, что некоторые вещи им самим просто не приходят в голову.

Надо сказать, что по истечении времени подобный «инфантилизм» стал мне напоминать скорее старческий маразм и совершенно перестал умилять.

#### 4

Существует еще один вид коллективного помешательства, достойно венчающий всю эту панораму буйно-веселого сумасшедшего дома под открытым небом.

Хорошо известна страстная любовь итальянцев к автомобилям — видимо, всем южным мужчинам свойственно желание чувствовать себя джигитами. Проявляется эта любовь, в частности, в том, что на всех машинах, которыми до предела забиты римские улицы, стоят противоугонные устройства. Сила и звуковой колорит этих противоугонных устройств таковы, что с непривычки может захотеться завывать самому, а если эта омерзительнейшая сирена воеет прямо под окнами, то возникает желание биться головой о стену.

Современная реальность римской жизни такова, что в обозримой близости от моего окна (самого обычного окна самой обычной римской квартиры) стоят сотни машин. И тогда возникает следующий феномен. Примечательно, как объясняют его сами итальянцы: «Вы же понимаете, люди стараются покупать противоугонные устройства подешевле, да и к тому же, вообще, это итальянское качество — сами знаете...». Короче, из-за «подешевле» и «итальянского качества» противоугонные устройства нет-нет да и срабатывают без всякого повода. А поскольку вокруг сотни и даже тысячи машин, то по статистике оказывается, что где-нибудь какая-нибудь обязательно воеет. Правда, к счастью, рядом с моим окном это случается обычно не чаще чем два-три раза в день.

Забавно, что сами итальянцы, в том числе и полиция, уже давно не обращают никакого внимания на воющие и мигающие машины, и поэтому как противоугонное средство этот вой давно потерял всякий смысл. Теперь он стал просто одной из неотъемлемых составляющих шумного дыхания большого города.

Вообще любовь местных жителей ко всевозможным шумовым эффектам просто безгранична. Особенно это заметно накануне новогодних праздников. Примерно недели за три до *Каподанно* (в буквальном переводе это означает «макушка года») в магазинах начинают продавать всевозможные хлопущки,

бомбочки, ракеты со взрывающимися головными частями и пр. Сделаны они из картона и практически безопасны для жизни, однако по силе звучания эти изделия не особенно уступают своим боевым аналогам. Самое распространенное взрывное устройство представляет собой небольшой пороховой заряд, плотно упакованный в картонный цилиндр длиной 2-3 сантиметра, из которого торчит короткий хвостик фитиля. Если у такой бомбочки поджечь фитиль и ее сразу же куда-нибудь бросить, то там, куда вы ее бросили, через две-три секунды произойдет громкий «ба-бах», синьорины начнут визжать, и будет очень весело.

С приближением Каподанно стрельба постепенно усиливается, и уже за несколько дней до главной ночи года повсюду слышна густая канонада. Вот как это выглядит из моего окна. Поздний вечер, уже наступили рождественские каникулы, и улицы почти пустыны. Вдоль улицы Экви, по самой ее середине, между беспорядочно припаркованными на тротуарах машинами вразвалочку идут два солидного вида синьора и о чем-то мирно беседуют. При этом такими же небрежными движениями, как у нас обычно лужают семечки, синьоры раз за разом лезут в оттопыренные карманы своих брюк, вынимают оттуда бомбочки, поджигают их от сигареты и, не глядя, швыряют под ближайšie машины. Спустя несколько секунд раздается громкий «бах», от чего в машине срабатывает противоугонное устройство, и она начинает отчаянно мигать всеми своими огнями и дико выть. Такая вот невинная предновогодняя шутка: идут себе два солидных синьора вдоль по улице, а за ними остается длинный шлейф мигающих и сходящих с ума машин. Ужасно смешно...

Однако все эти шалости меркнут по сравнению с тем, что творится в Риме в Новогоднюю ночь. Решающий огневой штурм начинается около десяти часов вечера. Город просто взрывается. Где свои, где чужие — понять совершенно невозможно: огонь ведется из окон каждого дома, стреляют из каждого подъезда, каждая площадь — это арена яростного сражения. Апокалипсис такого масштаба я видел ранее только однажды — когда телевизор показывал панораму штурма осажденного Бейрута.

Под моими окнами посреди пьядца де Кампани разношерстная публика судорожно запускала одну ракету за другой. Ракеты хаотически разлетались в разные стороны и взрывались на небольшой высоте, а сами ракетчики визжали так, будто каждым запуском они поражали самолет противника. На этих людей из темноты балкона третьего этажа над пиццерией сыпались гранаты. У подъезда моего дома, прямо под моим окном, какие-то партизанского вида энтузиасты методично лупили фугасами самого тяжелого калибра, от которых едва не вылетали стекла. А из окна четвертого этажа дома напротив каждые пять минут высовывался синьор с лицом, перекошенным гримасой типа «живым я не дамся», поджигал длинную ленту связанных фитилями крупных гранат, и тогда этот «тяжелый пулемет», заглушая все на свете, заставлял дрожать весь мой столетний дом, а сам я непроизвольно залегал на пол и закрывал голову руками. Когда же у всех этих бойцов временно заканчивались боеприпасы и вокруг моего дома устанавливалось зловещее затишье, можно было слышать грозный глухой рык более далекой канонады — тяжелые бои шли по всему городу.

Утренний пейзаж после битвы был не менее впечатляющим: совершенно пустой вымерший город, равномерно усыпанный слоем разноцветных картонных осколков...

Дети детьми — ну что с них возьмешь? Впрочем, пора выйти на улицу — там еще интереснее...

## 5

Приятно прогуляться по веселым улочкам Сан-Лоренцо и очень забавно общаться со здешними чудачками, однако избежать при этом разговора о местных коммунастах, к сожалению, не удастся.

Первое, что сразу же бросается в глаза на улице, — это «наскальная живопись» — или, выражаясь более изящно, «граффити», — покрывающая практически все дома вплоть до второго этажа. Мы привыкли, что в лучшем случае на заборах принято писать «Вася + Маня = любовь», хотя чаще — различные всем известные слова и иллюстрации к ним. В Риме деревянных заборов нет, зато полно каменных стен, а главное, в магазинах — изобилие всевозможных пульверизаторов с особо устойчивыми яркими синтетическими красками, которые со-

здают «живопись», рассчитанную на века. Большинство иностранных визитеров воспринимает это настенное многоцветье просто как некий замысловатый орнамент. Но я-то понимаю, что написано на римских стенах.

Разумеется, есть и «Вася + Маня = любовь», хотя в итальянской традиции, как правило, прийдѣто выразаться более непосредственно: «Паола, я тебя очень люблю!!!». Замечу, что по-итальянски эта великая фраза звучит так: «*Паола, ti voglio bene*», что в *дословном* переводе означает «Паола, я тебя очень хочу». Ну это так, к слову о лингвистическом выражении национального характера. Однако эта тематика, хоть и выполненная с большим чувством, в среднем, занимает не более трети стеной площади.

Все остальное, к сожалению, — это экспрессия, весьма далекая от любви. Достаточно совсем немного прогуляться по улочкам Сан-Лоренцо, чтобы узнать следующее: «Коссига (а также Андреотти, Рейган, Буш и Клинтон) — палач (а также мерзавец, убийца)!\», «Полицейские — твари!» «Смерть фашизму (а также расизму, капитализму, Коссиге, Андреотти, Рейгану, Бушу и Клинтону)!\», «Голосуйте за PDS!\», «Да здравствует коммунизм!\», и так далее в том же духе. Для не особенно сведущих в итальянских делах сообщаю: Коссига и Андреотти — это их традиционные политические лидеры, а PDS — *Partita Democratica della Sinistra* (Демократическая Партия Левых Сил) — это то, во что переименовала себя Итальянская Коммунистическая Партия. (Общепринятая и широко употребляемая аббревиатура PDS по-итальянски произносится «пидиэс», и это дало повод недоброжелателям заметить, что итальянские коммунисты после развала мирового коммунизма стали пидерастами.

Вот мы и пришли: на улочке, параллельной Экви, прямо напротив моего дома, располагается районное отделение этой замечательной партии. Говоря языком нашего недавнего прошлого, я живу по соседству с Санлоренцским райкомом партии.

Район Сан-Лоренцо — это традиционный оплот римских коммунистов, и если в целом по стране они всегда контролировали примерно треть политической и экономической жизни, то здесь они — доминирующая сила. Правда, в самое последнее время возникла некоторая неопределенность, потому что значительная и самая убежденная часть Санлоренцкого оплота наотрез отказалась превращаться в «пидиэсов» и влилась в отдельную партию «Рифондацѣонэ коммунизма», где они продолжают хранить чистоту Ученья и к своему названию часто добавляют «Коммуниста-Лениниста-Сталиниста». Таких убежденных, в общем-то, не так много, но зато они проявляют просто-таки необыкновенную активность в виде бесчисленных листовок, прокламаций, демонстраций и других шумовых эффектов, и поэтому очень даже заметны.

Однажды я наблюдал, как они пытались сорвать выступление Папы Римского на главной площади Университета. Образовав классический «клин», с воплями «Бога нет!» они врезались в толпу и стали пробиваться к трибуне, с которой Папа увещевал паству «давайте жить дружно». В результате я смог еще раз убедиться, что в этом обществе далеко не все так просто, потому что немедленно после первых же воплей «Бога нет!» значительная часть благоговейно слушавшей паствы мужского пола (и весьма крепкого телосложения) начала быстро и упорядоченно двигаться сквозь толпу наперерез коммунистическому «клинѣ». В считанные секунды, образовав живую стену, они сурово отразили коммунистическое нападение, а когда разочарованные «лениниста-сталиниста» рассеялись, эти крепкие ребята тут же рассосались в толпе и снова превратились в обычных мирных католиков.

Тем не менее весь Университет традиционно заклеен бесчисленными листовками и прокламациями твердых ленинцев, и даже в мужском сортире, там, где у нас обычно рисуют нехорошие картинки, все стены заполнены надписями, самая мирная из которых гласит: «Все мы хотим, чтобы несколько смелых ребят, таких, как Сталин, взяли власть и наконец навели в этой бардачной стране настоящий порядок!».

А однажды некий активист-обходчик даже пришел ко мне домой и предложил совершить идейный поступок: внести пожертвование в счет самой правдивой в мире газеты «Коммуниста-Лениниста». Я ответил, что, к его сведению, я вообще-то из России, и посмотрел на него так выразительно, что он тут же ретировался.

В отличие от этих психов «пидиэсы» ведут себя значительно более respectfully. Они устраивают масштабные забастовки, проводят многотысячные демонстрации, вещают через один из трех общенациональных телеканалов и

вообще принимают участие в солидной политической жизни. Поэтому в Италии всегда бытовала точка зрения, будто их коммунисты совсем не «такие» — они цивилизованные, а к тому же всерьез добраться до власти у них нет никаких шансов.

Однако прошло всего лишь полтора года с начала итальянской «перестройки», и удивительным образом оказались разгромленными и сели в тюрьмы их главные политические противники — социалисты и христианские демократы. Теперь коммунисты (то бишь «пидиэсы») вместе со своими двойниками неонацистами стали в Италии доминирующей силой.

Такие вот дела. Однако Бог с ним, с коммунизмом, — к счастью (пока) это далеко не самое главное, что бросается в глаза на веселых римских улочках.

## 6

В двухстах метрах от райкома партии на площади, прилегающей к массивному католическому храму, располагается шумный рынок Сан-Лоренцо. Хотя по нынешним временам, казалось бы, нас уже ничем не удивишь, я, чтобы не впадать в мазохизм, пожалуй, воздержусь от описания этого пестрого места. Замечу лишь, что не только ассортимент, но и торговые традиции по отношению к некоторым продуктам на этом рынке существенно отличаются от наших. Когда я однажды, указав на картошку, сказал «четыре», синьора сочла совершенно естественным положить на весы четыре картошины. Пришлось уточнить, что я имею в виду четыре кило. Примечательно, что синьору это и удивило, и заметно обрадовало: шутка ли — попался, можно сказать, оптовый покупатель.

На обочине рынка в палатке, заполненной всевозможной зеленью, фруктами и овощами, ведет свою торговлю бабушка Адэле. Ей за шестьдесят, и ежедневно в течение последних тридцати шести лет своей жизни, за исключением воскресений и десяти дней в августе, она встает в четыре часа утра, чтобы до открытия рынка успеть принять от поставщика зелень, всю ее вымыть, обработать и красиво разложить на прилавке. Ее руки от этого почернели и потрескались. Адэле придерживается милых старомодных представлений о жизни: она считает, что все должны работать, и все должно быть по-честному. В результате с годами это выработало в ней глубокую обиду на весь мир. Если ее спросить, как дела, она вам скажет, что Италия — это страна жуликов, что хорошо здесь живут только ворюги, а честным труженикам остается лишь жалкое прозябание. Мне давно хочется познакомить синьору Адэле со Станиславом Говорухиным — думаю, они бы очень хорошо поняли друг друга.

Адэле, как и все итальянцы ее поколения, просто-таки обожает детей и страстно мечтает о внуках. И как у большинства таких же, как она, внуков, видимо, не будет, потому что их дети своих детей завести либо не могут, либо не хотят. В общем тут действительно дело дрянь — шутка ли, при их грузинском темпераменте, страна вышла на последнее место в Европе по рождаемости.

Как и все старики ее поколения, Адэле питает глубочайшее почтение к образованию, и мои слова «идти на работу в университет» вызывают у нее прямо-таки благоговение. Ее сын закончил физфак Римского университета и вот уже много лет занимается ремонтом квартир. По мнению синьоры Адэле, это произошло потому, что их семья не имела связей в университетском мире или достаточно денег, чтобы такие связи завести. Я достаточно пожил в этом их «университетском мире», и могу подтвердить, что в ее словах есть значительная доля истины.

Как и большинство итальянцев, синьора Адэле недолгобливает все американское, в том числе и их нахальный язык. Она до сих пор хорошо помнит и не может простить американские бомбежки Сан-Лоренцо, а кроме того ее ужасно раздражает, что эти эгоистичные, самодовольные и самоуверенные янки развращают неокрепшую молодежь. Кстати, самый простой способ потерять уважение и навсегда испортить свою репутацию в глазах почти любого итальянца — это сказать, что вам нравится есть в Макдональдсе.

Ну и, разумеется, как и все итальянцы, бабушка Адэле просто-таки обожает Горбачева. Это, кстати, единственный пункт, по которому у нее есть ко мне серьезные претензии: она никак не может понять, ну почему мы там в России обидели такого славного парня Мишу Горбачева?

Возвращаясь к столь не любимым синьорой Адэле итальянским жуликам,

должен сказать, что на эту необъятную тему нужно писать отдельную поэму. Они романтичны и театральны, как итальянская опера. Но поскольку в стихосложении я не силен, то расскажу лишь одну кратенькую, но весьма показательную историю.

Недалеко от рынка, на углу моей улицы Экви и улицы Тибуртина, напротив каменистого пустыря, называемого детской площадкой, где теперь, за неимением детей, выгуливают собак, есть небольшой магазин типа нашей «галантереи». С некоторых пор мне известно, что владелец этого магазина — жулик, и он прекрасно знает, что мне это известно.

Как-то я решил купить в подарок бусы из жемчуга. Я прекрасно знал, что почти все такие бусы, в изобилии продающиеся во всех магазинах, хоть и называются настоящими, однако сделаны из пластмассы, но однажды мне почему-то показалось, что в витрине одной небольшой лавки лежат бусы в самом деле из настоящего жемчуга. Сильно смущало, что они стоили всего лишь 40 милей, но продавец так клялся, так божился, так воздевал к небу руки, так закатывал глаза (а какие слова он говорил — это же поэма!), что я ему поверил. Правда, потом, когда я перестал слышать его клятвы, меня снова взяло сомнение, и я решил посоветоваться с владельцем «галантереи» на улице Экви, с которым мы всегда любезнейше раскланивались при встрече. Тот молча поскреб ногтем по одной из бусин, и под слезшей краской я увидел обычную пластмассу.

Боже, какие проклятия он стал метать в адрес того бесстыжего жулика, который так вероломно надул наивного русского мальчика, как он переживал и страдал! Я долго его успокаивал, а потом, чтобы как-то реабилитировать в моих глазах всю честную Италию, он предложил мне бусы его магазина. Они, правда, стоили 90 милей, но зато этот-то жемчуг был действительно настоящим. Синьор изо всех сил царапал бусины ногтем, заставил то же самое сделать меня, а потом так вдохновенно поднял руки к небу и сказал такие проникновенные слова, что я ему тоже поверил. Правда, это было для меня немножко дороговато, и пока я пребывал в сомнении, моя рука как-то сама собой взяла бусину и поставила ее на зуб. И когда я, поднатужившись, надкусил, с бусины-таки слезла эта прочная краска, и я увидел обычную пластмассу. Надо отдать должное владельцу магазина — избравив на своем лице чувство оскорбленного достоинства, он тут же стрел с прилавка все бусы, сухо бросил, что если продукция его магазина меня не устраивает, он меня больше не задерживает, и занялся другими покупателями.

После этого мне стало интересно, и я пошел в респектабельный ювелирный магазин на улице Тибуртина. Здесь все было очень серьезно: перед тем, как впустить клиента, его сначала внимательно изучают через бронированное стекло, внутри находится охранник с оружием и все облеплено сигнализацией. Два продавца за прилавком — сама солидность. Правда, когда я рассказал им свою историю, их солидность немедленно улетучилась, и они расхохотались как дети. Даже охранник забыл про свою пушку и со смеху чуть не повалился на пол. Успокоившись, эти ребята стали учить меня жизни. Они сказали, что только такой наивный русский мальчик, как я, может надеяться разыскать настоящий жемчуг в столь сомнительных торговых точках. А истинный жемчуг, вот он — под бронированным стеклом их магазина. Самые простенькие бусы здесь стоили 800 милей, однако покупать я уже все равно ничего не собирался, а меня интересовала лишь общая проблема: существует ли вообще в этой стране настоящий жемчуг, и, главное, кому же здесь можно верить? Увидев тень сомнения в моих глазах, они достали бусы и позволили попробовать их на зуб — этот жемчуг подобный тест выдержал с честью. Однако потом оба продавца стали так воздевать руки к небесам, так закатывать глаза и в два голоса произносить такие берущие за душу слова, что я им не поверил и ушел.

Когда синьора Аделе при каждой нашей встрече говорит, что Италия — это страна жуликов, я не знаю, как ей возразить. Строят, например, новое современное здание Римского университета «Tor Vergata», и вдруг, несмотря на самые тщательные предварительные расчеты, оказывается, что денег на установку кондиционеров почему-то не хватает, и здание сдают, как есть, хотя даже самому нерадивому студенту ясно, что в здешнем климате в подобной железобетонной коробке летом находиться совершенно невозможно. И тогда, спустя два года, приходится истребовать у правительства намного больше денег, чтобы опять все разворотить и все-таки установить в здании кондиционеры. Или, скажем, затевают колоссальный проект строительства скоростной железнодорожной ветки, которая бы соединила главный аэропорт Рима «Фьюмичино» с центральным

транспортным узлом города — вокзалом «Термини», и вдруг уже по ходу строительства оказывается, что, несмотря на тщательнейшие предварительные расчеты, денег на завершение проекта не хватает. И в результате скоростная ветка заканчивается в нескольких километрах от «Термини» просто посреди города новым вокзалом «Остиэнце», а люди вынуждены мотаться с вокзала на вокзал в метро или на такси.

Впрочем, подобные сюжеты до того нам знакомы, что даже скучно об этом говорить.

## 7

Поговорим лучше о цветах жизни — о детях. Метрах в трехстах от моего дома, в самом начале улицы Экви, имеется единственная на весь этот большой район Рима детская площадка размером сто на шестьдесят метров. Вся она покрыта крупным гравием — как и везде в этом городе, о траве остается только мечтать. На небольшом пятачке в углу площадки есть платные электрические карусели, крохотная железная дорога и еще макеты автомобиля, танка, лошади и паровоза, которые начинают гудеть и подпрыгивать, если бросить в небольшую щелочку специальный жетон, который можно купить здесь же. В остальном это место было бы правильнее назвать пустырем.

Нельзя сказать, что в Риме совсем нет детей — остатки этого исчезающего вида жителей Вечного города можно увидеть именно здесь, на детской площадке. Хотя собак встречается больше: дело в том, что этому пока еще не исчезающему виду жителей Рима так же, как и детям, выгуливаться больше решительно негде. Изо дня в день все они, и детишки, и собаки, толкуются вместе на гравии. Разница между ними состоит в том, что если детишки в худшем случае писают и какают себе в штаны — и тогда это забота их мам и пап, то собачки в любом случае все это делают под себя на гравий — и это почему-то никого не заботит. Ну просто как-то никому не приходит в голову. Еще одна разновидность обитателей площадки, которые заполняют ее поздним вечером, — это бездомные, пьяницы и молодые рокеры. И те, и другие, и трети оставляют после себя на гравии стекло битых бутылок.

Вот поэтому и получается, что когда мой маленький сын Андрюша, едва научившийся ходить, начинает познавать окружающий мир, подбирая валяющиеся у него под ногами предметы, то в лучшем случае ему попадается кусок собачьего дерьма, а в худшем — осколок стекла.

Господи, Рим — Великий Вечный Город! Самый красивый, самый очаровательный, самый величественный и обаятельный город в мире! Воистину так, но только в том случае, если вы приехали сюда ненадолго поразвлечься, поесть пиццу, попить «Кьянти» и «Капучино» или просто повалиться дурака. В принципе, при известной сноровке в этом городе можно даже жить. Но заводить детей здесь нельзя. Их существование в Риме просто не предусмотрено — как-то впопыхах за пиццей и автомобилями о них забыли. Теперь это занятие для отдельных чудаков-энтузиастов — такая же редкая и дорогая экзотика, как дельтапланеризм. Ну посудите сами: не говоря уже о том, что здесь им некуда деваться, по чисто рыночным причинам детишки, как всякая экзотика, стали безумно дорогим удовольствием, ибо любая детская вещь — будь то трусики или сандалики — стоит несравненно дороже своих взрослых аналогов. В жизни это выглядит довольно своеобразно: «На какую покупку решиться — себе кроссовки за 40 мильей, хороший японский приемник с цифровой настройкой за 85 мильей или сандалики сынишке за 80 мильей?» Короче, в рядовой итальянской семье, чтобы содержать одного ребенка, должны работать двое (если, к тому же, они заранее за несколько лет накопили денег), но тогда нужно нанимать няньку, а нянька тоже стоит немало — поэтому, может, лучше жене не работать, и тогда не нужно нанимать няньку, однако, тогда не хватит денег на ребенка... В общем, есть пиццу и смотреть в телевизор намного проще и приятней.

А поликлиники, больницы — это ведь тоже целая поэма! Так же, как и у нас в совсем недавние времена, медицина здесь общенародная и бесплатная. И если бы не врожденная итальянская романтическая игривость во всем, то не о чем было бы рассказывать — ну просто все, как у нас, — а так получается даже весело. Вот послушайте.

Наш маленький Андрюша совсем недавно начал ходить, и вот (о ужас!) мы



замечаем, что наш обожаемый, лучший в мире ребенок не совсем правильно ставит правую ножку. Естественно, по нашей российской привычке, с воплями «доктор! доктор!» мы немедленно хотим бежать к детскому ортопеду. И тут начинаются чудеса. Во-первых, я обнаружил, что спрашивать у окружающих, где можно найти детского ортопеда — это примерно так же, как на улицах Москвы спрашивать мастерскую по починке дельтапланов. Ну ладно, в конце концов можно пойти в обычную поликлинику, и там что-нибудь да подскажут. Однако не тут-то было. В обычной поликлинике обнаруживаются вполне заурядные советские очереди, вся эта родная наша бестолковщина, и разговор начинается с вопроса, в каком районе вы прописаны (далее обычно следует требование сдать анализ мочи, но, скажу сразу, до этой стадии мне так и не удалось добраться). Все дело в том, что если медицина бесплатная, то, как все мы, наверное, еще помним, обслуживание производится по месту жительства.

Если вам кто-нибудь еще раз скажет, что Советская Россия — единственная страна, придумавшая институт прописки, плюньте ему в глаза! В Италии — это не штамп в паспорте, а отдельная корочка под названием «карта резидента». Помните наше: «чтобы устроиться на работу, нужна прописка, а чтобы получить прописку, нужно устроиться на работу»? В Италии немножко по-другому: чтобы получить «карта резидента», нужно иметь официальное место жительства и постоянную работу, а чтобы получить официальное место жительства (снять или купить квартиру), нужно иметь «карта резидента». Про постоянную работу я уж и не говорю — для иностранца такой вопрос решается на уровне правительства республики. А без «карта резидента» официально нельзя ни снять квартиру, ни купить автомобиль, ни даже бесплатно сдать анализ мочи. Но если не спрашивать, как это сделать официально и тем более, если заплатить, то можно все. Ну например: хозяйка отдала мне ключи от квартиры, а я ей за это каждый месяц отдаю деньги. И при этом все довольны: я, потому что мне есть, где жить, хотя у меня нет «карта резидента»; хозяйка, потому что она при этом не платит налоги; а государство, потому что я не лезу к нему со своими проблемами — ему и без меня уже тошно от своих собственных проблем.

Короче, из поликлиники я ушел ни с чем. Разумеется, в Италии существует и частная, платная медицина, где есть специалисты на все случаи жизни и где с огромной радостью примут любого, кто способен заплатить, однако платить здесь нужно так много, что рассчитывать на этот вариант я (как и любой рядовой итальянец) мог только в самом крайнем случае.

Тем не менее я жил не где-нибудь, а в Италии, — а это кое-что да значит! Поэтому всем своим знакомым я стал (в весьма мягкой форме) говорить, что у меня складывается впечатление, будто в этой стране макаронников даже невозможно показать ребенку врачу. Результат был следующий: один мой коллега по университету сказал, что у его жены есть двоюродный брат, жена которого часто играет в теннис с каким-то синьором, работающим где-то в поликлинике, и что он постарается все устроить. Через неделю этот коллега действительно все устроил, однако, к сожалению, детская ортопедия оказалась здесь такой экзотикой, что к соответствующему специалисту нужно записываться на очередь, и с этим, увы, ничего поделать нельзя. Мне было сказано (честное слово, я не шучу!), что к началу марта подойдет очередь, чтобы записаться на очередь, а сам прием состоится где-то к концу мая, при том, что разговор происходил в середине января.

Даже по советским меркам — это было слишком, и я продолжал дразнить всех своих знакомых, говоря, что, дескать, хотя у нас в России пиццу делать и не умеют, но если бы кому-нибудь потребовался детский врач, то это можно было бы устроить уж во всяком случае быстрее чем за пять месяцев. Вообще мне показалось, что некоторые из моих знакомых узнали от меня довольно много и о своей собственной стране, и о том, что в других странах взрослые люди обычно имеют обыкновение заводить детей.

В конце концов сестра моей квартирной хозяйки придумала очень изящный способ попасть к ортопеду. Она предложила проникнуть к этому специалисту через «скорую помощь» под предлогом внезапной травмы. В шесть часов утра мы погрузили полусонного ребенка в ее машину и поехали в поликлинику. Столь раннее время было необходимо, чтобы успеть пройти все формальности на приемном пункте скорой помощи и попасть к врачу до того, как на него насядет очередь или он убежит куда-нибудь пить «Капучино».

Как мы и условились, в приемном отделении скорой помощи огромной стайкой больницы я сказал, что накануне вечером мой ребенок то ли упал, то ли

ударился, и теперь у него что-то не то с правой ножкой. Синьора в белом халате осмотрела ножку, пожала плечами, исписала целый ворох каких-то бумаг и направила к педиатру. К сожалению, женщина-педиатр получила что-то из этих бумаг, и поэтому она стала у меня допытываться, как именно упал или стукнулся ребенок. Мне пришлось произнести длинную путаную речь, что в точности я не знаю как, и, может быть, он упал или стукнулся не накануне вечером, а скорее месяца два или три назад, хотя вероятнее всего он вообще не получал никаких травм, однако такое впечатление, что последний месяц он слегка кривит правую ножку. Доктор прекрасно все поняла, ухмыльнулась (дескать, надо же, иностранец, а тоже пронырливый) и стала смотреть, как ходит мой сыниска. Бедный невыспавшийся перепуганный ребенок ходить совершенно не хотел, а хотел плакать и жаться к маме, но когда его все же удавалось уговорить немножко пройти, с испугу он шел так напряженно, что ножки его ступали просто идеально. Доктор пожала плечами и направила нас к ортопеду.

До ортопеда мы добрались не сразу. Мы спускались на лифте, долго шли какими-то коридорами, снова ехали на лифте, опять шли и шли коридорами и, наконец, остановились перед нужным кабинетом. Везде проводился тяжелый ремонт: под ногами валялись штукатурка и прочий мусор, все было перегорожено стремянками, кто-то что-то красил, кто-то что-то долбил молотком. Среди всего этого строительного хаоса как ни в чем не бывало сновали люди в не очень белых халатах и больницах.

Доктор разговаривал по телефону, и поэтому нас попросили подождать. Прошло полчаса, и хотя доктор так и не закончил разговор, его ассистент пригласил нас в кабинет. Здесь тоже стояла стремянка, туда-сюда сновали строители, а все пространство вокруг докторского стола, наименее поврежденное ремонтом, было завалено тюками с какими-то бумагами. Доктор на минуту зажал ладонью микрофон телефонной трубки и предложил мне как можно более кратко изложить ему, в чем дело. Я изложил. Тогда он сказал, чтобы ребенка раздели догола, а сам продолжил телефонный разговор. Ребенка раздели. После этого доктор, не отрываясь от телефона, бросил: «Пусть он походит».

Представьте себе состояние бедного мальчика. Подняли в несусветную рань, привезли в какой-то сумасшедший дом, на холоде и сквозняках раздели догола, поставили босиком на ледяной каменный пол и предложили немножко погулять. При воспоминании об омерзительнейшей холодрыге, которая стоит в домах солнечной Италии зимой, меня самого до сих пор бросает в дрожь.

Короче, мой ребенок поступил так, как должен был поступить любой нормальный человек в его возрасте: он разревелся и ходить наотрез отказался. Очень долго его успокаивали и уговаривали — даже строители подключились, а доктор тем временем все более нервно разговаривал по телефону. Наконец, совершенно одуревший маленький мальчик сделал несколько шагов по направлению к маме, звавшей его из другого конца комнаты. И тут доктор взорвался — он бросил телефонную трубку, воздел руки к небу и завопил: «Бамбино нормалиссимо!!!». После этого, давая понять, что прием окончен, снова взялся кому-то звонить.

С тех пор к детским врачам в этой стране я не ходил. И вам не советую.

## 8

Прогулки по римским улочкам — это театр под открытым небом. Здесь вы все время видите, как люди не просто занимаются своими делами, разговаривают и целуются, а все свои действия превращают в такую страстную игру, будто это их премьера в «Ла Скала».

Про поцелуи на улицах Рима нужно рассказывать особо. Прежде всего очень популярны кратенькие романтические пьесы о встрече юноши и девушки, которые разыгрываются почти на каждом шагу. Длятся они обычно не более пяти минут, но на это время два актера полностью перекрывают движение по тротуару, ибо радость встречи столь велика, что влюбленные не в состоянии сразу же соединиться в трепетном поцелуе, а должны несколько раз отскочить друг от друга, чтоб, как бы не веря своему счастью, еще и еще раз получше взглядеться в свою любовь, ахнуть и еще и еще раз произнести свое томное «чао!» — еще бы, ведь они не виделись со вчерашнего вечера! Завершающий поцелуй может продолжаться неопределенно долго, но это уличному движению уже не мешает.

Есть и другие поцелуи, не рассчитанные на массового зрителя, — с мая по

середину осени их исполнителями заполнены все скамейки и травяные газоны. Травы в Риме практически нигде нет, но там, где она есть, как, например, на вилле Боргезе или на лужайках университета, используется она чрезвычайно интенсивно и по прямому назначению — на ней лежат и *целуются*. Это безмолвное страстное действие не содержит ни капли бесстыдства и ни грамма распушенности, этот завораживающий бесконечный танец любви — сама невинность. Как искусство романтической эротики, оно, разумеется, рассчитано на зрителя, хотя в первую очередь — это, конечно, искусство для искусства.

На университетских газонах промежутки между парами, как правило, забросаны тетрадками и учебниками, принесенными сюда, чтобы готовиться к семинарам и экзаменам. На скамейках поцелуи исполняются не менее зрелищно и, как правило, сидя. Хотя и не всегда.

Однако в Риме не только целуются но и, представьте, ругаются. Выглядит это, например так. Маленькая уютная площадь перед Пантеоном: шорох фонтана, белые столики под зонтиками от солнца, мороженое и «Капучино», воздушные шарики, бродячий скрипач в широкополой шляпе, разомлевшие цветастые туристы, сдержанный гомон, умиротворение... И вдруг в этот уютный мирок на большой скорости влетает машина, громко скрипит тормозами и резко останавливается прямо у фонтана. В кино после такого появления машины из нее должны были бы выскочить мафиози с автоматами и открыть пальбу. Здесь из нее тоже выскакивают два человека — пожилые тучные синьор и синьора, — быстро принимают бойцовские позы перед фонтаном на виду у всей площади и начинают смачно ругаться. Они машут руками так же страстно и замысловато, как дирижер симфонического оркестра во время исполнения самой патетической части 6-й симфонии Чайковского. Они произносят такие крутые словосочетания, что даже по-итальянски я не рискну их здесь воспроизвести, однако в их звучании столько гармонии, что вся сцена (тем более на фоне фонтана и древнего Пантеона) больше всего похожа на финал музыкальной драмы под названием «Так не доставайся же ты никому!». Понятно, что это не какая-то рядовая семейная разборка, которую можно было бы провести дома на кухне. Нет, это — весьма серьезное выяснение отношений, которое уже невозможно удержать в замкнутом пространстве кухни или автомобиля, и оно требует быть исполненным на площади перед Пантеоном.

За пять минут актеры выпускают пар, впрыгивают в автомобиль и быстро уезжают. Однако, видимо, что-то осталось невысказанным, потому что минут через пятнадцать к фонтану снова подлетает та же машина, опять резко скрипят тормоза, выскакивает та же пара и устраивает еще один короткий финальный акт грандиозного семейного скандала. После этого они мирно садятся в свою машину и спокойно уезжают.

В качестве небольшого комментария к этой сцене могу добавить, что для машин въезд на площадь перед Пантеоном вообще запрещен. Однако сплошь и рядом римляне относятся к правилам уличного движения весьма творчески, исходя из универсального принципа, что если нельзя, но очень хочется, то тогда можно.

Существует еще одна разновидность спектакля, когда русский визитер знакомится с итальянцем на улице. Еще относительно недавно в ответ на сообщение, что вы русский, немедленно следовала полная восхищения тирада о том, что вы первый увиденный синьором живой настоящий русский, и как это замечательно. Затем происходило бурное объяснение в любви к перестройке вообще и к Мише Горбачеву в особенности. В завершение высказывалось страстное желание поскорее из первых уст узнать, что там у нас и как, однако, что бы вы ни говорили, вам все равно заявляли, что все наши трудности временные, и такой славный парень Горбачев их обязательно преодолет.

Теперь, однако, в этой пьесе возникли существенные нюансы. Самое главное, я всем рекомендую после признания, что вы — русский, немедленно добавить, что вы в этой стране сугубо временно и вскоре возвращаетесь в Россию. Иначе, если вы этого не сделаете, восхищение по поводу первого встреченного живого русского будет выражено с весьма заметным напряжением, а затем установится вообще очень неловкая пауза, итальянцам совершенно не свойственная, и вам все равно придется ее заполнять признанием, что вскоре вы оставите в покое бедную маленькую Италию. После этого напряжение совершенно улетучивается, и можно начинать мило болтать. Единственное, что, может быть, будет слегка омрачать ваше общение — это явно или неявно высказанный укор, зачем мы там в России обидели такого славного парня Мишу Горбачева. Еще один

нюанс, возникший в самое последнее время, состоит в том, что разговоры о наших трудностях увлекают итальянцев все меньше и меньше. Их теперь все больше интересуют собственные проблемы. И если вы не будете намеренно увести разговор на российские темы, то вы можете узнать весьма интересные вещи о том, как начинает разворачиваться великая итальянская драма наших дней, которая, похоже, пока никого кроме самих итальянцев не интересует. А зря — впрочем, это совсем другой разговор.

Иногда, правда, случаются и более экзотичные встречи. Однажды на рядовой римской улочке виа Палэстро в баре, куда я обычно заходил по дороге на работу, ко мне подсел африканец и на хорошем русском языке сказал, что он тоже русский, и что его зовут Ваня. Оказалось, что Ваня видел меня в расположенной по соседству православной церкви, где он служит уже несколько лет, и хотя по происхождению он все-таки эфиоп, здесь, в храме, он принял крещение и русское имя. Надо сказать, что «русские» из Эфиопии составляют основную массу прихожан этой православной церкви, и вообще, от Вани я узнал, что, оказывается, Эфиопия — православная страна.

## 9

Рядом с православной церковью на углу виа Палэстро и виа Винченца находится здание, принадлежащее Римскому университету, и здесь на четвертом этаже располагался мой офис. Если приходиться сюда регулярно, легко заметить, что практически всегда весь этот пятиэтажный храм итальянской науки пустует. К рабочему времени, как и к правилам уличного движения, местные ученые подходят творчески и неформально. В действительности самый трудолюбивый человек в этом доме — это вахтер, ибо ему ясно и четко отмерены часы работы. Кстати, в Италии, как и у нас, вахтер — обязательный атрибут любого уважающего себя учреждения. Однако вахтер — тоже человек, и иногда, наблюдая, как творческие люди науки поступают со своим рабочим временем, ему становится невмоготу его обязательная роль догматика. И когда его душа, наконец, не выдерживает закостенелости бесконечного сидения в гулком пустом доме, он его запирает на все замки и тоже уходит. Правда, предварительно как человек ответственный он на всякий случай обходит все кабинеты на всех этажах. В связи с этим в моем офисе несколько раз разыгрывалась коротенькая драма. Нетерпеливо оббегающий кабинеты вахтер заглядывает ко мне, и тут его счастливое лицо превращается в трагическую маску отчаяния. Я его сразу же успокаиваю: мол, у меня есть все ключи, здание я аккуратно закрою, — и тогда его лицо светлеет и снова начинает искриться совершенно детской радостью предвкушения свободы. Он дает мне понять, что он мой должник до конца жизни, и убегает. Потом вахтер меня запомнил, и, видимо, считая человеком надежным, больше не беспокоил.

В пяти минутах ходьбы от моего храма науки на виа Винченца стоит громадина вокзала «Термини». Здание вокзала столь огромно, что его размеры сопоставимы с размерами самого города. Любопытно, однако, что, несмотря на свою роль колоссального транспортного центра, «Термини» полностью закрывается на ночной отдых. Расписание составлено так, что ночью поезда сюда не приходят, и уж тем более никто в ночь глухую отсюда не уезжает. Гигантское здание полностью очищается от людей, закрывается, и — баиньки. Ибо отдых в Италии — дело святое.

Поэтому наша универсальная формула «В крайнем случае переночую на вокзале» здесь не сработает, не надейтесь. Придется ночевать где-нибудь на тротуаре вместе с сотнями здешних бомжей и попрошаек, которые тусуются на вокзале все дневное время.

Поезда в этой стране красивые и чистенькие, однако ходят они здесь точь-в-точь, как у нас, то есть расписание расписанием, но жизнь все равно берет свое. Опоздания поездов, особенно в южном направлении, настолько неизбежны, что, будь они более более предсказуемы, их можно было бы включить в расписание. Отчасти так оно уже и есть, потому что если вы попытаете узнать, сколько идет поезд до Неаполя не из ортодоксального расписания, висящего на стене, а в справочном бюро, то есть у живого человека, то как честный человек он вам ответит, что приблизительно три с половиной часа или больше, хотя формальное расписание упрямо утверждает, что время в пути — два с половиной часа.

Вообще район вокзала «Термини» именно тем и интересен, что здесь сплошь и рядом можно наблюдать, как жизнь все равно берет свое, невзирая ни на какие формальные правила. Вот два очень показательных примера.

Был вечер перед Рождеством, и мне почему-то захотелось поглядеть на Папу Римского, который должен был выйти к народу на площади Святого Петра. Однако оказалось, что добраться туда весьма непросто, потому что в этот вечер ни автобусы, ни трамваи, ни метро в городе не работали. Поначалу, я, пожалуй, и не особенно жаждал лицезреть Римского Первосвященника, но когда моим намерениям начинают препятствовать столь негалантно, я начинаю заводиться. Поэтому я пошел на вокзал — обычно вся площадь перед ним забита такси. В тот вечер, однако, на стоянке у вокзала наблюдалась только длиннющая очередь, а сами машины подъезжали крайне редко. Судя по тому, как двигалась очередь, уехать можно было надеяться только к утру. Подозревая, что столь тупиковых ситуаций в жизни просто не бывает, я стал в очередь и начал осматриваться. И действительно, у вокзала топтались не только ожидавшие такси граждане, но и еще слонялись туда-сюда те, кого у нас принято называть «темными личностями». Вскоре один из таких синьоров в надвинутой на лицо кепке подошел ко мне и, глядя куда-то в сторону, вполголоса спросил: «Куда?», — а затем предложил немедленно отвезти меня в нужное место всего за 60 милей. Я очень уважаю Папу Римского, но в тот вечер счастье лицезреть его я все же оценивал несколько меньшей суммой, и поэтому начал торг. Синьор торговаться не был настроен и ушел. После этого мне предлагали свои услуги еще несколько водителей, но все они называли одну и ту же цифру и торговаться отказывались. Через некоторое время ко мне снова подошел синьор в кепке и совсем уж шепотом сказал: «50». Это было уже лучше, но в тот вечер я оценивал уважаемого Папу все-таки немного меньшей цифрой. Синьор покачал головой и снова ушел. Думаю, еще немного, и мы достигли бы с ним согласия, если бы я не сделал совершенно непростительный промах: одному из тех, кто продолжал меня уговаривать заплатить 60 милей, в качестве аргумента в свою пользу я сказал, что, дескать, у меня уже есть возможность поехать за 50 — и то я не согласен. Прошло некоторое время, и, осознав, что в столь святую ночь торг далее неуместен, я пошел сдаваться синьору в кепке. Однако теперь он окатил меня взглядом, полным ненависти, и процедил, что меньше чем за 500 милей он меня не повезет. И тогда, поглядев в его лицо, я еще раз убедился, что законы рынка — это везде законы рынка. На его лице были ясно написаны две вещи: во-первых, при других обстоятельствах он бы с удовольствием дал мне в рожу за то, что я заложил его тайную попытку сбить цену, и во-вторых, судя по всему, за это дело он теперь сам получит в рожу от своих коллег. И тогда, вполне удовлетворившись своим открытием, я решил оставить в покое Папу Римского и зашагал домой.

Другая история связана с сигаретами. В это трудно поверить, но факт остается фактом: в декабре 1992 года в Риме из продажи пропали сигареты. Все подчистую. Табачные киоски стояли идеально пустые, как колбасные отделы воронежских гастрономов осенью 91-го года, а их продавцы, утратив все свое хваленое итальянское благодушие, слонялись из угла в угол злые как собаки.

Я однажды был свидетелем, как заезжий иностранец, еще не осознавший, что происходит, забрел в такой киоск и небрежно бросил: «Мальборо», пожалуйста». Можете себе представить, как бы среагировал продавец колбасного отдела воронежского гастронома осенью 91-го года, если бы вы его небрежно попросили нарезать вам сто граммов ветчины? Здесь реакция была такой же. И куда подевалось все их хваленое чувство юмора? — иностранец выскочил оттуда как ошпаренный.

Изредка случалось, что в отдельные киоски каким-то образом попадали небольшие партии сигарет. Замечу сразу: в этой ситуации всех уже совершенно не волновало, каких именно. Да-да, и тогда у этого киоска начинало твориться точь-в-точь то же самое, что и в гастрономах 91-го года, когда туда завозили колбасу (неважно, какую). То же самое «вы здесь не стояли», та же работа локтями и крутой мат с воронежскими интонациями. Поразительно, но в этой ситуации у синьоров не наблюдалось абсолютно никакой галантности. А однажды некий табачник, которому неожиданно для него самого завезли немного сигарет, выглянул из своей лавки на улицу и крайне легкомысленно объявил об этом событии окружающему миру. Оказавшиеся возле лавки прохожие среагировали столь бурно, что беднягу просто затоптали, и он надолго попал в больницу.

Как такое могло произойти, чтобы в Риме пропали сигареты — это другая история. Уже много лет табачные изделия — монополия Итальянского государ-

ства. Когда-то давно табачная промышленность здесь была частной, но потом кто-то очень умный решил, что намного лучше, если все будет в одних ответственных руках, и ее национализировали. Теперь, однако, стало ясно, насколько государственные табачные предприятия неэффективны, и их решили опять приватизировать. Разумеется, не все этого хотели, дело продвигалось медленно, и вот к концу осени 92-го года созрел крупный общенациональный конфликт. Часть занятых в табачных делах (те, кто надеялся после приватизации улучшить свое положение) оказалась крайне недовольна медленными темпами приватизации, а другая часть (те, которые осознали, что их могут уволить) стала крайне недовольна самим фактом приватизации. И вот и те, и другие забастовали. Каким образом при этом пропали еще и иностранные сигареты, мне не очень понятно, но пропали и они.

Я не заядлый курильщик, я мог бы прожить и без сигарет, однако меня заинтересовал сам по себе феномен: как такое может быть, чтобы нигде нельзя было найти никакого курева? Даже в России в самые тяжелые времена такого не было. Я пошел на привокзальную площадь. И там, стоило мне остановиться и оглядеться вокруг затравленным ищущим взглядом, как ко мне сразу же подошел несолидного вида синьор и распахнул передо мной полы своей куртки. Там у него было несколько блоков сигарет «Мерит», которые он продавал по 10 милей за пачку, что больше чем в три раза дороже номинала. За такие деньги я сигареты покупать не стал, но ушел вполне удовлетворенный: законы природы и в этой ситуации оказались незыблемыми.

Уж не знаю, каким образом был улажен конфликт в табачной промышленности, но спустя месяц сигареты постепенно появились снова. Правда, теперь процентов на тридцать дороже.

## 10

По Риму нужно передвигаться пешком. В автобусах ездить нет никакого смысла: днем, когда улицы забиты транспортом, они передвигаются со скоростью пешехода, а вечером, когда на улицах посвободней, автобуса не дождешься. К тому же часто они набиты битком, а такой экзотики нам и в России хватает.

Что касается метро, то в отличие от Москвы или, скажем, Парижа, как средство передвижения по городу оно выполняет здесь весьма второстепенную функцию. До совсем недавнего времени в великом городе Рима было ровным счетом полторы ветки метро, а сейчас их аж целых три. Как-то в свое время никому просто не пришло в голову, что в недалеком будущем городу будут очень нужны нормальные подземные коммуникации, а теперь все руки не доходят. Но там, где метро прорыто, поезда, пусть и не часто, но ходят. Правда, на линии «В» (той, которая многие годы была половиной линии) на всех дверях вагонов рядом с традиционной надписью «Не прислоняться!» столь же прочно и навсегда сделана еще одна надпись: «В случае непредвиденной остановки поезда из-за ремонтных работ на участке «Колоссэо—Пирамида» из вагонов не выходить!» Однако, мне кажется, здесь они перестарались: я ездил по этой ветке много раз, и поезд ни разу не останавливался. Другое дело, что надеешься, бывало, поехать на метро, и вдруг обнаруживаешь, что поезда по этой линии вообще не ходят, но для Рима это — событие будничное.

Все сказанное об автобусах в равной мере относится и к трамваям, хотя на отдельных участках они передвигаются все-таки немножко быстрее. И, может быть, из-за этого или еще по каким-то причинам трамваи набиты битком практически всегда. Особенно маршрут номер 30, пересекающий весь старый город и идущий мимо Сан-Лоренцо через район Университета к вилле Боргезе. И именно на этом трамвае я бы все-таки рекомендовал один раз прокатиться. Если один раз, то это довольно забавно.

Дело в том, что при всем разгильдяйстве итальянской жизни, при всей необязательности в чем бы то ни было, именно у водителей римских трамваев есть один принцип, который они стараются выполнять совершенно неукоснительно: в римских трамваях положено заходить только в заднюю дверь, а выходить только через переднюю. Насколько я знаю, такое правило существует везде, и хорошо известно, как оно обычно выполняется. Однако в Риме водители трамваев добиваются его выполнения с таким отчаянным рвением, что складывается

впечатление, будто это последний плацдарм, на котором зиждется их мужская гордость. Вот как это выглядит.

У меня в одной руке — ребенок, в другой — собранная коляска; подходит битком набитый трамвай, и все кидаются в заднюю дверь. За редкими исключениями здесь все уже давно выдрессированы и знают, что в переднюю дверь соваться бессмысленно. В Риме, если очень нужно, можно поехать на красный свет; из-за беседы с добрым другом можно задержать отправление поезда; даже контролер, поймавший вас без билета, рассмеется и не станет штрафовать, если вы скажете ему что-нибудь остроумное, но никогда и никого, даже женщину с ребенком, в переднюю дверь трамвая не впустят. Поэтому мы кое-как впахиваемся в заднюю дверь. Далее требуется пробираться через весь вагон к передней двери, потому что если на моей остановке не окажется пассажиров, заднюю дверь водитель не откроет ни при каких обстоятельствах.

И вдруг на узловой остановке «Порта Маджорэ», где пересекаются две трамвайные линии и всегда особенно много пассажиров, случается невероятное: две старушки, просочившись навстречу выходящим пассажирам, проникают в трамвай через переднюю дверь. Водитель просто вне себя. Он начинает махать руками и орать что-то вроде «Попрошу вас выйти вон!». Он, бедный, так горячится, как будто его сочли за евнуха, а он очень хочет, но никак не может доказать обратное. Аргументы водителя сводятся к универсальному и неоспоримому тезису: «Здесь не положено!». Старушки же в ответ визжат, что в заднюю дверь войти нет никакой возможности, а ехать им все равно надо — и они по-своему тоже правы. В результате возникает тупиковая ситуация — он им: «Попрошу вас выйти вон!», а они ему: «Вот сдохнем здесь, а не выйдем!».

И тогда в самом вагоне начинается совершенно очаровательный итальянский базар. Вы только представьте себе: посреди великолепных римских древностей стоит битком набитый трамвай, в котором все пассажиры вразнобой, громко и крайне эмоционально вопят что-то вроде: «О, мамма миа, Санта Лючия Бенедетта! Коза суччедэндо?! Кэ кáцо суччэсо?! Квэсто импоссибиле!..», — а те, кто имеет возможность, еще и машут руками. Всему этому сообществу в общем-то наплевать на старушек, но доминирующая точка зрения состоит в том, что значительно проще просто поехать дальше, чем пытаться выставлять их за дверь.

Видя, что общественное мнение явно не на его стороне, водитель вскакивает со своего места, заявляет, что раз так, то он вообще никуда не поедет, выбегает из трамвая и идет курить к будке диспетчера. Тем временем наш трамвай блокирует движение других трамваев. Застрявшие посреди перекрестков, они перегораживают автомобильное движение, и вскоре вся площадь начинает сходить с ума. Водители трамваев, проявляя солидарность со своим коллегой, сходятся курить к будке диспетчера. Находясь в явном меньшинстве, они хмуро поглядывают на весь этот бедлам и, судя по всему, обсуждают потерявших всякий стыд пассажиров, которые дошли до такой наглости, что пытаются заходить через переднюю дверь. Затем, докурив, они как ни в чем не бывало расходятся по своим трамваям. Наш водитель тоже спокойно садится на свое место, пассажиры затихают, и мы едем дальше...

А вот и моя остановка в Сан-Лоренцо. Не знаю как вы, а я изрядно устал от этой прогулки по веселому городу Риму — надо и отдохнуть. Конечно, мы не все успели посмотреть. Здесь еще есть и Форум, и Капитолий, и пьцца Навона, и Колизей... Но туда мы отправимся как-нибудь в другой раз.

... За моим окном надрывно тарахтел мотоцикл. Занудно сигналила заблокированная на тротуаре машина. Стараясь перекричать мотоцикл и машину, кто-то с мерностью кукушки вопил «Чао!». В окне напротив телевизор захлебывался репортажем о том, каким все-таки дерьмом оказался сеньор Андреотти, который, как выяснилось, всю жизнь был связан с мафией. Откуда-то снизу тоскливо пахло пиццей. А поверх всего этого хаоса со стороны далекой «собачьей площадки», где коммунисты проводили свой очередной митинг, из установленных там сверхмощных колонок плыли уверенные звуки «Интернационала».

И тогда я подумал: «Пожалуй, пора возвращаться в Россию...»

Татьяна Вольтская

## Заметки крапивы

1

Графиня крапива в серебряных кружевах, трясущая головой у забора: только ветер нынче и галантен, только он и раскланивается со всеми. Седая пудренная полынь разбегается по сторонам дороги. Добро, добро... Некому посягнуть на ее владения. Петербург, говорите вы? Петербург?.. Позвольте... Я что-то не припомню. Ах, да, выскочки, самозванцы, парики, галуны, полицейские будки, кавалеры, курьеры, мушки, фельдфебели, фельдъегеря, вензеля, кареты, эполеты, царицы, иллюминации, коронации, виктории, фортеции, перспективы... Да-да. Попытка узурпации законной власти. Маленький дворцовый переворот, временный успех, и по этому случаю — бесконечные парады. Петербург. Попытка сбросить в реку местное божество, которому здесь поклонялись от века. Как же, как же... Но могуч здешний дух, вы думали, его нет, а он только спрятался, как щука под корягу, как тень между мостовых свай. Имя ему — Разрушение. В его глаза нельзя смотреть, его голос ужасен, как песня Пана в грозу, его дыхание родит трещины и плесень на полированном камне, оно до сих пор вьется вокруг облупившихся колонн, только вам не дано слышать. Этот дух не любит портиков и куполов, он любит полынь, чертополох и крапиву.

Старушечий бред, — усмехаетесь вы, — не так ли? — А ну-ка, что там было, на этом дугу? Это площадь, конечно, но давно ли тут тряслась изумрудная осока, и лягушка сжимала в лапах стрелу, дивясь, зачем она сюда прилетела. Сколько здесь было дворцов — два, три? Собирались ли здесь вообще, как в других городах, строить навеки, или просто мешали на болоте колоду карт с хохотом и свистом, под брызги ракет и шутих?

Где дворцы двух царевен — Анненгоф и Екатерингоф — на берегу залива? Где второй и третий летние дворцы в Летнем саду, где каменный дворец Екатерины I? Где первый Зимний дворец? Вмиг вознеслись, расцвели пестрыми кровлями — и растворились, увяли, рассыпались в прах. А ведь забивались сваи, рылись каналы, отводились грунтовые воды, лился пот, звенели деньги. И лучшие архитекторы с бьющимся сердцем чертили лестницы, рисовали виньетки, пилястры, наличники, львиные головы и нагих дев под балконами. Но иногда кажется, что они рисовали на воде — так быстро таяли их творения, — и тщеславные дворцы, и кокетливые дачи, и гулкие театры, не говоря уже о садах, фонтанах, павильонах, гротах и прочих затеях, выскакивавших и лопавшихся, как дождевые пузыри под раскаты грома. У здешних топей нешуточный аппетит, они знатно наглотались плодов человеческого ума и сердца, а то, что мы видим, быть может, оставили на закуску.

И это самый европейский город в России? То есть, добротный, рачительно обдуманый со всех сторон — какой толщины стены и какой ширины окна, чтобы не дуло? Самый удобный и уютный, в котором хочется жить? Вы шутите, конечно. Не может быть упитанно и благополучно дитя, зачатое в карнавальном угаре, при мордобитии и сквернословии, когда главная радость, что женят старого шута, плавающего в гигантском ковше, в пивном море, а царя чуть не спалило фейерверком. Какой уж тут комфорт, даже скопировать Амстердам на Васильевском по-настоящему не смогли, каналы с пьяных глаз узкие прорыли, всю мечту запероли. Так-то вот, с наскоку, да спустя рукава, европейские города не делаются.

Конечно, белозубые портики среди северных лесов — это уже кое-что. И мраморный акант, загутававшийся в еловых лапах, — это колорит. Но колорит колоритом, а общероссийские клопы в гостиничных постелях поражали приезжих не меньше.

Лет двести уже картинно всплескивают руками: и откуда этот особый петербургский сплин, и откуда эта специальная петербургская бацилла тоски, чахотки, бледной немочи? Не иначе, как из болота... Болото болотом, но не вся же



нечисть оттуда. Встанешь на набережной, посмотришь, вдохнешь, и мелькнет мысль, что как бы не человеческих рук это дело, а, скорее, трех молодцов из сказки про волшебное кольцо: «А ну, постройте мне каменный дворец и хрустальный мост, а ну, перенесите его туда, перенесите сюда...» И перенесли — отовсюду. Но воздух тех далеких стран перенести забыли, и он остался тот же, холодный, угрюмый, ревнивый к лучезарной заморской красоте. Местная кровь, и ленивая и буйная сразу, пронизала европейскую плоть Петербурга, омыла его гранитный и мраморный скелет, и до сих пор — трясет, качает и лихорадит.

И ведь нельзя сказать, чтобы российскому духу было противно строить — напротив, сколько выдумки, и старания, и прилежания. Но, кажется, еще слаще сокрушать! Нельзя сказать, чтобы не было здесь духа созидания. Но хранить, что создано, но следить, ухаживать — какая скука! Нельзя сказать, чтобы здесь не любили трудиться — но лучше бы авралами, как на пожаре, а не тюкать прилежно изо дня в день по одному месту. А ведь город-то задуман европейский... Европейцу всего жаль, каждого пяточка, к которому он руки приложил, а здесь — ничего не жаль, и себя тоже. Это главное — нет любви к себе, а значит, центробежная и центростремительная, раскачивают, расшатывают Петербург, сбрасывают его в Неву. И разрывают надвое души петербуржцев.

Огромный котел, поставленный и замешанный в одночасье, дворцы и церкви, вскипевшие и опавшие пеной, карнавальные брызги, обжигающие сквозь столетия, победоносное шествие крапивы, возвращающейся в родные места. Нерастворимый осадок на дне, остающийся после всех клубящихся превращений и страстей. Не мешающий, впрочем, зарости беспокойному месту — буйным бурьяном.

## 2

И странно говорить, и не знаю, можно ли, и не представить, какие камни полетят в мою голову, и откуда. Все как будто согласны с тем, что всему свое время — «время рождаться, и время умирать», но — никто не согласен приложить эти слова к себе. Слишком ужасно. Издали смотреть еще возможно, вблизи — нет.

Я закрываю Книгу Книг и замираю: а что, если святой Иерусалим, и его золотокровельный храм, драгоценная медная утварь, ворота, завесы, виссонные одежды, резные кисти и яблоки, высокие столбы и тучные жертвы, — что, если все это — лишь золоченая пасхальная скорлупа — вылетел птенец, и она разбилась; а он обнял крыльями весь мир. И все, что было, было лишь для этого мига — и возвращение из Вавилона, и возведение стен, и песни и красота жен, и Башня Офел, и Овечьи ворота, и берег Кедрона — все, все ради одного луча Вифлеемской звезды... Это не значит, что не надо жалеть, и оплакивать, и сетовать на судьбу, на внутренние раздоры и свирепость Рима, потому что вообще всего сущего и имеющего исчезнуть — жаль. Потому что всегда будет звенеть плач Иисуса: «Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст...»

Я иду по Кронверку, по маленькому мостику, ведущему к крепости, зеленому, облезлому, деревянному, дрожащему от шагов, — по которому меня водили в детстве; трюгаю шершавые камни, знакомые на ощупь, засовываю палец в щель, откуда фонтаном брызжет трава. Это не трава, это время хлещет из щелей и трещин, и трюмы Петербурга полны. Что с того, что молод? И скороспелые яблоки долго не хранятся. Откуда он возник и зачем? Может, это греческий Тритон заплыл сюда ошибкою, обронил чудесный комочек земли, и всплыл город. И может, морской бог уже плывет за ним назад, трубит в свой витой ненастный рог. А вдруг Петербург — тоже расписная скорлупа, а что из нее вылупится, мы только смутно чувствуем, но за близостью не можем разглядеть. Заморская ветка, которую назначено было привить к колючему российскому дереву, чтобы переродилась его листва, позолотели плоды. Все так и случилось, но сама ветка вот-вот затеряется, отломится, отсохнет.

Все это можно понять умом, но не сердцем. Все это можно подумать, но не заплакать нельзя. «Иерусалим, Иерусалим...»

Зачем Онегина водили на бульвар? Зачем Веневитинов жил в Москве и умер

в Петербурге? Зачем в желтой кувшинке Главного штаба качнулся упругий пес-тик Александрийского столпа? Зачем шуршит и плавится апрельский лед под мостами? Зачем Одоевский пророчествовал о потопе? Зачем Есенин жил в Мос-кве и помчался умирать в Петербург? Зачем Нос разгуливал по проспекту? Зачем «Еще прекрасно серое небо»? Зачем «Ночь, улица...»? Зачем Пушкин? Неужели все так и закончится, как началось, — туманом, растает, провалится в отравлен-ной Маркизовой луже, растечется красным закатом, мокрым западным ветром? «Иерусалим, Иерусалим...»

Зачем потел потемкинский повар над «говяжьей небной частью в золе, гар-нированной трюфелями»? Зачем лился лафет на Васильевском, а к Армянской церкви стекался народ на великопостные излеровские растегаи — «нескучные», «в добрый час» или «просто прелесты»? Зачем не щадили сил парижские порт-ные, и франты с зачесанными висками играли лорнетами не менее виртуозно, чем испанские танцовщицы — веерами? Зачем жареные быки горели золочены-ми рогами на царицыном лугу, а худой долгоносый Дидло шел домой из театра в воздушных ризах Гименея? Зачем этот блеск, и чад, и трепет жизни на камен-ной щеке, и колыхание юных садов, и быстрый взгляд, и резкий поворот головы, и шорох ног под окнами, и плеск многих рук в темном зале, и золотой каблук шпиля, попирающий облако, — чтобы умереть?! — Петербург, Петербург...

Кто-то говорит нам о тебе, плачет в небе высоко и тонко, кричит в уши, гремят ветром по старой жестяной крыше, но мы не слышим.

Можно, конечно, утешиться, рассудив: что ж, сбылось пророчество, не оста-лось камня на камне от Иерусалимского храма, ни чаши, ни лопатки, ни сосуда, ни листа меди с дверей, ни обломка колонны с верхней галереи. Плоть сгорела и развеялась пеплом, но осталась книга, полная плодов, и листьев, и шагов, и голосов, и дождей, и молний, — осталась, как зерно, из которого может вырасти когда-нибудь и земной храм, и небесный город. Может, так суждено и Петербур-гу — утонуть, погибнуть, рассыпаться, оставив по себе только слово, бесплотный голос, вьющий гнездо повсюду — где придется? Может, это и есть лучшая часть, и не надо желать иной — хранить, подновлять, заботиться?

Да, это так, но не здесь говорить об этом. Чтобы это увидеть, нужно по крайней мере умереть, отойти, отодвинуться на должное расстояние во времени и пространстве. А иначе получится бегство, измена, ставшая, впрочем, обычным делом: сначала эмигранты, потом изгнанники, мученики, потом опять эмигран-ты, вольные и невольные, так что город глядит сиротой, оставленным на канику-лы в пансионе. А дальше идут последние, нынешние, изменившие, даже не заметив, — только зевнув и забыв, где живут, да и было ли что забывать? А за этими последними, спящими на ходу, тихо свистит смертельный ветер из пустых окон, указующих на вечный ремонт, из залитых водой подвалов, из разворочен-ных как будто взрывами мостовых; а за этим ветром тихо идет седая завитая крапива, и тихий ее шаг победоносен, потому что она уверена — ее никто не остановит.

Прекрасна посмертная слава, и хвала тем, кто зажег ее сияние. Но умира-ние — ужасно, и горе тем, кто не предотвратил его, когда мог.

### 3

Этот город и этот горожанин (или горожанка) не созданы для семейной жизни. Они встречаются, как любовники, в этом их счастье, в этом их радость, в этом тайна их жизни и ее смысл. Каждое свидание любовников — праздник, маленький подарок, вырванный у судьбы. Конечно, если чувство их глубоко и они стали вдобавок друзьями, они облегчат друг другу душу, расскажут горести, помогут в несчастье. Но все же, несмотря ни на какую грусть, в каждой встрече звенит музыка победы: они увиделись — и уже поэтому победили. Любовники несут друг другу самое лучшее, что у них есть, — лучшую улыбку, лучшее платье, лучшие шутки, лучшие мысли, лучшие ласки. Они свободны от хозяйст-венных дряг и забот, несносных привычек, вялости, скуки — и благодарны друг другу за эту свободу. Все это остается там, за спиной, тем, близким, домашним, поглядывающим скептически, потому что знают им настоящую цену. Но насто-ящие они как раз друг с другом, когда не придавлены тем, что почему-то приня-то называть жизнью. Жизнь — как раз здесь, а не там.

Этот город и этот горожанин (или горожанка) встречаются для любви. Так

было задумано. Но как только появляются претензии семейного характера, город сразу же начинает мстить: осклизлыми черными лестницами, серыми заборами, тучами крыс, вонючими узкими дворами, удушливой петлей Обводного канала, бесконечными коммунальными коридорами с воспаленными лампочками в глубине, картонными канцелярскими улицами с однообразными полями тротуаров. Парадиз сменяется задним двором.

Праздник рядом, он всегда тут, Ника твердо правит взмыленной квадригой, но под копытами коней кренится крыша, асфальт вспучивается горячими пузырями, площадь можно прорвать каблуком, как бумагу, и об этом уже не забудешь. Поэтому, хоть улицы прямые и перекрестки стройные, но шаг неверен и нога неустойчива, готовая оступиться.

Город, предназначенный для любви, праздника, таинственной карнавальной игры, переодеваний и превращений, заставили заниматься домашним хозяйством, и он поблек, зачах, у него испортился характер. Вместо нежного и лукавого шепота пришлось шептать, сбиваясь и путаясь, цифры доходов и расходов, — и ровный румянец сменился вспышками лихорадочных пятен. Руки, привыкшие лишь к душистым конвертам и платкам, нервно задрожали, познакомившись с костяшками конторских счетов. Место, мыслившееся раем фелиц и наклевавшихся кровавой пищи птенцов имперского гнездышка, обернулось адом башмачкиных, девушкиных и безумных евгениев. Рокот державинских барабанов, волны пушкинских ямбов стали сбиваться и мутнеть, неотвратимо переходя во всхлипывающую скороговорку Достоевского, в подпрыгивающие, кружащиеся ритмы Блока. И горожанин стал неузнаваем: исчезла улыбка и уверенность походки; вот он идет, как будто что-то потеряв, вытянув руки, глядя невидящими глазами не перед собой, а куда-то вдаль, за лес портовых кранов, за бесконечную лестницу шпал, за пустые лахтинские поля.

Нет, не привилась городу любовь к рачительному накоплению. Только выстроит, только подметет и покрасит, — глядишь — а уже ломает, перекраивает, рассыпает. Только нарядится, умоется и улыбнется — и опять валятся из рук фонари и перила, скамейки и мостовые, опять плесневеют подьезды, воняют лифты, зияют гробы дворов: хандра! Катятся злые осенние слезы по пустырям, истерически дребезжат мосты, клацают стекла в буфете. Лихорадка.

Сколько разрушено и сметено — как в бреду, как в припадке безумия. Казалось бы, все, тишина. Но нет, не утихает ветер, сдувающий с фасадов последнюю лепнину, а из домов, идущих на капитальный ремонт, — последние печные изразцы, каминные решетки, дубовые панели и наборный паркет, — ветер, взметающий все это вихрем и опускающий где-нибудь на неведомых дачных участках, в укромных коттеджах и садоводствах.

Город, вышедший вчера на любовное свидание сияющим и щеголеватым, сегодня явился в условленный час на условленное место, но в каком виде! Зубы выбиты, глаза заплыли, щеки в крови — кажется, он не миновал ночной драки, и никто, никто не вышел его защитить. И вот стоит он в пыли и грязи, в разорванном платье, в прорехи и дыры сияет исхудалое тело, памятое лицо еще прекрасно. Он стоит у реки, забывшись, мнет в руках пенитую волну, как грязный кружевной платок, и беспокойно заглядывает в глаза каждому встречному: не к нему ли он стремился этим промозглым утром, не в этих ли глазах спрятана ответная любовь, для которой он создан так необдуманно и жестоко и которую ищет всю жизнь?

## 4

Воронье отродье, пожиратели обьедков, любители того, что блестит. Они воображают, что живут в Городе и растаскивают, каркая и ссорясь, в свои безобразные жилища все, что от него осталось. Они воображают, что умеют строить, и действительно, строят на окраинах свои громадные траурные гнезда, полные дешевых блестящих вещей. Они гадят у своих дверей, годами не могут зарыть яму на улице, засыпать лужу у магазина и избавиться от запаха гниющих овощей из подвала, — и при всем том кичатся родством с лебедями, давным-давно улетевшими отсюда. Почему это для них так важно? Может, они успокаивают так свою совесть, выклеывая из площади очередной старый дом, как расшатанный зуб или мертвый глаз? Уверяют друг друга, что они делают это по праву

наследников и потомков? Или это просто пустое карканье и хлопанье черно-серых крыльев на ветру?

Они живут только стаей. Стаей слетаются на свои помойки, чтобы утолить голод. Стаей, с громкими криками, снимаются и улетают. Стаей выводят птенцов. Стаей спят, стаей смотрят по сторонам. Они воображают, что видят Город. Но нет, Город для них — всего лишь груда живописных объедков, откуда нет-нет, да и удается что-нибудь выклевать. Луковка церковки, морковинка шпиля, позвонки двенадцати коллегий. Зловонный студень залива. Разварные летние сады.

Тощотворно... Но ведь это еще только оболочка, видимая, так сказать, с птичьего полета. А изнутри...

Воронье отродье, пожиратели объедков культуры, любители того, что блестит. Они воображают, что причастны прекрасному, щурятся, пожимают плечами, кивают, косятся ревнивым глазом на мазню соседа. Они притворяются не знающими, что почти все сделанное до них разбито, разбросано и осмеяно, — или, в крайнем случае, почитают себя не виновными в этом: сокрушенно разведут руками. Принимаются суетливо искать, стаскивать в кучу то, что еще уцелело, гордо называют себя хранителями. Но нет, не хранители они — гробокопатели, потому что все это они делают не бескорыстно, они воруют и примеряют на себя драгоценности мертвецов. Они уже не помнят, как вчера говорили во всеулышание, что и драгоценностей-то никаких нет, что все это старый хлам. Они уже забыли, что вчера помогали выкидывать этот хлам на помойку или, по крайней мере, молчали, когда это делали другие.

Собиратели, хранители. Продолжатели книги, не выучившие алфавита. Мастера подслеповатые, однако, догадливые: объявившие свое видение лучшими глазами, а главное, непогрешимыми, поскольку их качество нельзя проверить. Певцы безголосые, но никогда не забывающие переложить сыр из клюва в лапу, собираясь каркнуть. Наблюдатели, умеющие глядеть только под ноги и потому не видящие ничего целиком, составляющие свой мир из осколков, обломков и объедков прошлого, — хотя никогда не признающиеся в этом из-за кичливости и недостатка образования. Черно-серые дети помоек и развалин. У лучших из них хватает ума стаскивать к себе блестящие черепки, но никто не догадывается, что не только в них дело, что душа города — не только в камушках и стекляшках, но в чем-то еще — в них самих, ныне живущих, называемых современниками, задержанных и загнанных поисками пропитания, в их собственных душах; беспрепятственно зарастающих между тем пышной крапивой.

Не знаю, сколько времени нужно, чтобы серые и черные перья хоть несколько посветлели, шея вытянулась, а хриплый треск в глотке, похожий на выстрелы, сменился звуком серебряной трубы, — не знаю, может ли вообще рыхлая войлочная птица превратиться когда-нибудь в беломраморную. Но пока у здешних обитателей остаются вороньи воровские ухватки, все здесь будет числиться бывшим, все — и Город, и музыка, и словесность, и точные науки — будет выглядеть блюдом неаппетитных объедков, чем бы его не обкладывали с боков и не посыпали сверху.

А крапива — что ж, она лучшее кровоостанавливающее средство, прекращающее ненужные волнения созидания, дружества и любви, она растет, где хочет, и ей ничего не грозит...

---

# Содержание журнала «Знамя» за 1994 год

## П Р О З А

- АЙТМАТОВ Чингиз — Тавро Кассандры. Роман. № 12  
АНФИНОГЕНОВ Артем — «Ледяной час». № 6.  
БЕЖИН Леонид — Смотрение тайн, или Последний рыцарь розы. Повесть-эссе. № 3  
БЁЛЛЬ Генрих — Почему я пишу короткие рассказы. Перевод с немецкого М. Рудницкого (Немецкая тетрадь). № 10  
БИТОВ Андрей — Тексты, присланные из Германии. № 9  
БУЙДА Юрий — Веселая Гертруда. Рассказ. № 3  
ВАРЛАМОВ Алексей — Паломники. Рассказ. № 9  
ВЕЛЛЕР Михаил — Ножик Сережи Довлатова. Литературно-эмигрантский роман. № 6  
ВЛАДИМОВ Георгий — Генерал и его армия. Роман. №№ 4, 5  
ВОЙНОВИЧ Владимир — Замысел. Книга. №№ 10, 11  
ГАРЕЕВ Зуфар — Осень БЭ-У. Рассказ. № 9  
ГЕР Эргали — Казюкас. Рассказ. № 10  
ГЕССЕ Герман — Путешествие в Нюрнберг. Перевод с немецкого С. Апта (Немецкая тетрадь). № 5  
ГОЛАН Шамай — Брачный покров. Роман. Перевод с иврита В. Тублина. № 9  
ЕРОФЬЕВ Виктор — Комплект. Рассказ. № 6  
ИСАЕВ Николай — Теория катастроф. Абсурд-фантазия. № 5  
ИСКАНДЕР Фазиль — Страшная мечь Чика. Рассказ. № 2  
КИРРЕЕВ Руслан — Мальчик приходил. Роман-эпilog. № 10  
КОРОЛЕВ Анатолий — Эрон. Роман. №№ 7, 8  
КРЕЛИН Юлий — Потапыч и Исакыч. Рассказ. № 10  
КУРАЕВ Михаил — Блок-ада. Праздничная повесть. № 7  
КУРЧАТКИН Анатолий — Муза. Рассказ. № 11  
ПЕТКЕВИЧ Юрий — Юношеские рассказы о любви. № 4  
ПОЛЯНСКАЯ Ирина — Рассказы. № 12  
ПОПОВ Валерий — Ванька-встанька. Ноу-хау. № 7  
ПЬЕЦУХ Вячеслав — Рассказы. № 8  
САДУР Екатерина — Из тени в свет перелетая. Повесть. № 8  
САДУР Нина — Сад. Повесть. № 8  
САЛОМАТОВ Андрей — Синдром Кандинского. Повесть. № 4  
СВЕТОВ Феликс — Ты ничего не способен понять. Диалог. № 11  
СЛАПОВСКИЙ Алексей — Вещий сон. Детективная пастораль. № 3  
СМОЛЯНИЦКИЙ Михаил — Зубик. Повесть. № 11  
ТУРБИН Владимир — Egegi monumentum. Записки Неизвестного лабуха. Вступление Натальи Ивановой. №№ 1, 2  
ФАЛЬКОВ Борис — Десант на Крит. Повесть. № 6  
ХУРГИН Александр — Рассказы. № 12  
ШАРГОРОДСКИЕ Александр и Лев — Вечера у камина. Рассказ. № 2  
ШИШКИН Михаил — Слепой музыкант. Повесть. № 1  
ЭСАКИА Димитрий — В поисках утраченного пространства. Опыт псевдоученой поэмы в прозе о человеке со свойством. № 1  
ЮЗЕФОВИЧ Леонид — Бабочка. 1989 г. Рассказ. № 5; Колокольчик. 1990 г. Рассказ. № 11

## П О Э З И Я

- БЕК Татьяна — Нищая сила. № 9  
БЕЛЛЪМАН Карл Михаэль — Эпистолии и песни Фредмана. Перевод С. Петрова, послесловие А. Петровой (Шведская тетрадь). № 9  
ВАНШЕНКИН Константин — Ночное чтение. № 8  
ВЕРГИЛИЙ МАРОН ПУБЛИЙ — Эклоги. Перевод с латинского Алексея Цветкова (Латинская тетрадь). № 6  
ВИШНЕВЕЦКИЙ Игорь — Марево мира. № 10

- ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей — Девять. № 6; Глазное яблоко. № 12  
 ГОЛОВ Андрей — Гранат из виршей Симеона. № 4  
 ГОРЛАНОВА Нина — Великий Пост. № 3  
 ГРАВАРЬ Александр — О Москве в терновом венце. № 3  
 ДАНОВСКИЙ Лев — Внутренняя речь. № 2  
 ДАШЕВСКИЙ Григорий — Папье-маше. № 9  
 ЕРЕМЕНКО Владимир — Ласточка-наставница. № 8  
 ИОФФЕ Леонид — Облачный паром. № 3  
 КЕКОВА Светлана — Тринадцать ангелов. № 1  
 КЕНЖЕЕВ Бахыт — Свободный от волчьих обид. № 11  
 КИБИРОВ Тимур — Мы просто гибнем и живем. № 10  
 КУБЛАНОВСКИЙ Юрий — Альпийские стихи. № 2  
 КУШНЕР Александр — Стансы. № 11  
 ЛИПКИН Семен — Бег волны. № 10  
 ЛИСНЯНСКАЯ Инна — На кухне времени. № 7  
 НИКОЛАЕВА Олеся — Золотое зеркальце. № 2  
 ПОЛЕТАЕВА Татьяна — Наука любви. № 3  
 ПОСТНИКОВА Ольга — От степного чабреца. № 12  
 ПРИГОВ Дмитрий Александрович — Книга о счастье (в стихах и диалогах). № 8  
 РЕЙН Евгений — Жесткая Азия. № 4  
 САМОЙЛОВ Давид — Станешь зрячим... № 9  
 СЛУЦКИЙ Борис — Из последней записной книжки. № 5  
 СОКОЛОВ Владимир — Сквозь снег бродячих лет моих... № 1  
 СОЛОВЬЕВ Сергей — Из стихов 20-х годов. Вступление И. Вишневецкого. Публикация Н. Соловьевой. № 11  
 СТЕПАНОВА Мария — Ода. № 7  
 ФАДЕЕВ Юрий — Провинция. № 1  
 ФАНАЙЛОВА Елена — Амальгама. № 12  
 ХВОСТОВА Ольга — В дебрях губернии. № 11  
 ХЛЕВНИКОВ Олег — На краю века. № 5  
 ХОРВАТ Евгений — Проба акустики. Вступление Алексея Цветкова. Публикация Сергея Гандлевского. № 5  
 ШЕВЧЕНКО Леонид — Фрагмент из русской жизни. № 6  
 ШЕЛЬВАХ Алексей — Диалог токаря с воздухом. № 7

#### М Е М У А Р Ы . А Р Х И В Ы . С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

- АНДРЕЕВА М.Ф. — Дневниковые записи. Вступительная заметка, публикация и примечания Г.Э. Прополянис. № 6  
 АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК Борис — Два изгоя, два мученика: Б. Пильняк и Е. Замятин. № 9  
 БОРЩАГОВСКИЙ Александр — Заложница «Метрополя», или Хождение за четырьмя автографами. № 11  
 БУХАРИН Николай — Времена. Главы из романа. Послесловие Отто Лациса. № 3  
 КУК Ричард Дж. — Встреча с писателями. Вступление и публикация Н. Введенской. Перевод с английского Карена Степаняна. № 12  
 МАРКИШ Шимон — Вавель и ОНИ (глазами отщепенца). № 7  
 ПИСЬМА РУССКОГО ОФИЦЕРА. Публикация и примечания А. Образцовой. № 10  
 ПОМЕРАНЦ Григорий — Еще одна жизнь. № 12  
 САВИНКОВ Б. В. — Неизвестная рукопись. Вступительная заметка и публикация В. Леонидова. № 5  
 ШЕНТАЛИНСКИЙ Виталий — «Прошу меня выслушать...» Последние дни Исаака Бабеля. № 7

#### U R B I E T O R B I

- ЯСПЕРС Карл — Вопрос виновности; Беседа Карла ЯСПЕРСА с Рудольфом АУГШТЕЙНОМ — Геноциду не может быть оправдания. Публикация, вступительная заметка и перевод с немецкого С. Апта. № 1

КАПУЩИНЬСКИЙ Рышард — Империя. Перевод с польского С. Ларина. № 2

### ПУБЛИЦИСТИКА

- АГЕЕВ Александр — Двойной стандарт (Российская интеллигенция в борьбе против перемен). № 2  
 ВИШНЕВСКИЙ Анатолий — Неизбежно ли возвращение? № 1  
 ВЛАДИМОВ Георгий — Новое следствие, приговор старый. № 8  
 ГУДКОВ Лев, ДУБИН Борис — Идеология бесструктурности (Интеллигенция и конец советской эпохи). № 11  
 ДРАГУНСКИЙ Денис — По ту сторону государства и права (Россия между коммунизмом и демократией). № 5  
 ЗУБОВ Андрей — Россия, византизм и славянство на исходе XX века. № 6  
 МАСАРСКИЙ Марк — Этюды исторического оптимизма. № 5  
 НОВИКОВ Андрей — Ненаписанный роман (Конституция как феномен национального творчества). № 4  
 ПАНАРИН Александр — Вызов (Геополитический пессимизм против цивилизационного оптимизма). № 6  
 ПАРАМОНОВ Борис — Красное и серое. № 10  
 РЕШИН Леонид — Коллаборационисты и жертвы режима. № 8  
 СТАРИКОВ Евгений — На заводе и в поле (Старые классы в новую эпоху). № 7  
 ЧУПРИНИН Сергей — Истеблишмент, или Что оберегает Россию от гражданской войны. № 12

### ЭКСПЕРТИЗА

- ЗАПАДНАЯ ПОМОЩЬ РОССИИ: В ЧЕМ ЕЕ ОШИБКИ? Аналитический доклад, подготовленный в институте Европы РАН. № 4  
 ЛОПЕС-КЛАРОС Аугусто. Некоторые приоритеты экономических реформ в России в 1990-е годы. Перевод с английского Марины Будаковой. № 12  
 О СБЛИЖЕНИИ ПОЛИТИКИ РОССИИ И США В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ. Аналитический доклад, подготовленный Советом по внешней и оборонной политике (Москва) и Центром стратегических и международных исследований (Вашингтон). № 2

### ПОЛЕМИКА

- ЛЁЗОВ Сергей — Есть ли у русского православия будущее? № 3  
 ШУШАРИН Дмитрий — Порфирий Головлев о свободе и вере. № 3  
 ПИЯШЕВА Лариса — Проигранный шанс. № 9  
 К ВОПРОСУ О ШАНСАХ: ЯСИН Евгений — О пользе сомнения; ИЛЛАРИОНОВ Андрей — Либерал по недоразумению; АВЕН Петр — За звание либерала; БАКЛАНОВ Григорий — «Где пышнее пироги?». № 9

### MODUS VIVENDI

- ДОС Виктор — Будни вечного города. № 12

### КРИТИКА

- АГЕЕВ Александр — «Выхожу один я на дорогу...» № 11  
 АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Возможность высказывания. № 6  
 АЙЗЕРМАН Л. С. — Последний шанс. № 12  
 АРБИТМАН Роман — «Похоже, у генсека трудности...» (Перестройка в зеркале западного триллера). № 3  
 АРЬЕВ Андрей — Правда как ложь, или Человек-артист эпохи Москвошвея. № 2  
 ГЕНИС Александр — Лук и капуста. Парадигмы современной культуры. № 8

- ЕЛИСЕЕВ Никита — Материализованные тени. № 4  
 ИВАНИЦКАЯ Елена — Модернизм=постмодернизм? № 9  
 ИВАНИЦКИЙ Владимир — Эпоха новой анонимности. № 7  
 ИВАНОВА Наталья — Сладкая парочка. № 5; Дым отечества. № 7  
 ЛАЗАРЕВ Л. — Былое и небылицы. № 10  
 НА ЧУЖОЙ РОТОК НЕ НАКИНЕСЬ ПЛАТОК. ВЗГЛЯД НА «ЗНАМЯ-93» .  
 Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Андрей АРЬЕВ, Елена ИВАНИЦКАЯ,  
 Виктор КАМЯНОВ, Вячеслав КУРИЦЫН, Алексей МОКРОУСОВ, Андрей  
 НЕМЗЕР, Владимир НОВИКОВ, Ирина РОДНЯНСКАЯ. № 1  
 ЧУПРИНИН Сергей — Элегия. № 6

## ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

- КОРОЛЕВ Анатолий — Блудный сын. № 4

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

- АБАШЕВ Владимир — Из Юрятина пишут. № 9  
 БОГОМОЛОВ Константин, БЫКОВ Леонид — В пространстве Екатеринбурга.  
 № 7  
 ВАЙЛЬ Петр — Великий город, окраина империи. № 10  
 ВЕЛЛЕР Михаил — Из Таллина. № 9  
 ЛУКЪЯНЧЕНКО Олег — Острова в океане базара. № 10  
 ЮРЬЕНЕН Сергей — Мюнхен как форма выживания РЛ. № 7

## С ТОГО БЕРЕГА

- ВАЙЛЬ Петр — Похороны Феллини. № 8  
 КАЗАК Вольфганг — Конец эмиграции? К ситуации русских писателей «третьей  
 волны» в постсоветский период (1994 год). № 11  
 СУКОНИК Александр — Еще несколько слов о «Докторе Живаго» . № 6

## МЕЖДУ ПРОЧИМ

- ВОЛЬТСКАЯ Татьяна — Заметки крапивы. № 12  
 ЛАТЫНИНА Юлия — Клеон, сын кожевника. № 5  
 ПОПОВ Евгений — Люмпены. № 5  
 СТЕПАНЯН Карен — Межсезонье. № 2  
 ХОЛМОГорова Елена — Слова играют нами, или На плешке под рукой. № 4

## В МИРЕ ЖУРНАЛОВ И КНИГ

- ГЕССЕН Елена — История за обеденным столом (о книге Елены Боннэр «Дочки-  
 матери»). № 11  
 КАБАКОВ Александр — Новые богатые: глянec, стёб и не очень грамотно. № 6  
 НЕМЗЕР Андрей — Затем, что к ней принадлежу. № 6  
 НОВИКОВ Вл. — Слабаки. № 6  
 ТИХОМИРОВА Елена — Еще раз о «женскости» «женского романа» (о книге  
 Ольги Новиковой «Женский роман»). № 11  
 ШМИД Вольф — Слово о Дмитриии Александровиче Пригове. № 8

## С О В Е Т У Ю Т П Р О Ч И Т А Т Ь Н А Ш И А В Т О Р Ы

- АКСЕНОВ Василий. № 11  
 ИВАНИЦКИЙ Владимир. № 11  
 КАБАКОВ Александр. № 8  
 КОРОЛЕВ Анатолий. № 10  
 ПОМЕРАНЦ Григорий. № 10  
 ПОПОВ Евг. № 8



СТЕПАНЯН Елена представляет книги эмигрантов о русской литературе — Общность частных судеб. № 1

### НЕ С О В Е Т У Ю Ч И Т А Т Ь

АГЕЕВ Александр представляет книгу Колина Форбса «Вождь и призрак» — Такой знакомый призрак... № 3

### И З П О Ч Т Ы « З Н А М Е Н И »

ГЛЕЗЕР Александр. № 11

ИСАЕВА Г.А. № 2

КРАХМАЛЬНИКОВА Зоя — Да, у русского православия есть будущее. № 9

ПАРНАХ А. — Нужен новый перевод Библии. № 2

СТЕПАНЯН Елена — Об авторитарности и свободе. № 11

### З А Р У Б Е Ж Н Ы Е Т Е Т Р А Д И

АМЕРИКАНСКАЯ (№ 10); АНГЛИЙСКАЯ (№ 12); ГРУЗИНСКАЯ (№ 1); ИЗРАИЛЬСКАЯ (№№ 7, 9); ЛАТИНСКАЯ (№ 6); НЕМЕЦКАЯ (№№ 1, 5, 7, 10); ПОЛЬСКАЯ (№ 2); ШВЕДСКАЯ (№ 9); ЭСТОНСКАЯ (№ 9)

КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ — №№ 4, 5, 6, 7, 9

Общественный совет редакции:

**С. С. АВЕРИНЦЕВ, Г. Я. БАКЛАНОВ, И. И. ВИНОГРАДОВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ, В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. С. МАКАНИН, М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.**

Главный редактор **С. И. ЧУПРИНИН**

Редколлегия: **А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА** (первый зам. гл. редактора), **Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. И. КАШИРСКИЙ, К. А. СТЕПАНЯН, Е. С. ХОЛМОГорова.**

Редакция: **О. И. ДОВЖЕНКО** (критика), **О. Ю. ЕРМОЛАЕВА** (поэзия), **Н. И. КАДАНЕР** (публицистика), **О. В. ТРУНОВА** (проза), **Е. В. ХОМУТОВА** (проза).

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921-24-30, первый заместитель главного редактора — 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 928-94-78, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46. Факс: (095) 921-32-72.

Компьютерная верстка И. В. Корнеев, Е. Д. Кот.

Сдано в набор 27.10.94

Подписано к печати 18.11.94

Формат 70x108 1/16

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,20

Усл. кр.-отт. 18,90

Уч.-изд. л. 20,08

Тираж 49 174 экз.

Заказ № 335

Индекс 70331

ISSN 0130-1616. Знамя. 1994. № 12. 1—208.